

НОВОЕ
ЭКОНОМИЧЕСКОЕ
МЫШЛЕНИЕ

Деньги и процент: экономика и этика

Под редакцией

Дениса Кадочникова,
Александра Погребняка,
Данилы Раскова

ЦЕНТР ЭКОНОМИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ
ИЗДАТЕЛЬСТВО ИНСТИТУТА ГАЙДАРА
МОСКВА · САНКТ-ПЕТЕРБУРГ · 2024

УДК 303.3
ББК 65.011
Д34

РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ

СЕРИИ «НОВОЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЕ МЫШЛЕНИЕ»

Автономов В. С. (НИУ ВШЭ), Ананьин О. И. (НИУ ВШЭ),
Анашвили В. В. (РАНХиГС), Болдырев И. А. (Университет
Неймегена им. св. Радбода Утрехтского), Заманьи С.
(Болонский университет), Кламер А. (Университет
им. Эразма Роттердамского), Кудрин А. Л. (Москва),
Маккроски Д. (Университет Иллинойса, Чикаго),
Мау В. А. (Москва), Нуреев Р. М., Погребняк А. А. (ИТМО,
Санкт-Петербург), Расков Д. Е. (Санкт-Петербург),
Широкорад Л. Д. (СПбГУ)

РЕЦЕНЗЕНТЫ:

Микиртумов Иван Борисович, доктор философских наук
Одинг Нина Юрьевна, кандидат экономических наук

Деньги и процент: экономика и этика

Д34 под ред. Д. Кадочникова, А. Погребняка, Д. Раскова. —
Москва : Издательство Института Гайдара; Санкт-Пе-
тербург : Центр экономической культуры, 2024. — (Новое
экономическое мышление). — 424 с.

ISBN 978-5-93255-664-1

Деньги — одно из основополагающих явлений экономи-
ки и в целом общественного бытия, важнейший элемент
человеческой цивилизации. Неудивительно, что все, свя-
занное с деньгами, издавна привлекает внимание не толь-
ко экономистов, но и представителей широкого спектра
научных дисциплин, философии, теологии, литературы
и искусства. Попытки научного, художественного, этиче-
ского осмысления денег, кредита, процента весьма много-
численны и представляют собой значимый пласт культуры.
Предлагаемый вниманию читателей сборник посвящен ис-
следованию и обсуждению вопросов кредитно-денежных
отношений в широком общественно-научном, философском
и культурологическом контексте.

ISBN 978-5-93255-664-1

Содержание

ВВЕДЕНИЕ · 9

ФИЛОСОФИЯ ДЕНЕГ

В. МАЗИН. Значение и различие денег · 15

Е. ИВАНЕНКО. *Fiat victim!* Жертва как фиатная величина в горизонте биополитики · 41

М. КОРЕЦКАЯ. Экономика жертвы и жизнь как ценность: *sacra/nuda/dolce vita* · 61

Г. ТУЛЬЧИНСКИЙ. Глубокая семиотика и герменевтика денег · 81

ПРИРОДА ДЕНЕГ

А. ДУБЯНСКИЙ. Теории происхождения денег в контексте современной монетарной теории и практики · 93

П. ТЕРЕЩЕНКО. Бесконечный долг: воспевая отчуждение · 118

В. УШАНКОВ. Институциональная природа счетных денег · 140

ДЕНЬГИ И СОВРЕМЕННОСТЬ

N. DODD. *Universal basic income and the theory of money* · 171

К. МОНДЭЙ. Криптоутопии наступают: идеологии криптовалюты в России и Южной Корее · 196

А. ЗАОСТРОВЦЕВ. «Война с наличностью» и ее цена · 230

ДЕНЬГИ И ПРОЦЕНТ В ИСТОРИИ

- Е. Гущина. Этика процента: взгляд средневекового монаха (на примере трудов Франсеска Эшимениса) · 249
- Д. Расков. Джон Локк о деньгах и проценте · 281
- Д. Кадочников. Дискуссии о международных денежно-кредитных отношениях в 1940–1970-х годах · 307
- П. Лукичев. Деньги и этика: независимы ли эксперты? Судьба первого российского эндаумента · 342

ДЕНЬГИ И ИСКУССТВО

- А. Погребняк. Фамиллионер, или О «подлости, совершенно бескорыстной» · 359
- Г. Лайус. Коллекция как приостановка: как возможна профанация денег? · 390
- О. Давыдова. «Прямое кино»: коммодификация идеи объективности · 407

Contents

PREFACE · 9

PHILOSOPHY OF MONEY

V. MAZIN. The meaning and distinction of money · 15

E. IVANENKO. Fiat victim! The victim as a fiat value
in the horizon of biopolitics · 41

M. KORETSKAYA. Economics of sacrifice and life
as value: *vita sacra/nuda vita/dolce vita* · 61

G. TULCHINSKII. Deep semiotics and hermeneutics
in the money phenomenon analysis · 81

ORIGIN OF MONEY

A. DUBYANSKIY. Theories of the origin of money
in the context of modern monetary theory
and practice · 93

P. TERESHCHENKO. Eternal debt: glorifying
alienation · 118

V. USHANKOV. Institutional nature of accountable
money · 140

MONEY AND MODERNITY

N. DODD. Universal basic income and the theory
of money · 171

C. MONDAY. Crypto-utopias on the march: ideologies
of crypto-currency in Russia and South Korea · 196

A. ZAOSTROVTSEV. «War on cash» and its costs · 230

MONEY AND INTEREST IN HISTORY

- E. GUSCHINA. Ethics of interest rate: medieval monk's approach (an example of Francesc Eiximenis's works) · 249
- D. RASKOV. John Locke on money and interest · 281
- D. KADOCHNIKOV. Discussions on international monetary relations in the 1940s and 1970s · 307
- P. LUKICHEV. Money and ethics: are experts independent? (The fate of the first russian endowment) · 342

MONEY AND ART

- A. POGREBNYAK. Famillionaire, or On "meanness, perfectly disinterested" · 359
- G. LAYUS. Collection as a suspension: how is profanation of money possible? · 390
- O. DAVYDOVA. "Direct cinema": commodification of idea of objectivity · 407

Введение

Предлагаемый вниманию читателей сборник посвящен осмыслению и обсуждению проблематики кредитно-денежных отношений в широком обществоведческом, философском и культурологическом контексте. Сборник стал результатом проведения IX ежегодной международной конференции Центра исследований экономической культуры, которая проходила на факультете свободных искусств и наук СПбГУ 26–28 апреля 2021 года.

Деньги — это одно из основополагающих явлений хозяйственной жизни и жизни вообще, важнейший элемент человеческой цивилизации, в связи с чем вполне естественно, что все, связанное с ними, издавна привлекает внимание мыслителей, представителей самых разнообразных научных дисциплин, как, впрочем, и философов, богословов, писателей, художников, да и всех думающих людей. Научные, богословские, художественные попытки изучения и интерпретации денег, кредита, процента многочисленны и составляют огромный пласт культуры. Авторы статей, включенных в данный сборник, попытались внести в соответствующую дискуссию свой вклад, причем сделал это в форме, которая будет доступна и интересна широкой читательской аудитории.

Включенные в сборник статьи тематически сгруппированы в несколько разделов. Первый посвящен философскому взгляду на деньги. Виктор Аронович Мазин обращает внимание на то, что деньги деньгам рознь

и значение их разное в зависимости от того семантического поля, к которому они прикрепляются; он рассматривает несколько смысловых изменений денег, опираясь на психоаналитический метод. Елена Анатольевна Иваненко указывает на то, что ответ на вопрос о том, какие свойства людей обеспечивают адекватное функционирование рыночной экономики, лежит в пока недостаточно исследованном проблемном поле экономики жертвы. Автор рассматривает феномен фиатности, переосмысленный как современный пример практик солидарности, присутствующих в социальном пространстве, и связанный как с конструктом денег, так и с конструктом жертвы. Марина Александровна Корецкая также обращается к проблематизации взаимосвязи трех концептов — жертва, жизнь и ценность. Григорий Львович Тульчинский обращается к семиотическому анализу феномена денег и констатирует множественность их знаковых функций в различных ценностно-нормативных контекстах культуры.

Во втором разделе представлены статьи, авторы которых обращаются к осмыслению природы денег. Александр Николаевич Дубянский рассматривает вопрос происхождения денег, исключительно важный для понимания сущности денег, во взаимосвязи с появлением новой формы денег — криптовалют. Он приходит к выводу о том, что общепринятая эволюционная теория происхождения денег с учетом новых реалий требует пересмотра. Вячеслав Анатольевич Ушанков, критикуя функциональный подход к определению денег, констатирует, что, выполняя функцию счета и учета, первые (счетные) деньги имели институциональную природу. Павел Антонович Терещенко анализирует взаимосвязь феноменов долга, отчуждения, процента и научно-технического прогресса, выделяя основу отчуждения и указывая на значение долга при попытках преодоления отчуждения.

Третий раздел посвящен современным формам денег и расчетов. Найджел Додд опирается на философию и практику универсального базового дохода, чтобы вновь поднять вопрос о природе денег. Крис Мондэй обращается к утопическим идеологиям, связанным с феноменом криптовалют. Андрей Павлович Заостровцев анализирует истоки, направления и причины так называемой войны с наличностью и обсуждает ее многочисленные издержки, указывая на сильные стороны наличных денег.

Рассмотрению денег и процента в исторической перспективе посвящен четвертый раздел сборника. В статье Екатерины Элиазаровны Гушиной представлен обзор взглядов францисканского теолога Франсеска Эшимениса, писавшего на каталанском языке, на ссудный процент и ростовщичество. Статья Даниила Евгеньевича Раскова посвящена наследию Джона Локка в части его взглядов на деньги и процент; автор приходит к выводу о том, что в работах Локка прослеживается общий для того периода переход от теологических и моральных аргументов к вопросам национальных интересов и экономической целесообразности. Денис Валентинович Кадочников обращается к обзору дискуссий, имевших место в 1940–1970-х годах в западном академическом и экспертном сообществе, относительно будущего международных денежно-кредитных отношений, в частности о перспективах и ограничениях развития Бреттон-Вудской системы. Взаимосвязь между деньгами и этикой, исследуемая на основе анализа взаимоотношений между Императорским вольным экономическим обществом (ИВЭО) и царской властью в дореволюционной России, — предмет статьи Павла Михайловича Лукичёва.

Завершающий, пятый раздел сборника посвящен осмыслению взаимодействия денег и искусства. Алек-

сандр Анатольевич Погребняк предлагает интерпретацию понятия «чистой подлости», которое Гоголь использует в «Мертвых душах», сопоставляя гоголевского «миллионщика» с «фамиллионером» Жака Лакана и связывая «чистую подлость» с фетишизацией «человеческого начала» в современной экономике, которая в реальности, по мнению автора, имеет нечеловеческий характер. Георгий Дмитриевич Лайус исследует коллекционирование как профанационную практику, способную вернуть деньги из области сакрального, в которой они сегодня оказались; исходя из параллелизма между деньгами и языком, автор указывает на профанационный и эмансипационный потенциал практики коллекционирования, которая, по аналогии с поэзией, понимается как демонстрация самой способности владеть, лишенной любой соотнесенности с целями. Ольга Сергеевна Давыдова, опираясь на теорию структурного закона ценности Жана Бодрийера и аналитику рецепции «прямого кино» в критике и в теории кино, показывает, что этот кинематографический проект воплощает собой культурную логику капитализма и функционирует в поле симуляции.

Благодарим всех, кто на разных этапах помогал в сборе материалов и редактировании статей, — в особенности Александра Николаевича Дубянского, Георгия Дмитриевича Лайуса и Всеволода Михайловича Остапенко.

Редакция

Философия денег



Значение и различие денег

Виктор Мазин

Мазин Виктор Аронович (v.mazin@spbu.ru), кандидат философских наук, научный сотрудник Санкт-Петербургского государственного университета (Санкт-Петербург, Россия).

Один из принципиальных тезисов статьи — деньги деньгам рознь, и значение их разное в зависимости от того семантического поля, к которому они прикрепляются, то есть от точки их пристежки, от того, что Лакан назвал *point du capiton*. Это положение аргументируется анализом памфлета Сергея Михалкова «Похождение рубля», в котором речь идет о различиях в судьбах советского рубля и американского доллара. Психоаналитический метод позволяет говорить о различных измерениях денег, *символических*, *воображаемых* и даже о циркуляции капитала от *реального*. В отличие от капиталистического дискурса в дискурсе психоаналитическом объект *a* выступает как тот несоизмеримый объект, который не позволяет тотализовать систему. В подтверждение тезиса о том, что деньги деньгам рознь, автор обращается к аналитической практике, в которой анализант расплачивается за сеанс своей валютой, которую Фрейд назвал невротической. Эта валюта также не является универсальной, поскольку у каждого анализанта она своя, и значение ее проясняется по ходу анализа: *у сингулярного субъекта — сингулярная валюта*. Примером служит «крысиная валюта» пациента, известного в истории психоанализа как Человек-Крыса.

Ключевые слова: точка пристежки; коммерческий психоз; воображаемые, символические, реальные деньги.

JEL: Z11, B29.

Деньги деньгам рознь

Мои рассуждения начинаются следующим тезисом: *деньги — универсальная разменная монета, но при этом нет универсальных денег.* Иначе говоря, деньги деньгам рознь. К такому тезису меня привело то, что, не сходя с места, мне довелось пережить три различных модуса отношения к деньгам, три разные системы символических координат. Иначе говоря, отношение к деньгам, их значение было различным в трех разных странах — в Советском Союзе, во времена перестройки, в Российской Федерации. При переходе из одной страны в другую значение денег менялось.

Начнем с далекого от нас Советского Союза. Деньги в этой стране были частью экономики загадочного *неэквивалентного обмена*, и значение их в жизни было второстепенным. Объясняется это особенностями советской экономики и идеологии. Особенность экономики заключалась в бессмысленности обладания деньгами, поскольку их невозможно было превратить в товары: вполне осуществимый предел мечтаний позднесоветского человека — квартира, дача, машина, но не две квартиры, две дачи и две машины, поскольку такое благосостояние указывало бы на нетрудовые доходы*. К тому же идеология университетского дискурса СССР мешанские мечтания не поощряла; советский человек должен был готовить себя к безденежному коммунизму. Об особенностях советской идеологии денег мы узнаем из сказки-памфлета «Похождение рубля», написанной в 1967 году со-

* Парадигматическим примером может послужить герой книги Ильфа и Петрова «Золотой теленок» (1931) Александр Иванович Корейко, который не может обнародовать свои десять миллионов рублей и влачит показное нищенское существование, соответствующее сорокашестирублевому жалованью.

ветским писателем Сергеем Михалковым, тем самым, кто написал слова для гимна Советского Союза (1943), а также Российской Федерации (2000).

В истории Сергея Михалкова повествование ведется от лица бумажного Рубля, родившегося, чтобы прожить богатую на события жизнь, переходя из одного кармана в другой. Первым был карман столяра. Этот уютный, теплый карман становится местом обретения символической идентичности. Рубль очень рад, что достался рабочему человеку как награда за труд: «Я настоящий трудовой Рубль! — с гордостью думал я» [Михалков 1971, с. 31]. Рубль, обратим внимание, говорит, думает, и мысль его авторизует символическую идентификацию с местом, рабочим карманом и именем. Его имя — Рубль (с большой буквы), и по происхождению он — настоящий и трудовой.

Следующим местом на путях циркуляции становится касса. 8 Марта столяр покупает гвоздики, и рубль попадает в цветочный киоск, где начинает постигать свою стоимость. Он понимает, что равен трем гвоздикам, он постигает свою эквивалентность: «Вот наша с тобой цена!» [Михалков 1971, с. 34]. Дело не только в экономическом расчете, но и в аффекте: Рубль рад тому, что заработавший его мужчина, чтобы сделать женщине приятное, купил ей цветы. Аффект усиливается за счет циркуляции. Его первое восклицание, первые слова: «Меня начали тратить!». Он не хочет, чтобы его пускали в рост, он не хочет, чтобы его накапливали вместе с ему подобными в некоем воображаемом хранилище, а точнее — в хранилище воображаемого, его желание — пребывать в состоянии траты, расхода, обмена.

По ходу циркуляции происходит интересующее нас в первую очередь событие, самое удивительное событие в жизни Рубля — встреча с другим, с другими деньгами. Случилось это так: шофер такси дал нашего героя на сдачу одному пассажиру, и Рубль попал

в толстый бумажник некоего господина. Вспоминая об этом событии, Рубль подчеркивает инаковость денег, с которыми он столкнулся. У них — иная идентичность, или, попросту говоря, у них не было ничего общего с Рублем. В толстом бумажнике — какого у настоящего трудового пассажира такси быть, разумеется, не может, — происходит такой диалог:

— Если я не ошибаюсь, мы имеем дело с советским Рублем? — громко произнес один из незнакомцев.

— Вы угадали, — сдержанно сказал я.

— В таком случае разрешите представиться! — продолжал незнакомец. — Все мы тут — американские доллары! Затесалось среди нас несколько французских франков, но они не в счет!

— Очень приятно познакомиться! — официально ответил я. Мне почему-то не понравился заносчивый тон Доллара и его явно пренебрежительное отношение к французскому Франку.

— Мы совершенно случайно попали в Москву, — продолжал Доллар тем же развязным тоном. — Надеюсь, что нас ни на что не истратят. Нам бы не хотелось тут задерживаться...

<...>

— Нас было несколько десятков тысяч, — охотно ответил второй Доллар. — Нас привезли для того, чтобы выплатить жалованье американским солдатам. Лично я достался летчику, и в первый же день мы полетели с ним на бомбежку. Мы вдребезги разбомбили школу, мост и несколько домов. Потом мой хозяин оставил меня в баре... А потом я очутился опять в Америке, но на этот раз в руках у одного черного. Бедняга не успел меня истратить. Его убили во время облавы...» [Михалков 1971, с. 36–37].

Так Рубль узнает о том, что деньги деньгам рознь, узнает о страшной судьбе Доллара. Впрочем, Дол-

лар своей судьбой вполне доволен, разве что попадание в Москву его смутило. Доллар мечтает вернуться на свою родину, в Долларию (термин Зигмунда Фрейда). Не забудем и о том, что свидетелем этого разговора был Франк. Пока Доллар с Рублем выясняли отношения, Франк занимал нейтральную позицию. Впрочем, как известно, дискурс нейтральных позиций не знает, так что место Франка все же — толстый бумажник. Рубль мечтает только об одном, чтобы его не увезли в этом самом пресловутом бумажнике вместе с его обитателями. Они принадлежат разным дискурсивным сетям циркуляции, они — неконвертируемы. Советская судьба улыбается Рублю: владелец бумажника покупает матрешку, и наш герой остается на Родине.

Рубль продолжает жить счастливой трудовой жизнью, путешествуя по родным местам — кошелькам, карманам и кассовым аппаратам: «Я никогда не расставался с людьми, но и не задерживался у них. Я находился в обращении» [Михалков 1971, с. 45]. Рубль поет гимн своей жизни, он славит свои имена, символические Имена-Отца: «Я назывался то зарплатой, то доплатой, то гонораром, то стипендией, то штрафом, то пенсией, то налогом, то выигрышем, то взносом, то премией...» [Михалков 1971, с. 46]. И вновь Рубль подчеркивает свой символический статус: он, возможно, и один, но имен у него много. Впрочем, получается, что он не один, и купить на него можно самые разные полезные вещи: хлеб, лекарства, мороженое, картошку, тетради, лотерейные билеты, книжки, пуговицы, шнурки, значки, рыболовные крючки, зубную пасту... Рубль — единица благого размена. Впрочем, не все так безоблачно.

В советской жизни тоже случаются неприятности. Рубль оказывается на прилавке пивного ларька: «Меня пропили... Я твердо решаю ни с кем не знакомиться» [Михалков 1971, с. 44]. Вот что объединяет

Доллар и Рубль, вот она точка пересечения — их можно пропить! Дальше — хуже. У пропойцы дырявый карман: «Худшее, что могло со мной случиться, случилось: меня потеряли!..» [Михалков 1971, с. 45].

И все же у этой истории счастливый конец. Рубль спасает грядущее поколение: его находят в грязи мальчик и девочка. Он уже разорван на две половинки, но мальчик его спасает, сдает в сберкассу, где происходит перерождение: «И случилось чудо: в руках кассира я превратился в новый, блестящий серебряный Рубль! С одной стороны у меня сиял Государственный герб Советского Союза, а на другой стороне был изображен солдат с ребенком на руках...» [Михалков 1971, с. 51]. Реинкарнация завершилась. Бумажный Рубль обрел бессмертие. По меньшей мере ему так казалось.

Итак, возвращаясь к эпизоду в толстом бумажнике, повторим: значение денег — различно. Рубль и Доллар принадлежат разным символическим местам, разным дискурсивным пространствам. Значение денег зависит от того, какое положение они занимают в дискурсе, от того семантического поля, к которому они прикрепляются. Значение денег зависит от того, что Лакан называет *point du capiton*, *точкой пристежки*, или *пунктом крепления*. Капиталистические деньги и деньги социалистические различны. Их значение зависит от того, с каким полем означающих они сочетаются. Одно дело — цветы и труд; другое — эксплуатация и бомбы. Отношение к деньгам — разное. В этой связи вспомним вот какую историю: один американский гражданин как-то попросил у Юрия Гагарина автограф и протянул ему на подпись долларовую банкноту. Космонавт отказался ставить автограф на деньгах. Американец пытался его убедить стодолларовым номиналом купюры, приговаривая *it is very good*. Со словами *it is very bad* Гагарин вырвал из своей записной книжки листок и расписался на нем. Американец был разоча-

рован, что ему так и не удалось получить драгоценный автограф на драгоценной купюре*. Он не мог догадаться, что у денег может быть другая точка пристежки.

Точки пристежки останавливают скольжение означающих, скрепляя их с означаемыми, с определенными значениями. Это скрепление присуще, по Лакану, неврозу. При психозе эти точки пристежки изъяты. Означающие беспрепятственно скользят, циркулируют подобно капиталу. Можно ли остановить денежные потоки, закрепить их, скажем, за определенными карманами? Или их безумная — то есть психотическая — циркуляция неостановима? Рубль когда-то перешел из одного кармана в другой, а теперь?

Понятие точки пристежки отсылает, конечно же, к субъекту, к тому, как он выстраивает отношения между внутренним миром и миром внешним, между собой и другими, в том числе и посредством денег. Лакан говорит об особом капиталистическом дискурсе, и мы можем сказать, что деньги как стремящаяся к тотализации разменная монета занимают особенное место в экономике психической реальности. Вот мы и обратимся к трем измерениям денег с точки зрения борромеева узла, представляющего топологическую модель субъекта Лакана.

Деньги психической реальности

Согласно борромееву узлу мы можем говорить о реальных, символических и воображаемых деньгах. Это — «одни и те же деньги», но у них совершенно

* См.: [Денисов 1963]. Энди Уорхол в отличие от Юрия Гагарина расписывался на деньгах, и они тем самым становились произведением искусства. Здесь, впрочем, мы тоже видим критический жест: что обменивается на деньги? Автограф, удостоверяющий подлинность имени автора.

разные аспекты. Деньги не тождественны субъекту, а субъект не тождественен самому себе. Психоаналитический дискурс позволяет говорить о различных измерениях «одних и тех же денег», *символических, вообразяемых* и даже о циркуляции капитала от *реального*.

1. Символическое измерение денег

Символический характер денег достаточно очевиден: наряду с речью деньги — единица обмена. Эта единица дифференцирует мир объектов в зависимости от их стоимости. Деньги выполняют разные функции. Они и средство обмена, и мера стоимости, и средство платежа, и эквивалент накопленного богатства. Деньги — эквивалент, но сами они эквивалента не имеют: «Общий эквивалент без эквивалента — все объекты можно перевести в него, сам же он не заменим ничем» [Долар 2021, с. 75].

Символическое измерение денег при господстве капиталистического дискурса проявляется в формуле: деньги — означающее субъекта, которое представляет его другим означающим, другим деньгам. Остается напомнить, что именно означающее — минимальная единица символического регистра. Капиталистический дискурс — счетная машина, рассчитывающая и пересчитывающая субъекта.

Основной принцип циркуляции денег сегодня — тотальная соизмеримость. Показательный эпизод мы находим в фильме Дэвида Кроненберга «Космополис», в котором миллиардер Эрик Пэкер, перемещающийся по Нью-Йорку в своем лимузине, встречается в нем со своим арт-дилером, которому задает вопрос о стоимости часовни Ротко. Будучи воплощением капитализма, биржевым спекулянт, Пэкер не может понять, что есть нечто, не имеющее денежного эквивалента. Он не слышит слов дилера о том, что часов-

ня не продается. Вновь и вновь он повторяет: «Сколько? Сколько? Сколько?»

Финансовый капитализм безразличен ко всему, кроме своего единственного ориентира, единственного *идеала* — прибыли. Субъект при такой ориентации оказывается объектом рынка, объектом производства, потребления и финансовой циркуляции. Циркуляция, как кажется, принимает в силу соизмеримости всех объектов безостановочный характер. Ориентир соизмеримости дезориентирует. Тотальная соизмеримость выбивает деньги из символического регистра; мы не замечаем, как оказываемся в царстве воображаемого измерения, как попадаем в плен нарциссического регистра.

2. *Воображаемое измерение денег*

Воображаемые деньги — это деньги, обеспечивающие рост себя самого, расширение себя, распространение своего тела. Деньги — нарциссическое продолжение тела. Себя через деньги может становиться все больше и больше или все меньше и меньше. Здесь все пропорционально, все эквивалентно: чем больше денег, тем больше тело. Недаром на карикатурах толстосумы, как правило, изображаются с сидящим на толстых мешках толстым телом; и как мы помним, бумажники у них толстые. Впрочем, это образы начала и середины XX века.

На тему расширения денежного тела, конечно, не мог не высказаться Маршалл Маклюэн. Со ссылкой на британского историка Джорджа Бейли Сэнсома он пишет о проникновении денежной экономики в Японию XVII века, которая произвела революцию, приведшую к крушению феодализма и возобновлению отношений с другими странами после более чем двух столетий изоляции: «Деньги реорганизовывали чувственную жизнь народов именно потому,

что являются *расширением* нашей чувственной жизни. Это изменение нисколько не зависит от одобрения или осуждения его теми, кто живет в данном обществе» (Маклюэн 2011, с. 23). Аффективная сторона денег вызвана расширением денежного тела. Деньги — живой организм, живой орган; обретение денег маниакально расширяет тело, а утрата — смерть денег — вызывает депрессию. Утратить денежное тело — встретиться со смертью.

Формула тотализации денег в данном случае: деньги — наше *всё*. Деньги — не фантомные конечности. Деньги — фантомное тело без органов.

Деньги помогают держать себя уверенно, держать себя в руках, владеть собой. Это «владение собой» и возвращает нас к вопросу о теле, а точнее, о том, что Фрейд назвал влечением владеть, кстати, с тем же оттенком власти, что и в немецком языке, — *Bemächtigungstrieb*. Это овладение, эта власть над собой осуществляется в анальном, нарциссическом, воображаемом регистре. Деньги выходят из тела и являются его, тела, продолжением. Деньги в теле — его, тела, капитал.

Основная работа, где Фрейд разрабатывает тему денег, — «Характер и анальная эротика». С анальной эротикой связано овладение телом и подчинение культурным нормам. В этой статье Фрейд проводит хорошо известную параллель между экскрементами и деньгами, если не сказать — устанавливает прочную связь нечистот, денег и нечистой силы: деньги — испражнения преисподней. Он соотносит архаическое мышление, мифы, сказки, поверья с бессознательным мышлением:

Известно, что золото, которое дьявол дарит своим любовницам, после его ухода превращается в нечистоты, а дьявол, разумеется, — это не что иное, как персонификация вытесненной бессознательной жизни влечений. Далее извест-

но суеверие, в котором поиски кладов связываются с дефекацией, и каждому знакома фигура «человека, испражняющегося дукатами». Более того, уже в древнеавилонском учении золото — это испражнения преисподней, *Mammon = ilu tanpan*. Таким образом, если невроз следует словоупотреблению, то здесь, как и везде, он берет слова в их первоначальном, полном значении смысле, а там, где он, видимо, наглядно изображает слово, он, как правило, лишь восстанавливает древнее значение слова [Фрейд 2006, с. 28–29].

Вхождение в язык, а точнее, подчинение языку, его грамматике, функциям и парадигмам речевого обмена, предполагает обмен кала — как части своего тела и как отхода от культуры — на деньги. Иначе говоря, деньги — продукт не столько анальной кастрации, сколько символической, она и разводит на разные полюса экскременты и деньги. Идиоматически говоря, деньги перестают пахнуть. Они утрачивают связь с человеком, испражняющимся дукатами. Только говорящий субъект, субъект языка и речи наделяет значением деньги, расстраивая дьявольский эквивалент.

О преобразовании кала в деньги, о переоценке Фрейд пишет и в «32 лекции по введению в психоанализ». Переходное звено от кала к деньгам — дар. Важно, что дар восходит к признанию кала, акта дефекации Другим. Собственно, признание со стороны Другого и наделяет продукт этого акта статусом подарка. Расставание с частью собственного тела становится актом радостного дарения из любви к Другому:

Мы узнали затем, что с обесцениванием собственного кала, экскрементов, интерес, обусловленный этим влечением, переходит от анального источника на объекты, которые могут даваться в качестве *подарка*. И это правомерно, поскольку

кал был первым подарком, который мог сделать грудной младенец, расставшись с ним из любви к ухаживающей за ним женщине. В дальнейшем, совершенно аналогично изменению значений в развитии языка, этот старый интерес к калу превращается в привлекательность *золота* и *денег* [Фрейд 2008, с. 535–536].

Погружение в символические координаты Другого, в развитие языка меняет значение денег. Впрочем, это не значит, что исчезает воображаемый ореол денег, их телесное сияние. Призрак человека, молча испражняющегося дукатами, не удаляется в инобытие. Иначе говоря, деньги прописывают психику субъекта, они — воспользуемся выражением Бернара Стиглера — «дьявольски фармакологичны», они представляют и «третичные ретенции, и третичные протенции» [Stiegler 2012, p. 242], они связаны и с богами, и с демонами, они вписываются в психические структуры и как символические структуры отношений с другими, и как фетишистское сияние нарциссического тела, тельца.

Капитал, занимая принципиальное положение в капиталистической экономике, определяет и положение в ней субъекта — в частности, сегодня он прописывает объективацию субъекта, его самообъективацию. Самообъективация подразумевает вопрос *чего я стою*, причем буквально: *сколько я стою*. Принципиальная мера самооценки — деньги: чем больше денег, тем выше самооценка. Человек распознает себя в деньгах. Здесь мы вновь сталкиваемся с зеркальной функцией денег. Этот зеркальный регистр объясняет нарциссически-наркотическое измерение денег. Деньги гипнотизируют, очаровывают, фасцинируют. И это не новость. Достаточно вспомнить библейскую историю о хороводах вокруг сияния золотого тельца и о гневе Моисея. Достаточно всмотреться в призрак человека, молча испражняющегося дукатами.

Сияние денег — вечный фетишистский огонь, воссиявший над миром. Фетиш устраняет нехватку, отсутствие, утрату — все то, на чем строится символический порядок. Он восстанавливает полноту тела и наделяет деньги бессмертием. Космическое расширение денежного тела должно, в конце концов, принести бессмертие. Советский Рубль Михалкова обрел свое бессмертие в металле. Сегодняшние деньги, и неважно, рубли это или доллары, — цифровые, несубстанциональные, и, похоже, что это уже не расширение тела, а расширение души, астрального тела *собственного я*. Бессмертное сияние фетиша простирается в бесконечность. Человек сегодня — это мозг, смартфон — его разум, а собственное *я* — деньги. Теперь не продают душу дьяволу, теперь у него ее выкупают, точнее берут в долг, конечно.

Человек от природы смертен, его мозг может умереть, но его денежное *я* расширенного до безграничности воображаемого образа тела бессмертно. За счет чего? За счет трансгрессивного наслаждения, наслаждения, пересекающего границу жизни и смерти; за счет прибавочного капитал-наслаждения, выпускающего свои *ламеллы*. Этим словом Лакан обозначил нежить, немертвый объект-либидо, орган, не имеющий опор в символическом порядке, обладающий бессмертием. Ламеллы увлекают в дурную бесконечность расширяющейся капиталистической вселенной со всеми самыми разнообразными деньгами.

Еще раз: значение денег зависит от идеологической точки пристежки, от исторического момента. Вот тому яркий пример. В конце 1980-х годов некий гражданин П. занимался фарцовкой на Дальнем Востоке, был доставлен в психиатрическую больницу, где ему поставили диагноз *коммерческий психоз*. Через несколько лет, без особого преувеличения можно сказать, вся страна будет заниматься тем же — торгов-

лей, обменом товаров, особенно тогда, когда деньги потеряют цену. Насколько сегодня можно говорить о тотализации коммерческого психоза? Насколько допустимо говорить о том, что в этот психоз впала вся страна? Насколько понятие психоза приложимо к капиталистическому дискурсу?

Примечательно, что при переходе к капитализму деньги стали обретать естественный статус, иначе говоря, любовь к деньгам оказалась натурализованной. Таков еще один симптом воображаемого измерения денег. Воображаемое, по Лакану, — последняя связь с природой, последнее явление призрака человека, молча испражняющегося дукатами.

Натурализация денег происходит параллельно натурализации человеческого субъекта, превращения его в когнитивно-поведенческий индивид. Лозунг, можно сказать, такой: природному человеку — природные деньги на естественном капиталистическом рынке! Парадокс в том, что происходит эта натурализация тогда, когда деньги становятся еще более призрачными. Еще в большей степени парадокс в том, что как раз деньги и сами по себе, и деньги в отношениях с товаром и капиталом — лучший пример денатурализации самой природы. Капитализм настаивает на своей естественной данности, но держится на том, что товар метит не в удовлетворение так называемых естественных потребностей, а в желание, которое всегда уже помечено означаемым. Даже если мы скажем, что маркетинг сегодня изменился и мишенью служит не желание, а влечение с наслаждением от навязчивости самого акта потребления, то и в этом случае и влечение, и наслаждение связаны с означаемым. Нужно задавать вопрос, видел ли кто-то в природе означаемое?

Свидетельством того, что деньги — от природы, служит не столько их скрываемая анальная родословная, сколько их способность к размножению: день-

ги — к деньгам, деньги делают деньги. Без витализма нет капитализма.

К деньгам человеческого субъекта еще нужно приручить. Каким образом проходило приручение? Через когнитивные программы массмедиа, *естественно*. Особенную роль в этом процессе сыграла программа «Поле чудес», которая приступила — неважно, осознанно или бессознательно, — к своей миссии 26 октября 1990 года. «Поле чудес» — телевизионная передача, а точнее, капитал-шоу, с помощью которой формировались «естественные» отношения с деньгами, вбивалась новая *точка пристрастия*. По пятницам в прайм-тайм, после завершения трудовой недели, неделя за неделей, месяц за месяцем, год за годом страна перемещалась на Поле чудес.

Название этой передачи отсылает к истории о том, как мошенники, Лиса Алиса и кот Базилио, узнав, что у Буратино завелись деньги, решили их обманым путем отнять; и это им удалось. Буратино попался на крючок идеи естественного размножения денег. Поле чудес — та иллюзия, на которую мошенники его «развели», предложив закопать золотую монету, произнести волшебные слова, посыпать место солью и вырастить таким образом дерево с золотыми монетами вместо листьев. В этом надувательстве мы явно имеем дело с легендой о природном происхождении денег.

Любовь к деньгам — не просто установленная природой связь, но долг каждого порядочного гражданина капиталистической вселенной. Гражданский долг этот связан с другим, принципиальным для капиталистической культуриндустрии долгом, а именно — быть счастливым. Человек должен любить деньги, потому что он, естественно, должен быть счастливым. К тому же деньги и долг крепко-накрепко связаны.

На фоне таких чудесных программ когнитивного капитализма святотатством выглядит поступок пе-

тербургского математика Григория Перельмана, отказавшегося в 2010 году от денег. Этот отказ потряс массмедиа, ниспроверг общественный идеал. Как это человек не любит деньги? Он что, не естественный человек, не настоящий ученый? Как можно отказываться деньгам? Ужас в том, что Перельман не просто презрел общечеловеческие ценности, а нарушил закон природы, проявив безразличие к идеалам капиталистического Поля чудес.

Сколько бы Фрейд, например, ни говорил о том, что деньги и счастье не связаны, деньги оказались пристегнутыми к счастью. Более того, деньги не только естественны, не только обеспечивают счастье, но их рост и накопление связаны с природным умом и социальным успехом. В 2012 году в массмедиа возник безответный вопрос, почему прославленный художник Майк Келли покончил с собой, ведь он был такой успешный и у него было так много денег. Тот, у кого много денег, не должен умирать. Он должен указывать путь другим, путь в натуре к капиталистическому бессмертию.

Как известно, тот, у кого есть деньги, — умный, а умный знает, как перехитрить Абсолютного господина, Смерть. Разум сводится здесь к расчету. Вполне можно сказать, *computo ergo sum*. Капиталистический дискурс, пропущенный через фильтр массмедиа, утверждает, что только умный может быть богатым. Только природный ум позволяет на счастье обладать деньгами и управлять потоками капитала, срезая с этих потоков прибавочное наслаждение.

Наслаждение с его автоматическим повторением, с его навязчивым возвращением, с его всегда уже прибавочным избытком бытия обнаруживается на стороне влечения. К наслаждению призывает ненасытная инстанция *сверх-я*; эта инстанция и выступает на стороне не желания, а влечения с его «естественным»

прибавочным наслаждением. В отличие от наслаждения, желание субъекта сингуляризует объект желания, сверхценный объект любви, наделяя его бесконечностью и несоизмеримостью. Влечение с его наслаждением и стало основной целью когнитивно-потребительского капитализма. Наслаждение как то, что оказывается по ту сторону мысли и желания, ведет нас к регистру реального.

3. Деньги от реального

Говоря фрейд-лакановским языком, деньги *ex nihilo* были вознесены до положения Вещи. Иначе говоря, из экскрементов они превратились в возвышенный объект, недоступный в своем ослепительном блеске для сил разума. Это возвышенное измерение символических денег ведет нас к пределам *реального*, туда, где из берегов разумного выходит прибавочное наслаждение.

Сегодня деньги дематериализуются, но это не значит, что они возвращаются в состояние *ex nihilo*. Напротив, приближаясь к Святому Духу, они сохраняют возвышенное сияние пустоты Вещи. Капитал и влечение кружат вокруг пустоты. Капиталистическое движение по кругу не знает преград на путях освоения прибавочного наслаждения.

К тому же и во времена материальных денег они не были совсем материальными: да, мы знаем, что они материальны, что они сделаны из бумаги и металла, однако обращаемся мы с ними так, будто они состоят «из субстанции, не подверженной изменениям, субстанции, над которой не властно время и которая совершенно отлична от любой другой материи, обнаруживаемой в природе» [Жижек 1999, с. 25–26].

По ту сторону символической матрицы — но не вне матрицы — обнаруживаются две циркуляции, циркуляция либидо и циркуляция капитала. Именно здесь

строится сегодняшний капитализм, основанный не на маркетинге желания, а на эксплуатации влечений. Именно там, по ту сторону матрицы сочтется наслаждение, всегда уже прибавочное, как отмечает Лакан со ссылкой на прибавочную стоимость Маркса. Здесь уже речь не идет ни о Вещи, ни о сублимации, ни о символической функции денег. Здесь мы оказываемся у пределов *реального*. Точнее, на том пределе, где реальность распадается в силу того, что ее невозможно контролировать. Реальность денег, потоков капитала и капитал-либидо дерезализует реальность.

Навязчивое круговое, возвратное кружение имеет принципиальное значение. Именно эти обороты капитал-либидо и служат источником прибавочного капитала и прибавочного либидо. Проблема в том, что из этого кружения невозможно выйти: «...как можно выйти из этого кругового движения, если сам субъект не знает, каким образом он в него помещен?» [Алеман 2019, с. 78]. Деньги — это ламелла, тот самый орган-либидо, который на хребте влечения смерти выезжает за пределы жизни, в зону бессмертия, обеспечиваемого накоплениями природного капитала.

Славой Жижек, разводя в стороны влечение капитала и желание капиталиста, подчеркивает, что до наступления цифрового капитализма на уровне либидо

эксплуатация приравнивается к служению наслаждению Другого: желание субъекта подчинено влечению Другого, так что, даже если я страдаю от боли, я принимаю ее, если эта боль служит наслаждению Другого, то есть бесконечному стремлению капитала к расширенному самовоспроизводству: бесконечное самообращение капитала (как «автоматического субъекта») паразитирует на моем конечном желании. Это наслаждение, разумеется, не психологическое, оно безлично, это момент объективной социальной структуры

капитала, но все же оно не просто объективно: оно предполагается отдельными субъектами в качестве виртуальной точки пристрастия (в том же смысле, в каком виртуален символический Другой: непсихологическая сущность, которая существует только как виртуальная точка пристрастия субъектов и их деятельности) [Жижек 2020, с. 217].

Аналитические деньги, или За что платит анализант

Три предварительных комментария к этому вопросу:

- (1) В отличие от капиталистического дискурса, в дискурсе психоаналитическом объект *a* выступает как тот несоизмеримый объект, который не позволяет тотализовать систему, сделать все со всем соизмеримым. Именно этот объект, который Лакан иногда называет объектом-причиной желания, а иногда агальмой, является движущей силой анализа, объектом переноса, но при этом объектом в привычном смысле он не является. Его невозможно оценить, невозможно включить в оборот капитала, притом что он обнаруживается не только как объект-причина желания, но и как объект прибавочного наслаждения.
- (2) Фрейд полагает, что деньги достаточно поздно обретают свое символическое значение. В письме Флиссу 16 января 1889 года он пишет, что «счастье — это исполнение доисторических желаний задним числом. Потому богатство приносит столь мало счастья. Деньги не были желанием детства» [Freud 1986, S. 320]. Обратим внимание на «доисторические желания». Когда начинается история? С завершением инфантильной фазы в Эдипе. К тому же инфантильный доисторический рай не имеет от-

ношения ни к истории, ни к знанию, ни к познанию, ни к символическому обмену. Он всегда уже конституируется задним числом. Не в деньгах счастье и не в их количестве. Фрейд производит разрыв в связке *деньги — счастье*. Образцом счастья для Фрейда является любовь, та самая, которую капитализм превращает в инвестицию.

- (3) В психоанализе любовь-в-переносе вводит различия. Фрейд устанавливает дифференцированную стоимость сеанса для разных пациентов. Эквивалент подорван, стандарта фиксированной стоимости нет. Анализант платит столько, сколько может. Фрейд демпингует.

Теперь вернемся к вопросу, за что платит анализант? За что именно платит «потребитель», за какую услугу или за какой товар?

- (1) Анализант платит за уделенное ему время. В этом случае можно подумать, что в психоанализе действует формула «время — деньги». Однако если у Фрейда мы еще можем обнаружить намек на этот эквивалент, то Лакан его подрывает окончательно, ориентируясь не на хронологическое время, а на время логическое, время бессознательного. Иначе говоря, в психоанализе эквивалент «время — деньги» не работает, по меньшей мере начиная с введением Лаканом переменной длительности сеанса. Время и деньги несоизмеримы.
- (2) За речевой обмен, за возможность говорить и быть выслушанным. Как сказал бы Лакан, анализант платит за означающее и за толику стыда. За возможность диалога, который может привести к встрече с собой как с субъектом бессознательного. Иначе говоря, за возможность сублимации, реорганизации себя *ex nihilo* за счет означающих как материала суб-

- лимации. Сложность заключается в том, что такая сублимация, на которой настаивает Феликс Гваттари, оказывается противоположной требованиям капиталистического рынка, который «вводит цепь эквивалентностей, уничтожающих любую возвышенную трансценденцию» [McGowan 2016, p. 218].
- (3) За утрату утраты. За осознание невосполнимости той структурной утраты, в которой мы возникаем в качестве человеческих субъектов. В частности, за понимание того, что деньги никоим образом не могут восполнить утрату, ту утрату, в которой происходит рождение субъекта. Деньгами дыру, оставленную Вещью, не заткнуть, не заткнуть ее и всем тем, что можно купить за деньги. Деньги уж точно ничего не могут поделать с кастрацией, разве что ее тщательно обходить, высвобождая пространство для движения нарциссически расширяющегося денежного тела. Если речь при этом идет о расставании с симптомом, то, значит, о частичном расставании с тем наслаждением — всегда уже прибавочным, — которое заключено в симптоме.

Принцип дифференциации и поддержания различий обнаруживается и в отношении значения денег. В аналитической практике анализант расплачивается за сеанс своей валютой, значение которой проясняется по ходу анализа. Можно сказать, в психоанализе у *сингулярного субъекта* — *сингулярная валюта*.

Сингулярная валюта психоаналитических случаев

Деньги деньгам рознь. Валюта валюте рознь. В книге «Тотем и табу» Фрейд проясняет это следующим образом: есть валюта внешняя, а есть внутренняя, и своя

внутренняя валюта важнее валюты внешней. Деньги расписываются топологически на внешние и внутренние:

Невротика живут в особом мире, в котором, как я это выразил в другом месте, ценится только «невротическая валюта», то есть на них оказывает действие только то, что составляет предмет интенсивного мышления и аффективного представления, а согласование с внешней реальностью является чем-то второстепенным [Фрейд 2007, с. 375].

Здесь возникает вопрос, не является ли невротическая валюта психотической, той, для которой внешняя реальность отступает на второй план. Невротическая валюта в интерпретации Фрейда уже выглядит как психотическая. Другой не бывает? Похоже на то. Валюта эта, напомним, напрямую связана с либидо-экономикой и наслаждением симптомом.

Анализант расплачивается с аналитиком особой валютой. Аналитик, в свою очередь, предлагает анализанту самому установить размер оплаты, согласно принципу: оплата должна быть чувствительной для данного конкретного человека. Чувствительность, равно как и объем невротической валюты, у каждого своя. Валюта эта помечена прибавочным наслаждением.

Самый показательный в этом отношении случай — это случай Человека-Крысы. Две основные темы разговоров этого пациента Фрейда строились вокруг двух означающих — долгов и крыс. Не только долги, но и крысы в либидо-экономике пациента связаны с деньгами.

Лакан строит вокруг этого случая теорию долга, и его статья «Индивидуальный миф невротика», посвященная Человеку-Крысе, — это *теория долга*. Долг — это символ индивидуальной судьбы Человека-Крысы и в то же время — это само означающее социального

порядка. Не только кризис этого субъекта раздражается вокруг идеи возмещения долга, когда он никак не может оплатить микроскопический долг за очки, но, главное, социальный порядок подключает его долг к долгам, не оплаченным его отцом. Отец Человека-Крысы, заядлый картежник, по-немецки *Spielratte*, то есть буквально «играющая крыса», умер, так и не вернув карточный долг своему другу. В том-то и проблема, что «элемент долга находится на обоих планах одновременно» [Ласан 2007, р. 30], на плане отца и на плане сына. Долг связывает, скрепляет между собой два поколения, отца и сына.

Долг — принципиальное понятие капиталистической вселенной. Субъект этой вселенной — субъект-должник. Он рождается во Вселенную обремененным долгом; рождение должником — особенность случая Человека-Крысы. Что оставил своему сыну в наследство отец Человека-Крысы? Правильно — неоплаченный долг. Долг, чтобы стать исчисляемым, должен обрести эквивалент в деньгах, и деньги эти виртуальны*. Существование Человека-Крысы обеспечивается долгом.

Человек-Крыса не только и не столько сам крыса, сколько крысы — то, что у него есть, разменные означающие, циркулирующие между ним и аналитиком. Речь идет в этом случае о

даре речи в контексте включающего этот дар вообразяемого соучастия. О даре, все значение которого откроется лишь позже — когда субъект

* «Сначала появились те деньги, которые мы называем виртуальными» [Гребер 2021, с. 43]. Деньги — измерение долгов, и потому, как пишет Дэвид Гребер, их никто не изобретал, так же как никто не изобретал математику: деньги — «способ математического сравнения вещей, подобный пропорции» [Гребер 2021, с. 54]. Долг, по логике Гребера, так же, как и по логике Лакана, — «основа общества как такового. Он появился задолго до денег и рынка» [Гребер 2021, с. 58].

мысленно установит символическую эквивалентность между крысами и теми флоринами, которыми он оплачивает труд аналитика [Лакан 1995, с. 61].

Человек-Крыса не просто сравнивает работу психоаналитика и проститутки, что является общим местом, но их *различает*. С психоаналитиком Человек-Крыса рассчитывается особой валютой, а с проститутками — обычной. Работу проститутки он оценивает так: сколько крыс — столько гульденов. Крыса в таком случае — фаллос. А вот с Фрейдом в своем стремлении оплатить неоплатные долги он рассчитывается официальной крысиной валютой [eine förmliche Rattenwährung]. Деньги деньгам — рознь!

Деньги играют существенную роль и в других случаях Фрейда, в частности в случае Человека-Волка, и особенно в случае Доры, в котором Фрейд прибегает к капиталистической метафорике, соотнося дневную мысль с предпринимателем, а желание — с капиталистом, покрывающим психические расходы. Психоанализ появляется при капитализме, и подобная метафорика неувидительна.

Сегодня, во времена цифрового когнитивного капитализма, психоанализ тем более находится на рынке. Сегодня повсеместно правит не символический закон различий, к которому обращается психоанализ, а закон тотальной эквивалентности и прибыли. В этой связи остается задаваться вопросом об атаке окончательно сциентизированного рынка с его единственным законом, законом прибыли: «Переживет психоанализ эту атаку или нет, ведь психоанализ, похоже, плохо совместим с законом прибыли» [Soler 1996, p. 61].

Литература

- Алеман Х. (2019). *Об освобождении*. Москва: Горизонталь.
- Гребер Д. (2021). *Долг: первые 5000 лет истории*. Москва: Ад Маргинем Пресс.
- Денисов Н. (1963). *Хорошо, хорошо, Гагарин!* Москва: Московский рабочий.
- Долар М. (2021). *О скупости и связанных с ней вещах*. Санкт-Петербург: Издательство Ивана Лимбаха.
- Жижек С. (1999). *Возвышенный объект идеологии*. Москва: Художественный журнал.
- Жижек С. (2020). *Гегель в подключенном мозге*. Санкт-Петербург: Скифия-принт.
- Лакан Ж. (1995). *Функция и поле речи и языка в психоанализе*. Москва: Гнозис.
- Маклюэн М. (2011). *Понимание медиа*. Москва: Кучково поле.
- Михалков С. (1971). Похождение рубля // *Собрание сочинений: в 3 т. Т. 3. Рассказы, сказки, пьесы, басни*. Москва: Детская литература.
- Фрейд З. (2008). Новый цикл лекций по введению в психоанализ // Фрейд З. *Введение в психоанализ: лекции*. Москва: Фирма СТД.
- Фрейд З. (2007). Тотем и табу // Фрейд З. *Вопросы общества и происхождения религии*. Москва: Фирма СТД.
- Фрейд З. (2006). Характер и анальная эротика // Фрейд З. *Навязчивость, паранойя и перверсия*. Москва: Фирма СТД.
- Lacan J. (2007). *Le mythe individuel du névrosé*. Paris: Seuil.
- McGowan T. (2016). *Capitalism and Desire*. New York, NY: Columbia University Press.
- Freud S. (1986). *Briefe an Wilhelm Fließ 1887–1904*. Frankfurt am Main: S. Fischer Verlag.
- Soler C. (1996). "Time and Interpretation" // *Reading Seminars I and II*. New York, NY: State University of New York Press.
- Stiegler B. (2012). "Pharmacology of Desire: Drive-based Capitalism and Libidinal Dis-economy" // *Loaded Subjects*. Ed. By David Bennett. London: Lawrence & Wishart.

THE MEANING AND DISTINCTION OF MONEY

VIKTOR MAZIN (dreamcatwork@gmail.com). St. Petersburg State University (Saint Petersburg, Russia).

One of the fundamental points of the article is that money can be different, and their role is different depending on the semantic field to which they are attached, i. e. from the point of their fastening, from what Lacan called point du capiton. This position is argued by the analysis of Sergei Mikhalkov's pamphlet «The Adventure of the Ruble», which deals with the differences in the fate of the Soviet ruble and the American dollar. The psychoanalytic method allows us to talk about various dimensions of money, symbolic, imaginary, and even about the circulation of capital from the real. Unlike capitalist discourse, in psychoanalytic discourse, object a acts as that incommensurable object that does not allow totalizing the system. In support of the point that money is money apart, the author turns to analytical practice, in which the analysand pays for the session with his currency, which Freud called neurotic. This currency is also not universal, since each analyzer has its own, and its meaning becomes clear in the course of the analysis: a singular entity has a singular currency. An example is the «rat currency» of a patient known in the history of psychoanalysis as the Rat Man.

KEYWORDS: clasp point; commercial psychosis; imaginary, symbolic, real money.

JEL: Z11, B29.

Fiat victim!

Жертва как фиатная величина в горизонте биополитики*

Елена Иваненко

ИВАНЕНКО ЕЛЕНА АНАТОЛЬЕВНА (iv@webvertex.ru), доцент кафедры философии Самарской гуманитарной академии (Самара, Россия).

В центре данного исследования — феномен фиатности, переосмысленный как одна из современных практик солидарности, присутствующих в социальном пространстве и связанная равно как с конструктом денег, так и с конструктом жертвы. Теоретическая рамка данного исследования — философская антропология жертвы, трактующая *жертву насилия* (victim) как один из важнейших смысловых узлов для понимания современности. Главный тезис — жертва как культурный конструкт является фиатной величиной и напрямую связана с процессами культурной и экономической глобализации. Перспектива развития тезиса состоит в предположении, что жертва, возможно, функционирует как субстрат для эволюции глобальных денежных систем. В качестве такового конструкт жертвы (и связанное с ним проблемное поле *экономики жертвы*) может стать основой для декодирования малоизученных процессов современной экономики, в частности для рефлексии над спецификой современных фиатных денег и экосистемами криптовалют.

Ключевые слова: жертва; деньги; экономика; фиатность; долг; доверие; культура виктимности.

JEL: A14, B59, D63.

* Работа подготовлена при финансовой поддержке РФФИ в рамках научно-исследовательского проекта РФФИ № 19 01 00872 «Философская антропология жертвы: сакрализация, управление, дизайн».

Fiat lux! Et lux fit!

Прежде всего, мне следует извиниться перед специалистами в области экономики за посягательство философа на чужую область знаний, в частности на понятие *фиатности*, поскольку я предложу его новую трактовку через призму процессов децентрализации. Данное непрофессиональное посягательство движимо несколько амбициозным замыслом привнести нечто новое и ценное в гигантское хранилище экономических наук. Вполне возможно, что замысел наивен, и так и останется тщетной попыткой. Но если есть хотя бы небольшой шанс на успех в этом непростом деле, то это, без сомнения, стоит затраченных усилий — как исследователя, так и читателя. А потому, вдохновившись высказыванием Кейнса о «храбрых еретиках»*, попробуем обнаружить «неясные и несовершенные истины» на стыке разных плоскостей гуманитарного знания.

С методологической стороны в своих размышлениях я исхожу из положения о необходимости «интердисциплинарного подхода» к изучению денег, в последнее время высказанного многими учеными-экономистами [Автономов 2020, с. 336; Ingham 2004; Smithin 2012; Аглиетта, Орлеан 1999]. В общем и целом в рамках такого подхода предлагается создать новый исследовательский инструмент в виде «комбинации социальной онтологии, экономической социологии, монетарной макроэкономики и политической эконо-

* ...the brave army of heretics... who, following their intuitions, have preferred to see the truth obscurely and imperfectly rather than to maintain error, reached indeed with clearness and consistency and by easy logic but on hypotheses inappropriate to the facts [J. M. Keynes, *The General Theory of Employment, Interest and Money* 1936. P. 371].

мии» [Smithin 2012, p. 1]. Позволим себе добавить в эту комбинацию еще один компонент — философскую антропологию жертвы, сходным образом предлагающую комплексное изучение виктимных конструкций [Философская антропология жертвы, 2017]. Я полностью соглашаюсь с тезисом Смитина, что рассматривать экономическое пространство изолированно невозможно [Smithin 2012], равно как социальное, политическое, культурное и прочие сферы человеческих трудов и пристрастий. А значит, междисциплинарная сцепка *жертва—доверие—деньги* может дать достаточное критическое пространство, чтобы задать вопросы равно как о природе *денег*, так и о природе *жертвы* (ниже я дам краткие пояснения о смысловом наполнении этих понятий).

Потому дальше сразу пойду с козырей: *жертва* — это новая фиатная величина, могущая стать основой для фиатных денег в пространстве современной экономики. Если позволить себе еще большую наглость, то можно заявить, что *жертва* как некий конструкт во всей полноте и сложности своих структур уже функционирует как субстрат для эволюции глобальных денежных систем и определяет новый тип доверия в обществе биополитического типа. Эта «новая фиатность» наследует идею централизованного властного суверенитета государственного толка, но переносит его на сообщество, как некое децентрализованное консолидированное тело, определяемое общей идентичностью и возникающее на волне аффективной реакции, самым мощным триггером которой сегодня, без сомнения, является *жертва*. Разумеется, состояться такое тело может только в гибридном сетевом пространстве. В эпоху больших данных стал возможен культурный фрейм *большой жертвы* (позволим себе такой неологизм по аналогии с глобальным срезом главного сырьевого ресурса планеты —

«большая нефть»), который позволяет коллективному телу сообщества реагировать на любой масштаб страдания и насилия и временно принимать на себя права суверена глобального формата, среди которых есть право гарантировать — опять же «глобальную» — стабильность ценностей. Между цифровой средой и конструированием жертвы есть и более прямая связь — присутствующий в современном культурном активе колоссальный массив жертв попросту невозможен без массива данных. Равно как, кстати, и современные банковские операции, биржи и криптовалюты.

И в этой перспективе неудивительно, что вопрос «насколько универсальны деньги?» симметричен вопросу «насколько универсальна жертва?». Эти два узла проблем вполне можно встроить в единое смысловое пространство, при этом обнаруживая обоюдную дистанцию для рассмотрения и изучения. В самом деле, невозможно пройти мимо того, что такие определения денег как «социальные отношения» [Ingham 2004, p. 80], «социальный факт» [Smithin 2012, p. 3] и «самоориентирующаяся конвенция» [Аглиетта, Орлеан 1993, с. 12], могут быть перенесены без потерь и на конструкт жертвы. Жертва, как и «деньги, — это интригующий феномен с невероятной силой воздействия на общество» [Mellor 2010, p. 28]. Таким образом, два самых животрепещущих вопроса современности — о деньгах и о жертвах — допускают единую исследовательскую оптику; или, как пишет Смитин в работе «Требуется философия денег и финансов», нуждаются в новом типе знания, подобном греческой *эпистеме*, направленной на работу с быстроменяющейся «природой вещей», успевающей следить за «укладом в мире» (way the world works) и предлежащей всякому *техне*, или техническому знанию [Smithin 2012, p. 6–7].

Потому если приходится «признать необходимость процесса социализации, чтобы осмыслить деньги»

[Аглиетта, Орлеан 1993], то почему бы не признать необходимость встраивания жертвы в экономические потоки, иными словами, наличие некоей *экономики жертвы* в пространстве западно ориентированной культуры? Не будем пока преумножать существующее сверх меры и оставим этот вопрос риторическим, полагая существование понятия «экономика жертвы» на уровне рабочей метафоры. Данный текст делает только один шаг в этом направлении. Для ответа на вопросы: «Что такое деньги? При каких условиях они принимаются на длительный период времени?» (Аглиетта, Орлеан 1993, с. 10) — я предлагаю к рассмотрению тезис, что жертва является одним из «институтов, снижающих неопределенность». Пьер Бурдьё в своих «Лекциях по экономической антропологии», несколько перефразируя высказывание экономиста Яна Крегеля (Jan Kregel), говорит об «институтах, снижающих неопределенность» [Бурдьё 2018, с. 238], которые присутствуют в экономическом универсуме как «определенный комплекс операций, часто юридического толка, но порой и просто конвенциональных, которые нацелены на то, чтобы мир не был, как говорил Бергсон, “созданием непредвидимой новизны”» [Бурдьё 2018, с. 238]. Так вот, жертва как особого рода конструкт, вбирающий в себя самые разные стороны человеческого, выполняет сегодня как раз такую функцию.

Следует сделать еще одно общее замечание касаясь общего контекста исследования, а именно *биополитики* как определенного уклада общества, обнаруживаемого на всех уровнях жизни от государственных идеологий до повседневных практик. Биополитика способна продуцировать глобальные формы управления социальными системами через универсальную прошивку понимания биологической жизни как безусловной ценности. Потому конструкт жертвы сегодня — это общечеловеческая ценность, стоящая

на этике и секуляризованной теологии в пространстве, которое можно условно обозначить через оппозицию *dolce vita/nuda vita**. Несмотря на то что биополитика задает определенные нормативы в социальном пространстве, она сама тоже претерпевает значительные мутации под воздействием процессов децентрализации. В результате этих изменений низовая активность (*grassroots activity*) граждан принимает на себя все права на суверенное решение, по той простой причине что в пространстве сетевой транспарентности виктимные конструкты (несправедливости, попрания прав, насилия и тому подобные) возникают мгновенно, а официальные нормы по их урегулированию сильно отстают [Re, Shekhovat 2018, p. 60; Laverick 2016, p. 294]. И поскольку, как известно, «двигаясь в королевском направлении можно обгонять короля», то общество, как новая *глобальная институция*, само принимает решение *ad hoc* о признании статуса жертвы и назначении должной компенсации. Работа «мгновенного глобального жюри» [Munt, 2016, p. 1] осуществляется в пространстве глобального зала суда, каковым являются новостные медиа и в наибольшей степени социальные сети.

Далее разберем по пунктам сцепку *жертва—доверие—деньги*.

Жертва

Что такое жертва? Вряд ли стоит пояснять, что жертва — это фундаментальная структура общества с древнейших времен и до наших постковидных дней. «Внимание к жертвам находится в своем зените» [Furedi 1998]. Жертва во множественных своих вариациях

* *Nuda vita (um.)* — голая жизнь.

сегодня находится на авансцене, поддерживая баланс международных отношений в условиях глобализационных процессов и обеспечивая тем самым дальнейшую экспансию глобализации. При этом жертва — это изменчивый конструкт, чье наполнение и характеристики меняются в зависимости от социокультурной среды. В качестве константы можно выделить только наличие (де)сакрализующей силы этого конструкта, способного к реорганизации социального порядка вокруг себя.

Важно заметить, что даже разница английских слов *victim* (жертва преступления или насилия, пострадавший субъект) и *sacrifice* (священная жертва, жертвоприношение) все равно ведет к общему фундаменту и опирается в архетипическую функцию снятия и перераспределение насилия через работу с сакральными порядками жертвы [Сериков 2019; Корецкая, 2021]. Неисчислимое сакральное сохраняется как фон даже в строгом терминологическом аппарате виктимологии [Иваненко 2019]. И получается, что древнее «небожественное сакральное» [Зенкин 2012] лежит теперь в основе глобализационных процессов, обеспечивая (подобно единой валюте) одновременно «эрозию национального контроля» [Kregel 2019, p. 3], поскольку жертва сегодня конструируется наднациональным общественным резонансом, и «связь между международной финансовой координацией и национальной автономией» [Kregel 2019, p. 3], поскольку всякий конкретный конструкт жертвы вписывается в международное право и системы компенсаций (желательно в долларах или евро).

Глядя на то, как сегодня в медиа формируется «ландшафт событий» (*eventscape*) [Geis 2018, p. 85], можно заметить, что глобализация и биополитика на пару тянут за собой специфическое понимание конструкта жертвы. Жертва в биополитической трак-

товке — это то, что «не должно повториться», сбой системы по обеспечению прав на жизнь и безопасность. И здесь можно наблюдать своеобразный тактический ход, устроенный, как ловушка времени и памяти. Мы, мировое сообщество, так хотим не повторить жертвы, что изо всех сил стремимся их не забыть и в итоге постоянно воспроизводим соответствующий аффект всеми доступными способами, включая поиск жертв в «ландшафте событий» и непосредственное создание жертв (в диапазоне от дизайна «жертв» средствами медиа до буквальных преступных действий). В итоге раскачанная биополитикой «жертва» проминает собой поле общественного внимания, а медиатрансляции образов и нарративов жертв терактов, геноцида, харассмента и пандемий вызывают волны остро социальных аффектов. Охочее до аффектов общество идет по пути наименьшего сопротивления, скатываясь в сторону жертвоцентрированных нарративов, наращивая их резонанс и только увеличивая тем самым их влияние.

В итоге конструктор жертвы может быть описан как некий динамический объем, содержание которого не задано заранее и находится в процессе постоянного формирования, и «жертва» возникает как эффект в результате коллективной эмпатии, опираясь на *коллективное тело* сообщества. Симптоматическая оценка роли жертвы в современности не раз уже давалась в исследованиях, в частности через понятие *виктимократии* [Gans 2013] и концепцию «культуры виктимности» (*victimhood culture*) [Campbell, Manning 2018], где социальные отношения и их подвижные изменения определяют *дизайн жертвы* [Иваненко 2017], то есть то, как выглядит жертва и какие функции она призвана исполнять. В целом жертва как социальный конструктор — это открытая система, не исключающая стохастического поведения: «В бытии или становлении жертвой нет

четкости и абсолютной предзаданности. Осваивать статус жертвы — значит быть частью многочисленных интеракций и процессов» [Mythen 2007].

Жертва и долг

В правовых границах, построенных на понятии *справедливости* (just), статус «жертвы», как правило, значит «нам *должны*», подразумевая всякий раз наличие коллективного аффекта общества как гаранта данного тождества. Благодаря коллективному аффекту и потенциалу мгновенного глобального суда в сетевом пространстве «жертва» функционирует как социальная конструкция, позволяющая создавать долг из ничего, и в качестве таковой оказывается мощнейшим игроком на экономическом поле, поскольку долг перед жертвой может оказаться бесконечным (ведь сакральное плохо поддается измерениям).

И тут очень удобной оказывается идеология биополитики, поскольку поле престижного потребления *dolce vita* позволяет с большей вариативностью опознавать отъятие прав, создавая новые типы жертв и каждый раз заново актуализируя биополитический предел депривации, обозначаемый термином «голая жизнь», или *nuda vita*. Далее мы наблюдаем оригинальный ход, позволяющий подтвердить экономический потенциал конструкта жертвы: всякое отъятие прав может быть прочитано как *несправедливость* (unjust), и, следовательно, как причитающееся в качестве компенсации *право на власть* (например, распоряжаться капиталом — этическим или денежным). Так происходит потому, что жертва насилия образует вакуум в универсуме справедливости. Статус жертвы способен втягивать ресурсы (деньги, внимание, эмпатию) — ведь во имя сохранения гармонии универсума

на несправедливость нельзя не отвечать, невозможно не реагировать. Причем даже вне искренней реакции сочувствия любая минимальная пользовательская активность — репост, клик, просто показ информации на персональном устройстве — становится частью практики удаленного свидетельствования, очерчивая границы коллективного тела. Проще говоря, жертва *обязывает* (не является ли это мощным стимулом экономики?), причем обязывает *всех*, проводя тем самым демаркационную линию свои/чужие.

Следует прибавить, что виктимизированная идентичность сегодня тяготеет к тому, чтобы быть множественной, ведь права индивида несоизмеримы с правами социальной группы, что отлично демонстрирует пример движения #metoo, или BLM. Англоязычное исследовательское поле даже предлагает соответствующий для подобной разделенной групповой идентичности неологизм *we-ness* [Brunilla, Rossi 2017, p. 2], который условно можно перевести на русский как *мы-шность* (по существу в русскоязычном поле он лучше всего виден из хештегов по формуле #я/мы_имярек). В контексте *dolce vita* такая виктимизированная идентичность сегодня даже приобретает черты богатства:

Богатство можно определить как то, о чем мы думаем, что все значимые другие о нем тоже думают и, главное, будут думать именно как о богатстве, то есть том, что будет как минимум сохранять свою стоимость в будущем [Погребняк 2020, с. 153].

Деньги

Емкое и гибкое определение «деньги — это социальные отношения» [Ingham 2004; Smithin 2012, p. 2], с одной стороны, освобождает от неповоротливости утили-

тарных определений природы денег, но, с другой стороны, сразу же вынуждает задать неудобный вопрос о способах работы с этими самыми отношениями. Западная денежная архитектура в своей специфике опирается на вопрос о природе актуальной *начинки денег* (stuff of money) [Ingham 2004; Smithin 2018, p. 5], который ведет в социальную онтологию. Какова природа денег? Как они воспроизводятся и поддерживаются?

«Ставки в дискуссии о деньгах очень высоки и выходят за рамки интересов специалистов. Деньги не только и не столько экономическое благо. Они в определенном смысле отражают общество в целом» [Аглиетта, Орлеан 1993, с. 11].

В этом контексте мне кажется показательным определение, данное Мишелем Аглиетта:

...денежная счетная единица утрачивает связь с металлом и становится всего лишь самоориентирующейся конвенцией (convention autoréférentielle). Тем не менее она должна сохранять свою символическую нагрузку, дабы мобилизовать доверие членов сообщества. Одновременно формы регулирования подчиняются противоречивым силам и постоянно — с ходом времени — колеблются между двумя полюсами: централизацией и фракционированием [Аглиетта, Орлеан 1993, с. 12].

То же происходит и с жертвой — в последнее десятилетие мы наблюдаем возникновение самореферентного конструкта жертвы как точки экстремума развития виктимных оппозиций типа *палач—жертва*, *преступник—жертва* и тому подобных [Иваненко 2019]. Жертва как «самоориентирующаяся конвенция» формируется в публичном пространстве при помощи сетевых медиа и предполагает заигрывание со смертью, страданием и жертвенным статусом при полной включенности в жизнь и экономические потоки (в качестве

примера можно привести феномен селфменеджмента жертвы Рейчел Долезал). Эффективность конструкта жертвы в данном случае опирается на ресурс общественного внимания: попасть в свет коллективного аффекта (эмпатии или негодования) — значит получить доступ к ресурсу. Даже сама неопределенность «кто против жертвы?» оставляет постоянный саспенс угрозы, что само по себе может быть оценено как достаточно травмирующее основание. На мой взгляд, такой наиболее открытый капитал жертвы стремится к функционированию наподобие валюты интернационального толка.

Через посредство денег субъекты поддерживают отношения с чем-то иным, чем они сами, — социальным, выступающим в качестве института [Аглицта, Орлеан 1993, с. 22].

Востребованность виктимных конструкций и их поливариантность в западном обществе также могут быть расценены в качестве посредничества, благодаря которому современное общество формирует себя (причем с претензией на наднациональный формат). И если принять во внимание тезис, что банки в новейшей истории заместили правительство в выпуске денег [Mellor 2010, p. 27] — то следует задать вопрос: может ли сетевое децентрализованное общество заместить, в свою очередь, банки? Павший ангел Либра свидетельствует о том, что похожая попытка как минимум была. Вполне вероятно также, что может быть обнаружена связь между стабильностью доллара и американской культурой виктимности и их обоюдной тягой к глобальности.

«Глобальная институция возможна на глобальной валюте» [Kregel 2019, p. 4], а валюта, в свою очередь, должна опираться на всеобщее доверие. Тесная связь виктимных конструкций с архитектурой социального может быть понята как запрос на единство и конвер-

тируемость смыслов. Образно говоря, точно так же, как некогда божественный императив *Fiat lux!* открыл свету мироздание, сегодня в универсуме социальных отношений запрос на установление порядка звучит как *Fiat victim!* (да будет жертва!). То есть конструкт жертвы сегодня действует как будто *свет*, являющийся условием понимания порядка в мире вообще (оставим в скобках напрашивающийся намек на небожественное сакральное и горизонты политической теологии). С поправкой на гибридные пространства медиакоммуникации можно сказать, что жертва создает распределенное поле доверия *своих* к *своим*.

Продолжая изучать возможные параллели между деньгами и жертвой, можно заметить, что у конструкта жертвы есть немало признаков, присущих деньгам: например, высокая ликвидность и конвертирование; восходящая еще к архаике функция оплаты долга и обмена на благо. Где-то рядом следует расположить процедуру этического банкротства, запускаемую статусом жертвы; а также возможность монетизации статуса жертвы (например, хайпа вокруг виктимных конструктов). Это, разумеется, не полный и не систематизированный перечень, который я привожу здесь только для того, чтобы определить направление мысли. Ряд сходств можно обнаружить и через более метафорические определения свойств современного конструкта жертвы, например такие как игра на «бирже аффектов» в пространстве социального, «эмиссия» жертв обществом определенного типа или даже «майнинг» жертвы в сети.

«Денежные формы <...> содержат как минимум три составляющие: общую счетную единицу, принцип создания денег и принцип расчетов (погашения остатков)» [Аглиетта, Орлеан 1993, с. 33] — в рамках экономики жертвы данные составляющие будут выглядеть примерно так: *жертва* как единица, *справед-*

ливость как принцип создания и *удовлетворенность* как принцип расчета. Неотъемлемая компонента конструкта жертвы — сакральное — вносит свое искажение в данную систему, создавая парадоксальное равновесие в пространстве биополитики: если принять жертву за единицу счета, то цена в подобных единицах может быть назначена, но оплата в этих единицах невозможна. Вероятно, именно так формируется стабильность жертвы как ценности, через вечно отложенное «обещание расплаты» [Kregel 2019, p. 5]. Как тут не вспомнить «воображаемые деньги долга»! В данном контексте имеет смысл подумать о «воображаемой жертве» как константе биополитики.

Фиатность

«Нет денег без доверия» [Аглиетта, Орлеан 1993, с. 11], равно как и нет «жертвы» без доверия. В этом плане «жертва» как некий ценный статус наследует золоту, ведь даже золото было (и во многом продолжает быть) фидуциарными деньгами [Аглиетта, Орлеан 1993, с. 11].

Новое доверие самореферентно и конструируется через работу коллективного тела сообщества, консолидирующегося на волне аффектов благодаря возможностям гибридных сетевых пространств, вбирающих как цифровое, так и офлайн-общение. Возникающий феномен коллективной идентичности в разных масштабах опознается через метки, которые можно свести к властному «я/мы», и эйфории могущества (пусть и эфемерной) в принятии решений *ad hoc*. «Деньги не имеют ценности, они оцениваются» [Mellor 2010]. Равно как и жертва: всегда актуальная и заметная, прошедшая все фильтры медиаотбора (и в этом смысле как бы представляющая собой результат распределенного сетевого жертвоприношения) — жертва становится

социальным мерилom, который находится в постоянном процессе верификации сообществом через «распределенные страдания» (shared suffering) [Campbell, Manning 2018]. При таком раскладе в конструкторе жертвы все достаточно четко и прозрачно, чтобы работать на снижение неопределенности в общественных структурах. Конструктор жертвы выполняет функции этического камертона, чутко реагируя на настроения общества и гарантируя стабильность основ универсума справедливости. Продолжая проводить параллель между вопросами о деньгах и вопросами о жертвах, можно заметить, что важный для понимания природы денег вопрос «Как деньги создаются и уничтожаются?» [Smithin 2012, p. 2] в переносе на проблематику жертвы может иметь такой ответ: «жертвы создаются и уничтожаются доверием и недоверием». Глобальное сообщество отвечает за «эмиссию» жертв, укрепляя тем самым свой суверенитет.

Таким образом, феномен виктимократии, на наш взгляд, демонстрирует, как право на утверждающий жест Fiat! переходит от государства как гаранта и суверена к обществу, а точнее — к коллективному телу, которое в момент своей сборки вокруг конструктора жертвы есть самый сильный политический и экономический объект на горизонте, обладающий к тому же характеристиками сакрального. Нестабильность и эфемерность этого объекта компенсируется вероятностью его повторного возникновения, давая повод к проблематизации нового типа фиатности жертвенного капитала.

Экономика жертвы

Подводя некоторые итоги, можно сказать, что ответ на принципиальный вопрос: «какие свойства людей обеспечивают адекватное функционирование рыноч-

ной экономики?» [Автономов 2020, с. 337] — можно поискать в не возделанном пока проблемном поле *экономики жертвы*. Изучение жертвы как антропологической константы через оптику экономических дисциплин позволяет заметить микро- и макроэкономический потенциал жертвы, а именно ее масштабируемость в качестве некой базовой единицы, несущий в себе как этическое, так и экономическое значения. Очевидно, что метод итераций сегодня применим и к конструированию жертвы: мономерный первобытный этический универсум жертвы работает в современном культурном пространстве через распределенность и итерации, создавая необходимую для культуры поливариантность.

Сопровождающая сегодня всякий конструкт жертвы сцепка «жертва—доверие—деньги», на мой взгляд, вносит некоторую ясность в вопрос об актуальной *начинке денег* (*stuff of money*), ведь допустимость денежной компенсации за сакральные страдания жертвы — это момент, когда проблескивает сакральная изнанка денег и их ритуальный характер. Ритуал компенсаций в условиях сетевых медиа опирается не только (и уже не столько) на вертикальный «государственный» тип фиатности, сколько на новую горизонтальную фиатность, производимую общественным резонансом. Обеспечение ценности статуса жертвы больше не является исключительной прерогативой традиционных институций — эта привилегия была присвоена более быстрым и мобильным коллективным телом сообщества, способным быстро создавать подходящие условия для взаимного конвертирования (не)справедливости и денег в пространстве *dolce vita/nuda vita*.

Таким образом, обозначенное мною в общих чертах новое проблемное поле экономики жертвы позволяет сделать вывод, что конструкт жертвы насилия способен работать на снижение неопределенности, при со-

хранении своей сакрализирующей силы, оказывающей воздействие на формирование социального порядка. В качестве такового он неплохо встраивается в поле рациональности экономического поведения:

Одним из неперенных условий этой рациональности является предсказуемость будущего: чтобы заниматься экономической деятельностью, отличной от сиюминутных сделок, необходим временной горизонт и чувство уверенности в его стабильности. Это чувство может быть обеспечено двумя способами: либо доверием к друзьям <...> либо доверием к среде [Автономов 2020, с. 343].

В рамках нашей проблематики и «доверие к друзьям», и «доверие к среде» объединяются в гибридном сетевом медиапространстве, в котором разворачивается экономика жертвы, создающая «климат доверия» [Автономов 2020, с. 344] и обеспечивая традиционные типы экономик необходимым количеством «неформальных регуляторов» [Автономов 2020, с. 344]. В этой благотворной среде глобального доверия к жертве есть место для роста финансовых экосистем, для которых ключевым фактором является разделенный сообществом аффект.

Собственно говоря, мне кажется, что в таком уникальном балансе этических и экономических смыслов не могут быть не обнаружены функции генезиса новых экономических универсумов. Даже в децентрализованной среде жертва успешно *обязывает*, производя *связи*. Обязательства содержат в себе упакованные гарантии того, что *завтра* главные смысловые ориентиры общества останутся прежними. Фоновый аффект, расположенный в сердце общества, наверное, можно обозначить через призыв *victims' lives matter* — возможно, так стоит рассматривать ответ на вопрос об актуальной начинке денег сегодня.

Литература

- Автономов В. (2020). *В поисках человека: очерки по истории и методологии экономической науки* / под ред. Е. А. Рязанцевой. Москва: Издательство Института Гайдара; Санкт-Петербург: Факультет свободных искусств и наук СПбГУ.
- Аглиетта М., Орлеан А. (2006). *Деньги между насилием и доверием*. Москва: Издательский дом ГУ ВШЭ.
- Бурдые П. (2018). *Экономическая антропология: курс лекций в Коллеж де Франс (1992/1993)*. Москва: Дело.
- Зенкин С. (2012). *Небожественное сакральное*. Москва: Издательский центр РГГУ.
- Иваненко Е. (2017). Дизайн жертвы // *Международный журнал исследований культуры: научное рецензируемое электронное издание*. № 4 (29).
- Иваненко Е. (2019). Кто против жертвы? К вопросу о генеалогии понятия «жертва» // *Вестник Самарской гуманитарной академии*. Серия «Философия. Филология». № 2 (26).
- Корецкая М. (2021). Кампус и его жертвы. Культура виктимности в университетской среде, ее этическое, политическое и антропологическое измерения // *Образовательные пространства и антропопрактики города: коллективная монография*. Москва. С. 153–196.
- Погребняк А. (2018). «И только затем...», или Окончательное распределение // *EINAI: Философия. Религия. Культура*. № 2 (14). С. 149–161.
- Сериков А. (2019). Значение слов victim и sacrifice и возможные способы трансформации образов пострадавших в образы сакральных жертв (на материале параллельного английского подкорпуса НКРЯ) // *Вестник Самарской гуманитарной академии*. № 1(25). С. 55–72.
- Brunilla K., Rossi L-M. (2017). Identity Politics, the ethos of vulnerability, and education // *Education Philosophy and Theory*. June. P. 2–12.
- Campbell B., Manning J. (2018). *The Rise of Victimhood Culture: Microaggressions, Safe Spaces, and the New Culture Wars*. New York, NY: Palgrave Macmillan.
- Gans E. (2013). *Victimocracy. Chronicles of Love and Resentment*. No. 442. [<http://anthropoetics.ucla.edu/views/vw442/>] (accessed: 24.06.2021).
- Geis S. (2018). The dynamics of media attention to issues. Towards standardizing measures, dimensions, and profiles // *From Media Hype to Twitter Storm. News Explosions and Their Impact on Issues, Cri-*

- ses, and Public Opinion*. Ed. by Peter Vasterman. Amsterdam: Amsterdam University Press B. V.
- Ingham G. (2004). *The Nature of Money*. Cambridge: Polity Press.
- Furedi F. (1998). New Britain: a nation of victims // *Society*. No. 35(3). P. 80–84.
- Kregel J. (1976). Economic methodology in the face of uncertainty: The Modelling Methods of Keynes and the Post-Keynesians // *The Economic Journal*. Vol. 86. No. 342. P. 209–225.
- Kregel J. (2019). Globalization, nationalism, and clearing systems // *Public policy brief*. No. 147.
- Laverick W. (2016). *Global injustice and crime control*. Abingdon: Routledge.
- Mellor M. (2010). *The future of money: From Financial Crisis to Public Resource*. London: Pluto Press.
- Munt S. (2016). Argumentum ad misericordiam: the cultural politics of victim media // *Feminist media studies*. November. P. 1–18.
- Mythen G. (2007). Cultural victimology: are we all victims now? // *Handbook of Victims and Victimology*. Ed. by Walklate S. London: Willan.
- del Re E., Shekhovatskiy S. (2018). Crime and victimhood in globalizes world order // *Revisita di criminologia*. Vol. XII. No. 3. P. 55–69.
- Smithin J. (2012). *Requirements of a Philosophy of Money and Finance*. York: York University.
- Smithin J. (2018). Money and totality: a review essay // *Journal of Post Keynesian Economics*. Vol. 41. No. 1. P. 131–155.
- Smithin J. (2019). *Interest and Profit*. York: York University.

FIAT VICTIM! THE VICTIM AS A FIAT VALUE IN THE HORIZON OF BIOPOLITICS

ELENA IVANENKO (e-mail: iv@webvertex.ru). Samara Academy for the Humanities (Samara, Russia).

This study focuses on the phenomenon of fiat, understood as one of the modern practices of solidarity in social space, and connected equally both the *construct of money* and the *construct of the victim*. The theoretical framework of this study is a philosophical anthropology of the victim, which treats the victim of violence as one of the most important knots of meaning for understanding modernity. The main thesis is that victim as a cultural construct is a fiat value and is directly connected with the processes of cultural and economic globalization. The perspective of the thesis is to suggest that the vic-

tim possibly functions as a substratum for the evolution of global monetary systems. As such, the construct of the victim (and the related problem field of the *victim economy*) can become the basis for decoding the understudied processes of modern economics, in particular for reflection on the specificity of modern fiat money and cryptocurrency ecosystems.

KEYWORDS: victim; money; economy; fiat; debt; trust; victimhood culture.

JEL: A14, B59, D63.

Экономика жертвы и жизнь как ценность: *sacra/nuda/dolce vita**

Марина Корецкая

КОРЕЦКАЯ МАРИНА АЛЕКСАНДРОВНА (listarh@list.ru), доктор философских наук, доцент, заведующая кафедрой философии и культурологии Самарского государственного медицинского университета (Самара, Россия).

В статье обосновывается концепт *экономика жертвы*. Показывается, что в классических антропологических исследованиях практики жертвоприношения всегда присутствовала экономическая проблематика, однако она редко выделялась в качестве таковой. Выдвинуто предположение, что в современных обществах, подчиненных биополитическому диспозитиву и табуирующих жертвоприношение, фигура жертвы наделяется сверхвысоким моральным статусом и воплощает собой ценность жизни как в этическом, так и в экономическом ее понимании. Рассмотрен вопрос о том, какой экономический смысл имеет фигура жертвы сегодня, какие функции в обменах (теперь уже глобальных) она выполняет, как конструируется ее экономический профиль.

Ключевые слова: жертва; экономика жертвы; ценность жизни; голая жизнь; сейфитизм; культура виктимности.

JEL: Z1.

* Работа подготовлена при поддержке РФФИ в рамках научно-исследовательского проекта РФФИ № 19 011 00872 «Философская антропология жертвы: сакрализация, управление, дизайн».

Задача этой статьи заключается в проблематизации взаимосвязи трех концептов, вынесенных в ее название, — жертва, жизнь и ценность, — в контексте того, что мы рискуем назвать экономикой жертвы. Каждый из упомянутых концептов неоднозначен, и эта эквивокативность не только симптоматична, но и по-своему продуктивна. Вопрос о ценности и цене жизни очевидным образом имеет не только политический и этический, но и экономический смысл, а предельная по своему статусу фигура жертвы позволяет сфокусироваться на феноменах, которые обычно скрываются в зоне умолчаний.

Само словосочетание «экономика жертвы», особенно если оно претендует на роль концепта, может показаться несколько циничным, если не сказать шокирующим, а потому требует обоснования. Обратимся, прежде всего, к культурной антропологии. Жертвоприношение нередко рассматривается антропологами от Кайуа [Кайуа 2003] до Жирара [Жирар 2000] в качестве антропологической универсалии, то есть практики, в той или иной форме свойственной всем обществам, по крайней мере архаическим. При этом человеческие жертвоприношения, скорее всего, следует считать не радикальным эксцессом, а парадигмой жертвенного ритуала, по отношению к которому разнообразные бескровные или животные жертвы можно понимать как замещающие практики [Серигов 2021]. Принесение жертвы может пониматься в качестве перформативного акта, учреждающего измерение «сакрального» в культуре, ведь *sacer facere* — это буквально «делание вещей священными» [Shilling, Mellor 2013]. Также жертва учреждает и санкционирует властные иерархии (пожертвовавший многим получает или подтверждает высокий социальный статус) и является точкой аффективной сборки коллективного тела (достоверность коллективного «мы» воз-

никает в качестве эффекта эмоциональной вовлеченности в ритуал). Но кроме того, жертвоприношение представляет собой также и феномен, имеющий экономический смысл. Марсель Мосс и Анри Юбер в работе о «Природе и функциях жертвоприношения» [Мосс, Юбер 1996] пишут о том, что манипуляции с жертвой в рамках ритуала, ее изъятие из профанного пользования, то есть собственно сакрализация, в конечном итоге служит тому, чтобы изменить социальный статус приносящего жертву. Но если сопоставить результаты работы о жертвоприношении с наблюдениями «Эссе о даре», то обнаруживается, что сакрализующее изъятие (в том числе и модификация жертвоприношения в радикальных видах потлача, когда богатства не дарятся, а демонстративно уничтожаются) способно также запустить и поддерживать циркуляции обменов дарами/богатствами/маной [Мосс 2011] и в таком качестве оно является основой экономической (или, если угодно, «ойкономической», то есть относящейся к ориентированному на сакральный порядок управлению) связности обществ. Жан Бодрийяр продолжает эту логику: распределение и циркуляция маны, если присмотреться внимательнее, есть также и циркуляция смерти. Таким образом, жертвенный обмен между мертвыми и живыми оказывается основой экономической активности [Бодрийяр 2000, с. 241–247]. Мы ведь помним о том, что циркуляция маны предшествует циркуляции денег, соответственно, и та и другая для своего учреждения и поддержания требуют жертв. Например, Сергей Фокин замечает, сколь охоч до жертв капитализм, который время от времени расправляется с самыми успешными, самыми предприимчивыми и властными ударниками капиталистического труда [Фокин 2017, с. 110–111]. Жертвоприношение (и война), согласно концепции Жоржа Батая, выполняет кон-

структивную социальную функцию тем, что сбрасывает излишки с помощью непродуктивных и престижных трат [Батай 2006], что представляет собой в том числе и действие экономического характера. У Рене Жиара акт жертвоприношения учреждает и поддерживает социальное, поскольку он позволяет продуктивно канализировать внутригрупповое насилие [Жиар 2000]. Эта ойкономия насилия жизненно необходима, поскольку само насилие неизбежно в силу миметического характера желания. Люди научаются своим желаниям, подражая желаниям Другого (здесь Жиар вторит психоанализу), стало быть, агональность в борьбе за вожделенный ресурс присутствует всегда, вопрос только в том, как ею можно управлять, чтобы избежать ситуации войны всех против всех.

Таким образом, при определенной фокусировке обзор классики антропологических исследований позволяет говорить об экономике жертвы. И она, предположительно, не остается в далекой архаике, а присутствует, пусть и в трансформировавшемся виде, в современности [Atekyereza, Ayebare, Bukuluki 2014], принимая форму капитализации виктимности, что демонстрирует так называемая *victimhood culture* [Campbell, Manning 2018]; управления жертвами, под которыми сегодня по преимуществу понимаются пострадавшие в различных чрезвычайных ситуациях, жертвы насилия, и даже жертвы микроагрессий; распределения пожертвований, репараций, страховок и т. п.

И здесь мы как раз и обнаруживаем эквивокативность самого понятия жертвы сегодня. Русское слово «жертва» крайне объемно, в его семантике присутствует и сам акт жертвоприношения, и тот, кого приносят в жертву. Русский язык позволяет лишь по контексту различать с одной стороны жертву как того, кто был принесен сакральным инстанциям в каче-

стве ритуального дара или чьей жизнью пожертвовали во имя высоких целей, и с другой стороны жертву как пострадавшего от насилия или преступления. В европейских языках, наследующих в данном случае латыни, это различие концептуализировано. К жертвоприношению как ритуальному акту в основном отсылают слова, производные от *sacrificium*; в то время как производные от *victim* по преимуществу закрепляются за семантикой, связанной с преступлениями и насилием. *Sacrifice* предполагает большую активность и добровольность жертвы, *victim* — ее пассивность, страдание от некоего внезапно обрушившегося на нее насилия, несчастья и т. п. [Сериков 2019]. Четкой границы все равно нет и это понятно, ведь исходно латинское *victima* тоже имело ритуальный смысл, но по крайней мере такие понятия, как *victimhood* и *victimization*, по преимуществу семантически связаны со страданием от насилия, а не с участием в ритуале или с самопожертвованием. Эта двойственность семантики представляет собой современное явление. Сегодня имеет место постоянное перекодирование жертвы насилия в священную жертву и наоборот, игра на этой двойственности смыслов. Гипотеза заключается в том, что эта игра продуктивна в экономическом смысле, жертва при перекодировании из одного смыслового регистра в другой капитализирует жизнь и при этом камуфлирует эту капитализацию.

Если исходить из того, что парадигмальным, или по крайней мере предельным случаем жертвоприношения, является человеческое жертвоприношение, современное смещение от *sacrificium* к *victim* и сопутствующие эффекты капитализации могут быть объяснены исходя из специфики биополитического диспозитива, как его описывает Мишель Фуко и затем Джорджо Агамбен. Биополитика согласно Фуко [Фуко 2010; Фуко 2011], который разрабатывал это понятие

в постструктуралистском и конструктивистском ключе, представляет собой диспозитив власти, коррелирующий с современным типом капитализма. Своеобразие этого диспозитива заключается в создании условий для взаимного проникновения биологического и политического. Биополитический диспозитив власти сосредоточен на задачах администрирования жизнью, которая рассматривается, прежде всего, как ключевой экономический ресурс и наивысшая моральная ценность. Поэтому жизни не должны больше быть предметом непроизводительных трат, что было типично для господствовавшего вплоть до современности суверенного типа власти, связанного с правом причинять смерть. Жизнь следует охранять и всячески способствовать ее приращению. Безопасность оказывается ключевым концептом биополитического дискурса, власть же осуществляется прежде всего через процедуры контроля и администрирования всеми жизненными процессами.

Здесь надо вспомнить о двусмысленности еще двух концептов: ценность и жизнь. Как известно, value — это и ценность/значимость/смысл, и цена/оценка/стоимость, а также достоинство. Хорошо, конечно, понимать под ценностью сверхзначимые идеи, которым приписывается некое трансцендентальное основание, как постметафизическая философия ценностей в лице баденских неокантианцев и делает. Но, вообще говоря, уже у Ницше ценность — то, что производно от перспективы и актов оценки, то, что оценивается, переоценивается и обесценивается, и в этом качестве имеет вполне отчетливо ощутимый политэкономический привкус. Бодрийяр в «Критике политической экономии знака», сталкивая политэкономия и семиотику, успешно играл на конвертировании одного понимания ценностей в другое [Бодрийяр 2007]. Описанные Бодрийяром процессы капитализации же-

лания и производства потребностей для своей бесперебойности и продуктивности в обществе благоденствия требуют идеологического камуфляжа в виде сверхценных идей.

Касательно концепта *жизни* те же двусмысленности. Как известно, концепт этот становится востребован в философии с конца XIX века поскольку позволяет ухватить ближайшее непосредственно данное бытие, интуитивно постигаемую субстанциальную основу, ускользающую от монументальной мертвящей хватки классических понятий. У того же Ницше в контексте проекта преодоления метафизики *жизнь*, *das Leben* — это новое имя для бытия как $\phi\upsilon\sigma\iota\varsigma$, а не $\tau\omicron\upsilon$, то есть порождающей, изменчивой стихии. И ницшеанский проект, как его по крайней мере предлагал понимать Жиль Делез, имел своей целью замену тождества бытия и мышления динамическим единством жизни и мысли [Делез 2003, с. 210–212]. Жизнь сверхценна, поскольку у мысли нет права оценивать ее с внешних по отношению к ней позиций. Все это чрезвычайно романтично и обаятельно, но само продолжение ницшеанского проекта философии воли к власти, которое мы видим у Мишеля Фуко, как раз и приводит к тому, что разговоры о «святости жизни» начинают восприниматься как примета биополитической эпохи и необходимый элемент превращения жизни в отчаянно эксплуатируемый ресурс. Джордж Агамбен продолжает линию рассуждений Фуко, но также и Бенямина. Постулируемая сегодня «святость жизни» коррелирует с политиками исключения, производящими «голую жизнь»: *vita sacra* — наиболее двусмысленный феномен современности. «Голая жизнь» — жизнь исключенных из правового, этического поля, «жизнь, недостойная быть прожитой» [Агамбен 2011, с. 173–182], потому что она расчеловечена. *Жизнь* в этом смысле — это вовсе не органиче-

ский субстрат, не «естество», которое в любом случае остается от нас, если счистить все культурные слои. Это то, что производится биополитическими машинами управления как остаточный эффект отбраковки. В этом смысле биологизирующий дискурс определенным образом формует наше тело, а не раскрывает его собственную объектную истину.

Итак, амбивалентная связка *vita sacra / nuda vita* [Агамбен 2011, с. 105–112] концентрирует суть биополитического диспозитива и выражается как раз через фигуру жертвы, которая сегодня концептуализируется по преимуществу как *victim*, то есть жертва-пострадавший, а не священная жертва жертвоприношения. Это закономерно, ведь если жизнь — высшая ценность, ключевой ресурс, классическое жертвоприношение нелегитимно и немыслимо. Однако даже будучи табуированной, эта ключевая в антропологическом смысле практика не исчезает полностью, а трансформируется, рудиментарные элементы этого ритуального акта перераспределяются. Соответственно, и экономика жертвы отнюдь не остается в прошлом. Прежде всего, мы видим, что жертвы насилия, катастроф и тому подобных событий могут быть сакрализованы постфактум. Распространенная сегодня практика учреждения спонтанных мемориальных площадок как раз и является одним из механизмов сакрализации [Santino, ed. 2005], причем важным эффектом этих святилищ коммеморации является консолидация коллективного тела, осознающего себя как некое «мы» [Корецкая 2021]. Сакрализация дает возможность внешне жертвы не только осознать, но и апроприировать, как в политическом, так и в экономическом смысле. За присвоение статуса жертвы ведется агон, так же, как и за присвоение памяти о жертвах, особенно в ситуации, когда речь идет о постпамяти. Здесь можно вспомнить концепцию культурной травмы Джеффри

Александера [Александр 2013], которая связывает драматургию травматического процесса, в центре которого как раз и находится предъявление фигуры жертвы и дистрибуция вины, с кризисом коллективной идентичности. Александр и его исследовательская группа сосредоточиваются, прежде всего, на этических и политических аспектах коллективной травмы как социального процесса, однако здесь очевиден и экономический аспект, ведь распределение ответственности за причиненные травмы сообществу страдающим в обязательном порядке включают в себя вопросы обеспечения помощи, выплат компенсаций, репараций и т. д. Это тот самый случай, когда моральный долг выражается в денежном эквиваленте. Широкое общественное признание травмы просто не может не иметь последствий в виде шагов экономического характера, без них любые гуманистические лозунги выглядят декларативно и половинчато. Дискурс культурной травмы, сложившийся, прежде всего, вокруг темы холокоста и распространившийся по аналогии на множество других событий, связанных с жертвами, делает морально обязательным осуждение любых проявлений Абсолютного Зла (геноцид и другие преступления против человечности) и выражение солидарности с пострадавшими. Обвинение жертвы, — как индивидуальной, так и коллективной, — в ее собственных страданиях, бывшее привычной формой поддержания так называемой веры в справедливый мир (теологического в своей основе представления о том, что любые страдания «на самом деле» заслужены и все происходящее соответствует высшей справедливости), сегодня перестает быть приемлемой формой поведения и маркируется как виктимблейминг [Корецкая, Иваненко, Савенкова 2019]. В этом культурном и социальном контексте (с которым, впрочем, российская действительность, видимо, совпадать не спе-

шит) быть жертвой более не унижительно, поскольку с этим статусом связывается моральная правота. Жертва-victim становится едва ли не столь же *сверхценной* фигурой, сколь и священная жертва жертвоприношения архаических обществ. Американские социологи Брэдли Кэмпбелл и Джейсон Мэннинг для анализа этих тенденций предлагают концепт «культура виктимности», или «культура жертвы» (victimhood culture), проблематизируя ее, прежде всего, как моральный феномен [Campbell, Manning 2018]. Но, опять же, у моральной ценности всегда есть экономический эквивалент; и специфический для культуры виктимности менеджмент, заключающийся в освоении бюджетов на обеспечение безопасной среды (о чем подробнее ниже), является тому подтверждением. Вспомним и о том, что важным компонентом биополитики является также и некрополитика, о чем пишет Сергей Мохов [Мохов 2020, с. 170–171]. Под последней понимается управление мертвыми телами и переходом тел из живого состояния в мертвое. Не только жизнь жертв капитализируется, но и их смерть. Чуткость в отношении святости жизни не отменяет определенной прагматики: работа скорби вполне производительна, и в этом отношении может быть именно работой в несколько менее метафорическом смысле, чем предполагал психоанализ. Более того, мертвые тоже должны работать, причем не только на пресловутую похоронную индустрию. Участие предков в циркуляции и приращении богатств — старая тема, которая приобретает специфику в соответствии с духом времени: умершие/погибшие могут производить прибавочную стоимость, генерировать потоки пожертвований и компенсаций, призывать к инвестициям в коммеморативные практики и т. п.

Как мы видим, биополитические реалии вполне допускают разговор об экономике жертвы. Причем

феномены, которые можно концептуализировать, подведя под эту рубрику, достаточно разнообразны. Впрочем, и биополитика далеко не однородна и меняется в тех же темпах, что и капитализм. Соответственно, биологическая жизнь как предмет бдительного и крайне заинтересованного менеджмента является не столько тождественной себе субстанцией, сколько конструктом, включенным с некоторыми модификациями в различные экономические модели. Если фигура жертвы воплощает собой ключевую для биополитического менеджмента связку *vita sacra / nuda vita*, то новые формы культа по поводу жертв позволяют на уровне волн коллективной аффектации пережить ценность жизни как данность. Как показывает Рой Раппапорт, социальный смысл религиозных ритуалов заключается в том, что они позволяют сообществу важные для консолидации религиозные идеи пережить совместно на аффективном уровне и тем самым сделать их эмоционально убедительными, не требующими доказательств [Rappaport 1999]. Догмат о единстве Бога в трех лицах, учение о Благодати и спасении, представленные в исключительно дискурсивной форме, едва ли могут поддерживать пылкость коллективной веры. Но эту задачу успешно решают литургии, перформативным образом предъявляя Пресуществление здесь и сейчас и пронизывая аффективно переживаемой Благодатью соборное тело еkkлeсии. Нечто похожее мы видим и в связи с идеей ценности жизни, пусть и представленное в квазирелигиозных ритуальных формах. Учреждая спонтанные мемориальные святилища и посещая официальные мемориальные площадки, отмечая траурные годовщины терактов и зачитывая списки имен репрессированных, присоединяясь к тем или иным формам сетевой активности вокруг сообщений об очередной катастрофе, люди напоминают самим себе и обществу в целом цен-

ность в общем-то слишком абстрактной и не особенно очевидной максимы о том, что любая жизнь должна быть целью и никогда не может быть средством.

Понятно, конечно, что максима — это одно, а практическая деятельность — нечто другое. По факту ценимой оказывается далеко не всякая жизнь, а по определению капиталоемкая *dolce vita* среднего класса, та самая, которая способна обеспечить себе качественное здравоохранение, респектабельный уровень потребления и оформить страховки на максимально широкий перечень случаев. Интересно, что у прилагательного *dolce* есть крайне характерная история употребления, напрямую связанная со становлением буржуазной этики. Как пишет Альберт Хиршман, французское *douceur* (аналог итальянского *dolce*) в конце XVII века стало использоваться как характеристика коммерческих отношений. Само по себе это слово «выражает сладость, мягкость, спокойствие, галантность и является антонимом слова «насилие»» [Хиршман 2013, с. 66]. Из учебника для торговцев с красноречивым названием «Совершенный негодичант» Хиршман приводит рассуждения о том, что торговля смягчает нравы и «обеспечивает сладость (*douceur*) жизни...» [Хиршман, 2013, с. 66], и поясняет, что речь идет не только о пользе обмена благами, но и об обосновании достоинств этики торговца, который, в отличие от аристократа, не прибегает к насилию, не зациклен на страстях, а руководствуется «своим интересом» и потому понятен и предсказуем. Таким образом, перед нами настоящая похвала меркантилизму как нерву буржуазной чувствительности, которая сочетает любезность с корыстностью, сентиментальность с трезвым расчетом. В применении к дню сегодняшнему *dolce vita* — это жизнь не только респектабельная и благополучная, сладко сочащаяся потреблением, но также и жизнь, избавленная от brutального насилия, упаков-

ванная в кокон безопасности. Установка на комфорт и безопасность также принимает практически культурные формы, не только в смысле многочисленных ритуалов, регламентирующих наше отношение с собственными живыми и мертвыми телами, нашу повседневность и пользовательские практики, но и в смысле почти трансгрессивной чрезмерности этой утопии безопасной жизни. Собственно, Фуко говорил о том, что безопасность — ключевое понятие биополитики, именно пакт о безопасности государство заключает с гражданами и тем самым оправдывает свое существование. Насколько далеко эти установки могут зайти, показывают Грег Лукьянофф и Джонатан Хайдт, которые весьма критически описывают новейшие тенденции, набирающие силу в американских университетах. Речь о так называемом сейфитизме (safetyism), который представляет собой по сути радикально утопическую идеологию, предполагающую, что важнейшая задача социальных институтов заключается в том, чтобы уберечь население от любых возможных травм, не только физических, но и психических и моральных [Lukianoff, Haidt 2018]. Согласно этой идеологии университет должен быть, прежде всего, полностью «безопасным пространством» во всех смыслах этого слова. Функция производства и трансляции знания может быть осуществлена постольку, поскольку не противоречит этой идее. Должны быть предотвращены любые опасности, а к таковым относится все, что содержит в себе даже потенциальную угрозу комфорту. Все, что может задеть кого-либо, ранить, огорчить, должно быть устранено. В этой логике в качестве вредоносного явления рассматривается не только физическое насилие, но и так называемые микроагрессии (высказывания и действия, которые воспринимаются как травмирующие и оскорбительные), не только расизм и харассмент, но и лекция о харассменте,

или о сексуальном насилии как социальной проблеме, поскольку она может ранить чувства слушателей, среди которых могут быть лица, эти виды насилия пережившие. Эти же авторы, а вслед за ними и упомянутые выше Кэмпбелл и Мэннинг обращают внимание на то, что культ безопасности неизменно своим условием имеет чрезвычайно разрастающийся бюрократический аппарат, функции которого как раз и заключаются в неусыпном контроле, опеке за жизнью. Название главы, посвященной этим проблемам, чрезвычайно красноречиво: *The Bureaucracy of safetyism*, то есть собственно «Бюрократия сейфитизма» [Lukianoff, Haidt 2018, p. 195–212]. Жизнь понимается в этом смысле как легко уязвимая и не способная себя защитить, противостоять угрозам и т. п. Соответственно, этот бюрократический аппарат университетских администраций успешно осваивает впечатляющие бюджеты и готов осваивать их еще масштабнее, а жизнь, формируемая в ходе так организованного образовательного и воспитательного процесса, — это жизнь «хрупких снежинок» (*fragile snowflakes*), требующая постоянной опеки и инвестиций.

Можно наметить и еще одну гипотетическую корреляцию. То, что фиатные денежные системы регулируются центральными банками и гарантируются в конечном счете государством, вполне коррелирует с тем, что от государства же ожидаются и типичные для способа функционирования биовласти гарантии безопасности жизни, оно же берет на себя обязательства по выплатам компенсаций и устанавливает их объем [Smithin 2016]. Соответственно, для либерального государства все жизни декларативно драгоценны, но при этом по факту одни, так сказать, «более равны» в своей ценности, чем другие. Для государства же, заикленного на собственной суверенности, жизни легко оказываются в статусе не целей, но средств.

Но и в том и в другом случае *nuda vita* как цена, которая взимается за «сладость» общего порядка, представляет собой в буквальном смысле слова жизнь обесцененную, не только не оплакиваемую, но даже и «расходную», о чем не устает гневно напоминать в своих работах Джудит Батлер [Батлер 2004; Батлер 2009]. В фиатности с ее вертикально направленным к властным инстанциям доверием, слишком многое остается от привязок к чуду суверенного решения и секуляризованной религии долга и вины [Беньямин 2012], а потому и установленные суверенным решением расценки на *голую жизнь* не являются таким уж сюрпризом. Движение в сетевую сторону как социальных связей, так и денежных систем, имея в своем основании идею горизонтального распределения с соответствующей идеологией солидарности, пытается сконструировать доверие без веры в трансцендентную инстанцию, безопасность и справедливость без централизованного гаранта [Groß, Herz, Schiller 2020]. Если иметь в виду проблемы, связанные с экономикой жертвы, то в этой логике децентрации действует сегодня сбор пожертвований через социальные сети. Вполне эффективная модель, хотя в каждом конкретном случае ее результативность непредсказуема и сильно зависит от того, удастся ли спровоцировать сетевой хайп, энергия которого отлично конвертируется в денежные потоки. Приведем пример. В сентябре 2019 года к 15-летию теракта в Беслане вышло несколько документальных фильмов, ориентированных на интернет-аудиторию. Во всех фильмах поставлен один вопрос: почему у жертв терактов в России нет соответствующего статуса, вследствие чего государственные структуры каждый раз принимают решения о том, положены ли выплаты и прочие формы поддержки семьям пострадавших. В этих обстоятельствах люди себя чувствуют бесконечно униженными

необходимостью постоянно просить то, что является для них жизненно необходимым, а оказываемая государством материальная помощь по разным параметрам малоэффективна. Результатом этих фильмов оказалось не только изменение общественного мнения о бесланских событиях, но и впечатляющий сбор донатов для пострадавших.

И, конечно, вопрос о жизни как ценности в контексте экономики жертвы/жертвоприношения драматически актуализируется на фоне пандемии коронавируса. В медиа с участием экспертов (экономистов, прежде всего) развернулась дискуссия о том, чем следует жертвовать в ситуации пандемии: жизнями ради экономики или экономикой ради жизней. Если эта дилемма не является ложной, — ее ложность стараются показать некоторые эксперты [Vaidhyathan 2020; Portes 2020] — возможно, речь идет о серьезном кризисе самой биополитической модели, коль скоро, во-первых, такая дилемма подрывает фундаментальное тождество (жизнь и есть главная ценность, ключевой экономический ресурс), а во-вторых, государства в глобальных масштабах оказываются бессильны выполнить свою сторону договора с гражданами о безопасности. Другой срез проблемы представлен в дискуссии философов, опасующихся чрезвычайно положения и тотального цифрового концлагеря [Agamben 2020; Žižek 2020]: допустимо ли ради обеспечения безопасности жизни добровольно жертвовать свободой в масштабах, значительно превышающих те, которые требовались старыми добрыми контртеррористическими мерами? При этом и первая, и вторая дискуссии все-таки предполагают, что решения принимаются субъектами, в то время как ситуация характеризуется, скорее, всеобщей растерянностью в рядах как управляемых, так и управляющих, вынужденных полагаться на большие данные, которые оказывают

ся окружены квазимистическим ореолом тем в большей степени, чем больше вопросов к их релевантности. Если суверенное решение о распределении жертв (жизни, процент ВВП, свободы) принимается под руководством, прежде всего, цифровых алгоритмов, не позволяет ли ситуация верифицировать на практике ту самую справедливость без централизованного гаранта?

Литература

- Агамбен Дж. (2011). *Ното sacer. Суверенная власть и голая жизнь*. Москва: Европа.
- Александр Дж. (2013). *Смыслы социальной жизни: Культурсоциология* / пер. с англ. Г. К. Ольховикова, под ред. Д. Ю. Куракина. Москва: Праксис.
- Батай Ж. (2006). «Проклятая часть»: *Сакральная социология*: пер. с фр./сост. С. И. Зенкин. Москва: Ладомир.
- Беньямин В. (2012). *Капитализм как религия // Учение о подобии. Медиаэстетические произведения*. Москва: Издательский центр РГГУ. С. 100–108.
- Бодрийяр Ж. (2007). *К критике политической экономики знака*. Москва: Академический проект.
- Бодрийяр Ж. (2000). *Символический обмен и смерть*. Москва: Добросвет.
- Делез Ж. (2003). *Нищие и философия*. Москва: Ад Маргинем.
- Жиран Р. (2000). *Насилие и священное*. Москва: Новое литературное обозрение.
- Кайуа Р. (2003). *Миф и человек. Человек и сакральное*. Москва: ОГИ.
- Корецкая М. А., Иваненко Е. А., Савенкова Е. В. (2019). Виктимблейминг и теодицея: теологические корни веры в справедливость страданий жертвы // *Вестник Самарской гуманитарной академии. Серия: Философия. Филология*. № 2 (26). С. 19–58.
- Корецкая М. А. (2021). Спонтанные мемориалы в контексте гипотезы о распределенном характере жертвоприношения // *Наука и культура России*. Т. 1. С. 34–38.
- Мосс М. (2011). *Общества. Обмен. Личность. Труды по социальной антропологии* / сост., пер. с фр., предисловие, вступит. статья, комментарии А. Б. Гофмана. Москва: КДУ. С. 134–286.

- Мосс М., Юбер А. (2000). Очерк о природе и функции жертвоприношения // Мосс. М. *Социальные функции священного. Избранные произведения*. Санкт-Петербург: Евразия. С. 9–106.
- Мохов С. (2020). *История смерти. Как мы боремся и принимаем*. Москва: Индивидуум.
- Сериков А. (2019). Значение слов *victim* и *sacrifice* и возможные способы трансформации образов пострадавших в образы са크ральных жертв (на материале параллельного английского подкорпуса НКРЯ) // *Вестник Самарской гуманитарной академии. Серия: Философия. Филология*. № 1(25). С. 55–72.
- Сериков А. (2021). Универсальность человеческого жертвоприношения // *Вестник Самарского государственного технического университета. Серия: Философия*. № 3(8). С. 76–82.
- Фокин С. (2017). Капитализм и капитуляция: жертвоприношение как принцип функционирования новейшей экономики // *Философская антропология жертвы: от архаических корней к современным контекстам: материалы Всероссийской конференции с иностранным участием, Самара, 12–14 октября 2017 года*. Самара: Самарская гуманитарная академия. С. 105–114.
- Фуко М. (2011). *Безопасность, территория, население: курс лекций, прочитанных в Коллеж де Франс в 1977/1978 учебном году*. Санкт-Петербург: Наука.
- Фуко М. (2010). *Рождение биополитики: курс лекций, прочитанных в Коллеж де Франс в 1978/1979 учебном году*. Санкт-Петербург: Наука.
- Хиршман А. (2013). Страсти и интересы: политические аргументы в пользу капитализма до его триумфа // *Экономическая социология*. Т. 13. № 3. С. 57–70.
- Atekyereza P., Ayebare J., Bukuluki P. (2014). The Economic Aspects of Human and Child Sacrifice // *International Letters of Social and Humanistic Sciences*. Vol. 30. No. 1. P. 53–65.
- Butler J. (2004). *Precarious Life: the Powers of Mourning and Violence*. New York, NY: Verso.
- Butler J. (2009). *Frames of War: When Is Life Grievable?* New York, NY: Verso.
- Campbell B., Manning J. (2018). *The Rise of Victimhood Culture: Micro-aggressions, Safe Spaces, and the New Culture Wars*. New York, NY: Palgrave Macmillan.
- Coronavirus and philosophers. M. Foucault, G. Agamben, J. L. Nancy, R. Esposito, S. Benvenuto, D. Dwivedi, S. Mohan, R. Ronchi, M. de Carolis. (2020) // *ЕЖУ. European Journal of Psychoanalysis in collaboration with the Journal "Antinomie". Special issue*. URL: <https://www.journal-psychoanalysis.eu/coronavirus-and-philosophers/> (дата обращения 12.04.2020)

- Groß J., Herz B., Schiller J. (2020). *Libra — Concept and Policy Implications. Diskussionspapier 02–19*. ISSN 1611–3837. URL: https://www.researchgate.net/publication/336401723_Libra_-_Concept_and_Policy_Implications. (дата обращения 10.03.2020)
- Lukianoff G., Haidt J. (2018). *The Coddling of the American Mind*. New York, NY: Penguin Press.
- Portes J. (2020). Don't believe the myth that we must sacrifice lives to save the economy // *The Guardian*. 26.03.2020. URL: <https://www.theguardian.com/commentisfree/2020/mar/25/there-is-no-trade-off-between-the-economy-and-health> (дата обращения 10.04.2020).
- Rappaport R. (1999). *Ritual and Religion in the Making of Humanity*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Shilling Ch., Mellor Ph. (2013). 'Making things sacred': Re-theorizing the nature and function of sacrifice in Modernity // *Journal of Classical Sociology*. Vol. 3. P. 319–337.
- Smithin J. (2016). Some puzzles about money, finance and the monetary circuit // *Cambridge Journal of Economics*. Vol. 40. No. 5. P. 1259–1274.
- Santino J. (ed.) (2005). *Spontaneous Shrines and Public Memorializations of Death*. New York, NY: Palgrave Macmillan.
- Vaidhyanathan S. (2020). The economy v our lives? It's a false choice — and a deeply stupid one. *The Guardian*. 26.03.2020. URL: <https://www.theguardian.com/commentisfree/2020/mar/26/coronavirus-economy-health-lives-trump> (дата обращения 10.04.2020).
- Žižek S. 2020. Monitor and Punish? Yes, Please! // *The philosophical salon*. 16.03. 2020. URL: <http://thephilosophicalsalon.com/monitor-and-punish-yes-please/> (дата обращения 12.04.2020).

ECONOMICS OF SACRIFICE AND LIFE AS VALUE:
VITA SACRA/NUDA VITA/DOLCE VITA

MARINA KORETSKAYA (e-mail: listarh@list.ru). Samara State Medical University (Samara, Russia).

The article substantiates the economics of sacrifice concept. It is shown that in the classical anthropological studies of the sacrifice practice, there was always an economic problem, but it was rarely singled out as such. It has been suggested that in contemporary societies, which are subordinated to the biopolitical dispositive and tabooing sacrifice, the figure of the victim is endowed with a super-high moral status and embodies the value of life both in its ethical and eco-

conomic understanding. The question of what economic meaning does the victim's figure have today, what functions in exchanges (now global) it performs, how its economic profile is constructed.

KEYWORDS: victim; victim economics; value of life; bare life; safe-tism; victimhood culture.

JEL: Z1.

Глубокая семиотика и герменевтика денег

Григорий Тульчинский

Тульчинский Григорий Львович (gtul@mail.ru), доктор философских наук, заслуженный деятель науки РФ, профессор НИУ «Высшая школа экономики» (Санкт-Петербург, Россия); научный сотрудник БФУ им. Канта (Калининград, Россия).

Представление о деньгах как всеобщем эквиваленте разнообразных обменов позволяет рассматривать их в качестве универсальной знаковой системы, к анализу которой применим аппарат семиотики — общей теории знаков, как концептуальной платформы междисциплинарного анализа. Особенно перспективным представляется концепт «глубокой» социальной семиотики, позволяющей систематизировать уровни смыслового содержания социального опыта. Эта систематизация переключается с уровнями герменевтического анализа, но выводит аналитику за лингвистические рамки. Семиотический анализ феномена денег позволяет, не отделяя экономическую значимость денег, говорить о множественности их знаковых функций в различных ценностно-нормативных контекстах культуры, осмысляя этот феномен в комплексе междисциплинарных исследований, включая перспективы институтов контроля и доверия в условиях цифровизации.

Ключевые слова: герменевтика; глубокая семиотика; деньги; смысл; ценность.

JEL: A13.

Своим универсальным присутствием — явным и неявным — во всех сферах социальной жизни деньги давно привлекают внимание не только экономистов и обществоведов, но и гуманитариев. Одним из тра-

диционных методов, выработанных в гуманитарных практиках, является герменевтика как теория и практика интерпретации знаков. Попытки герменевтического анализа социальных практик, включая экономические, предпринимались неоднократно [Dyke 1983; Simmel 2016]. Но, как и большинство обобщений герменевтического подхода [Bleicher 1980; Coreth 1969; Warnach 1971; Герменевтика 1985], они оставались в русле преимущественно аппарата, выработанного в русле филологии, психологии и теологии.

Пожалуй, только с разработкой концептов социальной и глубокой семиотики, возникла возможность полноценной интеграции междисциплинарного анализа такого социально-экономического и культурального феномена, как деньги.

Ч.У. Моррис был не далек от истины, утверждая, что понятие знака может быть столь же фундаментальным для науки о человеке, как и понятие атома для физики и химии, а понятие клетки для биологии. Это связано с посредующей ролью знаков в детерминации социального бытия, освоении и осмыслении человеком действительности. Поскольку рыночные отношения, платежи и другие практики с использованием денег — суть проявления антропологической неполноты человека, принципиально нуждающегося в обмене (веществ, собственности, коммуникации), постольку представление о деньгах как всеобщем эквиваленте таких обменов позволяет рассматривать их в качестве универсальной знаковой системы, к анализу которой применим аппарат семиотики — общей теории знаков, как концептуальной платформы междисциплинарного анализа.

В этом плане деньги, будучи крайне распространенным средством коммуникации в самых различных сферах экономики, политики, искусства, науки, образования, религии, выступают благодатным предметом

семиотического анализа, открывающего нетривиальные возможности осмысления самого феномена денег.

В этой связи нелишне вспомнить, что для А. Смита, филолога по образованию, использование термина *value* (ценность, значение) было довольно естественным. А в оригинальных текстах К. Маркса используется широкий набор концептов, упрощенно переводившихся на русский до последнего времени как «стоимость»: *der Wert* (ценность, значение, стоимость, достоинство), *das Wertding* (ценная вещь), *die Wertgegenständlichkeit* (ценностная предметность), *der Tauschwert* (меновая ценность) [Маркс 2015]. Марксова «Wert-терминология» обладает несомненным семиотическим потенциалом [Тульчинский 2019а] — неспроста именно через первый том «Капитала» советские гуманитарии переоткрывали семиотику [Резников 1964; Коршунов, Мантатов 1974] и теорию значения [Нарский 1969; Щедровицкий 2005].

Аппарат «глубокой семиотики» (*deep semiotics*) в применении к деньгам, позволяет различать в них — помимо семиологически традиционных означаемого (того опыта, с которым связан и к которому отсылает данный знак) и означающего (материальной формы знака) — другие компоненты семиозиса. Так, в структуре означаемого, в свою очередь, можно вычленить: социальное значение (с различием в нем инвариантов предметного и функционального аспектов опыта) и личностный смысл (эмоционально-оценочное отношение личности к этому опыту и собственно его переживание).

Прохождение этого ряда от переживания к материальной форме представляет объективацию (определечивание, воплощение) опыта, а от материальной формы к переживанию — усвоение социального опыта, его субъективацию (распредмечивание, понимание). Эти же компоненты предстают также уровнями

осмысления — идентификацией, референцией, интерпретацией, оценкой и эмпатией (сопереживанием, вчувствованием) [Тульчинский 2019б]. Нетрудно заметить, что по сути указанные семиотические уровни смыслового содержания социального опыта фактически совпадают с уровнями герменевтического анализа [Бласс 1891; Шлейермахер 2004; Ricoeur 1981].

Языковые знаки в коммуникации имеют несобственные предметные значения, отсылая к предметам культуры (первичным знакам), что делает язык путеводителем по данной культуре. Так и деньги обеспечивают реализацию отношений в самых различных фреймах. А с позиций глубокой семиотики открывается многоуровневый и многовекторный характер значения денег — именно как денежных знаков. Задается основа междисциплинарного герменевтического анализа денежных систем, вполне сопоставимая с классическими герменевтическими систематизациями [Шпет 1934; Лотман 2014], когда тексты используются как фокусировки экономических, политических, художественных, бытовых, гастрономических, транспортных, почтовых, персоналогических и т. д. характеристик эпохи. Только в данном случае можно говорить уже о многоуровневом осмыслении не только текстов, но любых артефактов и систем социальной жизни, включая деньги.

Наиболее очевидна эта многоплановость на уровне социального значения денег. Так, в плане финансового учета и анализа они могут выступать как данные, необходимые для сравнительного анализа состояния и развития различных сфер социальной жизни, связанных с ними индустрий и принятия необходимых решений. Тем самым открываются возможности интерпретации денег при анализе различных сфер социальной жизни не только в плане их экономического развития, но и в плане более глубокой типологии,

кластеризации, — вплоть до оценки целей и выраженности намерений, когда деньги выступают как свидетельства интенций — целей включенности в конкретные виды деятельности [Engelke 2009, p. 4–18]. В этой связи уже сложилась долгая и респектабельная традиция исследования денег в контексте социологии финансового поведения, социально-психологическом контексте [Simmel 2016; Geßner und Kramme 2002; Зеллер 2004; Мазараки, Ильин 2004].

Благодаря семиотическому подходу, маркетинговый анализ погружает в ценностно-нормативный контекст конкретных социально-культурных практик. Примером может служить ценообразование, которое зависит не только от необходимости компенсации затрат, но также от спроса, замещения и конкуренции на конкретных рынках. А в культурных индустриях к факторам ценообразования добавляются еще и социальное позиционирование потребителей, престижность, возможность подтверждения или повышения статуса, наращивания социального капитала (контактов, общения с другими), творческой самореализации, релаксации.

Поскольку сама материальная форма денег имеет множество вариантов дизайна национальных валют, возможно осмысление денег с позиций визуальной семантики, художественной, эстетической стилистики, социальной мифологии [Барт 2019]. Анализ визуальных трансформаций денежных знаков в исторической перспективе позволяет рассматривать их художественно-символический образ в качестве идеологического инструмента. В этом плане деньги, включая собственно денежные знаки, оказываются буквально ключом к историческому осмыслению своеобразия конкретного исторического периода конкретного социума, способность публичной символической самопрезентации государством своего имиджа [Шталенкова 2018].

Более того, в упомянутых культурных индустриях потребителю предоставляется некий необыкновенный личный опыт, переживания, эмоции, выводящие его за рамки обыденности, которым он стремится оказаться сопричастным в определенное время и в определенном месте, и — вернуться «домой», полным новых впечатлений. Этот новый опыт переживаний, относительно природы, истории, отношений с другими, быта, труда дает возможность расширения смысловой картины мира, наращивает социальный и человеческий капитал личности.

Все это превращает деньги в знаки, означающие не только меновую ценность как стоимость (*der Tauschenwert* — по К.Марксу), а конкретную ценность (*der Wert, value*) конкретного артефакта в рамках конкретной социальной практики. Недаром, согласно одному не совсем шутливому определению искусства, оно есть деятельность, порождающая продукты и услуги, лишённые практического смысла и стоящие неадекватно дорого.

Характерно, что переживания, эмоции, мечты, производимые культурными индустриями, сближают артефакты культурных индустрий, с практиками современного маркетинга, когда на рынок выводятся не столько товары и услуги, сколько бренды, сопряженные с символическим капиталом. Можно сказать, что если в маркетинге бренды рассматриваются как артефакты, то в искусстве производятся протобренды. Современный бренд — это уже не просто зарегистрированная товарная марка и даже не столько имиджево-репутационная составляющая рыночной стоимости марки, сколько гудвилл — обещание реализации желаемых переживаний, буквально — миф, как волшебная история о магическом артефакте, обладание которым открывает дверь в царство мечты [Тульчинский 2013]. А главной

задачей современного бизнеса становится не столько просто продажа конкретного товара, сколько создание устойчивого сообщества потребителей, фактически — некоей субкультуры [Випперфют 2007].

В терминах «глубокой семиотики» речь идет о переносе акцента с социальных значений (предметных и ценностно-нормативных) на личностные смыслы, то есть оценочно-эмоциональные компоненты представляемого и транслируемого смыслового содержания опыта.

При этом важно, что современные возможности цифровизации и прекарности труда дают деньгам возможность обеспечивать освоение не только природной и трудовой ренты, но и осваивать ренту культурально-смысловую, капитализировать нематериальные активы (гудвилл, репутация, имидж, бренд), а теперь и человеческий капитал на уровне переживаний.

Ранее семиозис (как экономический, правовой, так и эстетический) был связан с выделением в текущем мире относительно устойчивых образцов, стилей, транслирующих ценностную культуральную нормативность. В нынешней ситуации речь идет о презентации и трансляции в сети непосредственно самих уникальных личностных переживаний, иногда даже персонально не агрегируемых. Они направлены не на порождение некоего опыта сопереживания, а на презентацию самих переживаний и их распознавание. Социальная функция этих презентаций также меняется: культуральная, эстетически выраженная смысловая нормативность трансформируется в технологически обеспеченный социальный контроль. И деньги как универсальный «всеобщий эквивалент» сохраняют ключевую социальную функцию контроля и репрезентации обменов.

Как и в языке, знаковые системы работают при понимании транслируемых смысловых комплексов, что обеспечивается языковой компетентностью акторов, задаваемой ценностно-нормативным контекстом конкретных социальных отношений, так и функционирование традиционных денежных средств предполагает институциональную среду, обеспечивающую правовые гарантии доверия. А современные криптовалюты впервые переводят такие гарантии в формат технологии (блокчейн) порождения самих денег [Иванов 2017; Тапскотт Д., Тапскотт А. 2017], что еще больше сближает деньги с порождением и трансляцией смысла в семиотических комплексах.

Таким образом, семиотический анализ феномена денег позволяет, не отделяя экономическую значимость денег, говорить о множественности их знаковых функций в различных ценностно-нормативных контекстах культуры, осмысляя этот феномен в комплексе междисциплинарных исследований.

Литература

- Барт Р. (2019). *Мифологии*. Москва: Академический проект.
- Бетти Э. (2011). *Герменевтика как общая методология наук о духе*. Москва: Канон+.
- Бласс Ф. (1891). *Герменевтика и критика*. Одесса: Типография Одесского военного округа.
- Випперфют А. (2007). *Вовлечение в бренд. Как заставить покупателя работать на компанию*. Москва: ИД Коммерсантъ — ИД Питер.
- Герменевтика: история и современность: критические очерки*. (1985). Москва: Мысль.
- Зелизер В. (2004). *Социальное значение денег*. Москва: Издательский дом ГУ ВШЭ.
- Иванов А. (рук. колл.) (2017). *Блокчейн на пике хайпа*. Москва: Издательский дом ВШЭ.
- Коршунов А., Мантатов В. (1974). *Теория отражения и эвристическая роль знаков*. Москва: Издательство МГУ.

- Лотман Ю. (2014). *Роман А. С. Пушкина «Евгений Онегин». Комментарий*. Москва: Азбука.
- Мазараки А., Ильин В. (2004). *Философия денег*. Киев: КНТЭУ.
- Маркс К. (2015). *Капитал. Критика политической экономии*. Т. 1. Кн. 1. Процесс производства капитала / под ред. В. Я. Чеховского. Москва: РОССПЭН.
- Нарский И. (ред.). (1969). *Проблема знака и значения*. Москва: Издательство МГУ.
- Резников Л. (1964). *Гносеологические вопросы семиотики*. Ленинград: Издательство ЛГУ.
- Тапскотт Д., Тапскотт А. (2017). *Технология блокчейн: то, что движет финансовой революцией сегодня*. Москва: Эксмо.
- Тульчинский Г. (2019а). Политический контекст наррации с Wert-терминологией К. Маркса: стоимость vs ценность // *Полис. Политические исследования*. 2019. № 3. С. 174–185.
- Тульчинский Г. (2019б). Расширение возможностей семиотического анализа: источники и содержание концепции «глубокой семиотики» // *Вопросы философии*. 2019. № 11. С. 115–125.
- Тульчинский Г. (2013). *Total Branding: мифодизайн постинформационного общества. Бренды и их роль в современном бизнесе и культуре*. Санкт-Петербург: Издательство СПбГУ.
- Шлейермахер Ф. (2004). *Герменевтика*. Санкт-Петербург: Европейский Дом.
- Шпет Г. (1934). Комментарий к «Посмертным запискам Пиквикского клуба» // Диккенс Ч. *Посмертные записки Пиквикского клуба*. Т. 3. Москва; Ленинград: Academia.
- Шталенкова К. (2018). *Деньги и идеология: [R]эволюция белорусскости длиной в 100 лет*. Вильнюс: ЕГУ.
- Щедровицкий Г. (2005). *Знак и деятельность: в 3 кн. Кн. 1. Структура знака: смыслы, значения, знания: 14 лекций 1971 г.* Москва: Восточная литература РАН.
- Bleicher J. (1980). *Contemporary hermeneutics: Hermeneutics as method, philosophy and critique*. London: Routledge & Kegan Paul.
- Coreth E. (1969). *Grundfragen der Hermeneutik*. Freiburg, Basel, Wien: Herder Verlag.
- Dyke C. (1983). The Question of Interpretation in Economics // *Ratio*. Oxford. Vol. 25. No. 1. P. 15–29.
- Engelke M. (ed.) (2009). *The Objects of Evidence. Anthropological Approaches to the Production of Knowledge*. Hoboken (NJ): John Wiley and Sons.
- Gefner W., Kramme R. (Hrsg.) (2002). *Aspekte der Geldkultur. Neue Beiträge zu Georg Simmels «Philosophie des Geldes»*. Magdeburg: Edition Humboldt, Scriptorum Verlag.

- Ricoeur P. (1981). *Hermeneutics and the human sciences: Essays on language, action and interpretation*. Cambridge: Cambridge Univ.Press.
- Simmel G. (2016). *Philosophie des Geldes*. Leipzig: Hofenberg.
- Warnach V. (Hrsg.) (1971). *Hermeneutik als Weg heutiger Wissenschaft: Ein Forschungsgespräch*. Salzburg-München, Verlag Anton Pustet.
-

DEEP SEMIOTICS AND HERMENEUTICS
IN THE MONEY PHENOMENON ANALYSIS

GRIGORII TULCHINSKII (e-mail: gtul@mail.ru). NRU “Higher School of Economics” (St. Petersburg, Russia); Immanuel Kant BFU (Kaliningrad, Russia).

Money is the universal equivalent in various exchanges. This allows us to consider them as a universal sign system, the analysis of which is applicable the apparatus of semiotics – the general theory of signs, as a conceptual platform for interdisciplinary analysis. The «deep» social semiotics concept allows to systematize the levels of semantic content of social experience. This systematization echoes the levels of hermeneutic analysis, but takes analytics beyond the linguistic framework. A semiotic money analysis will make possible, without separating the economic importance of money, to talk about the multiplicity of their sign functions in various value-normative contexts of culture, conceptualizing this phenomenon in a complex of interdisciplinary research, including the prospects of institutions of control and trust in the context of digitalization.

KEYWORDS: hermeneutics; deep semiotics; money; meaning; value.

JEL: A13.

Природа денег



Теории происхождения денег в контексте современной монетарной теории и практики

Александр Дубянский

Дубянский Александр Николаевич (e-mail: a.dubi-anskii@spbu.ru) — д. э. н., профессор Санкт-Петербургского государственного университета (Санкт-Петербург, Россия).

В российской экономической литературе, посвященной исследованиям монетарных проблем, неоправданно мало уделяется внимания проблеме происхождения денег, хотя этот вопрос имеет исключительно важное значение для понимания сущности денег. В статье рассматриваются вопросы, связанные с теорией происхождения денег во взаимосвязи с появлением современных денег — криптовалют. Авторская позиция сводится к тому, что общепринятая в современной экономической науке эволюционная теория происхождения денег не может быть признана состоятельной и требует пересмотра.

Ключевые слова: деньги; эволюционная теория; рационалистическая теория; государственная теория денег; биткоин.

JEL: В13, Е42.

Введение

В последнее время в монетарной теории и практике происходят большие изменения, обусловленные различными причинами: мировым экономическим кризисом, пандемией, долговыми проблемами, становлением цифровой экономики.

В частности, в экономической периодике появляется много публикаций, посвященных криптовалютам, в первую очередь самой популярной ее разновидности — биткоину, являющемуся символом цифровой революции в денежном обращении. Как правило, в этих статьях речь идет о преимуществах и удобстве этой виртуальной валюты, таких как анонимность, наднациональность, отсутствие посредников в обращении, автоматическая защищенность от мошенничества посредством новейших информационных технологий и независимость от какого-либо государственного регулирования. Последняя характеристика признается большинством авторов ключевой, так как позволяет пользователям этой криптовалюты значительно снизить издержки обращения и уйти от контроля регуляторов и налоговых служб.

В связи с появлением новых видов денег перед центральными банками различных стран встает вопрос о том, каково должно быть их отношение к криптовалютам в целом и биткоину в частности. Криптовалюты в настоящее время активно используются многими участниками финансовых рынков, и популярность новых денег стремительно растет вместе с их курсом, особенно среди валютных спекулянтов. Игнорировать появление новых денежных инструментов уже невозможно и регуляторам нужно как-то реагировать на сложившуюся ситуацию. В большинстве стран Европейского союза и США реакция на криптовалюты в целом положительная и те же биткоины являются вполне легальной валютой, так как в законодательствах этих стран отсутствует прямой запрет на их обращение. В России, Китае, Индии, Швеции и ряде других стран биткоины пока законодательно запрещены. В России Министерством финансов даже предлагается ввести уголовную ответственность за использование криптовалют, к коим и относятся биткоины.

Однако даже в странах, где обращение криптовалют законодательно не ограничивается, у них отсутствует внятный правовой статус, а он необходим, если речь идет не только о спекулятивных сделках, но и о массовом использовании этих валют крупными игроками на валютных и финансовых рынках. Кроме того, глава Банка России Э.С. Набиуллина не раз отмечала, что нужно не запрещать криптовалюты, а изучать их возможности и перспективы для экономики. В настоящее время Банк России информировал, что в ближайшие два-три года (2022–2024) в стране будет разработана и внедрена национальная криптовалюта — цифровой рубль.

В этой связи в денежной теории усиливается внимание к вопросу о сущности денег, что, в общем, и закономерно, так как появление новых форм денег провоцирует исследователей в определении своей позиции относительно того, что же деньги представляют собой. Действительно, трудно не согласиться с Ф.Мartiном в том, что «Большую часть времени деньги просто есть и возможность взглянуть на них объективно возникает, когда нарушается обычный порядок вещей» [Мартин 2017, с. 28]. Представляется, что сейчас именно такой турбулентный период, в котором нарушается привычный ход вещей.

Требуют осмысления и процессы, происходящие в денежной теории — в частности речь идет об активно развивающейся в последние годы так называемой современной теории денег, подрывающей основные постулаты теории мейнстрима. В данной теории считается оправданной денежная эмиссия с целью финансирования государственного долга.

Чтобы лучше понять все эти процессы, стоит обратиться к концепциям, связанным с происхождением денег и их эволюцией. В современной экономической литературе, посвященной монетарной проблематике,

неоправданно мало внимания уделяется вопросу происхождения денег. Однако, чтобы монетарные модели, используемые в экономической теории, могли достичь «впечатляющего уровня точности и четкости, позволяющего им быть применимыми для нужд бизнеса и государства, определенные компоненты этих моделей должны быть неизменными и неоспариваемыми» [Бьерг 2018, с. 17]. По мнению датского социолога У. Бьерга, в первую очередь это касается вопросов природы денег и их генезиса.

Такие публикации практически отсутствуют в российской экономической литературе, да и за рубежом их тоже немного. В этой связи трудно не согласиться с Ю. В. Базулиным в том, что «Формирование ясной концепции эволюции денег позволяет разработать модель управления ими, адекватную социально-экономическим реалиям, в какой бы форме деньги ни были представлены...» [Базулин 2008, с. 10].

Действительно, рассматривая деньги в историческом аспекте, то есть в процессе их возникновения и дальнейшей эволюции, только и можно найти ответы на вопросы, касающиеся появления новых платежных инструментов, а также приблизиться к пониманию сущности денег. Экономисты до сих пор не имеют хотя бы приблизительного единства взглядов о том, что такое деньги.

Теории происхождения денег

В современной экономической теории принято выделять три основные концепции происхождения денег. Первой из них исторически и логически является *рационалистическая теория* возникновения денег. Суть этой теории сводится к идее о том, что деньги могли появиться как результат соглашения между людьми.

Главной побудительной причиной создания денег являлась потребность в средстве обращения для рационализации товарного обмена. При этом, правда, остается неясным, кто был или мог бы быть инициатором такого соглашения и как оно могло быть оформлено. Одним из первых ученых, озвучивших эту теорию в своей «Никомаховой этике», был Аристотель. Он отмечал, что обмен объективно требует появления какого-либо соизмеримого платежного инструмента, который уравнивал бы разнородные товары, и в результате: «...по общему уговору появилась монета; оттого и имя ей „номисма“, что она существует не по природе, а по установлению (νομοί) и в нашей власти изменить ее или вывести из употребления» [Аристотель 1997, с.156]. Другими словами, деньги с неизбежностью должны были появиться как результат некоего общественного договора для того, чтобы способствовать рационализации товарообмена.

Популярность данной теории может объясняться авторитетом Аристотеля и его научной методологии в западной науке. Вплоть до XVIII века рационалистическая теория являлась общепринятой для большинства ученых теорией возникновения денег. Известный английский философ Дж. Локк также считал деньги результатом общественного договора между людьми для удобства обращения товаров. В частности, он отмечал:

Что касается человечества, которое, исходя из долговечности и ограниченности золота и серебра, а также возможности распознать подделки, условилось признать их фиктивную ценность, то люди пришли и к общему согласию, взаимному обещанию, когда в обмен на то или иное количество этих металлов можно было получить в равной степени ценные для тех, кто с ними расставался, вещи... [Locke 1824].

Из более современных ученых к сторонникам этой теории можно отнести известного американского экономиста П. Самуэльсона, лауреата премии памяти А. Нобеля по экономике, высказывавшего мысль о том, что «Деньги — это искусственная социальная условность» [Самуэльсон 1964, с. 68–69]. Следовательно, и появились деньги как искусственный социальный институт, необходимый людям для рационализации обмена.

Помимо вышеизложенной, известный русский экономист В. В. Святловский выделял еще одну концепцию происхождения денег, тесно примыкающую к рационалистической теории и по сути являющейся ее разновидностью, а именно *теорию изобретения* денег. Считается, что основные идеи, положенные в основу этой теории, впервые были высказаны немецким ученым — историком А. Бекком (Voeskh) (1785–1867), занимавшимся, в частности, и античной экономической историей. В 1838 году им была выпущена монография под названием «Метрологические изыскания веса и мер древности в их взаимосвязи» [Voeskh 1837]. В этой работе Бек доказывал, что первые единицы веса в древности были определены теоретически и введены в результате административных действий со стороны властей. Иными словами, деньги были искусственно внедрены в хозяйственный оборот, а не появились в результате эволюционного развития рыночных отношений. Правда, Бек не стал называть конкретную страну, в которой впервые были изобретены деньги, предоставив возможность исследователям самим определить это государство. Мнения ученых-историков той эпохи разделились между Ассирией и Древним Египтом, так как в раскопках на территориях, где располагались в свое время эти страны, были найдены многочисленные материальные свидетельства изобретения денег.

Другой популярной среди экономистов теорией происхождения денег, пришедшей на смену рационалистической концепции, является *эволюционная теория*. В рамках этой теории считается, что деньги возникают как результат эволюционного процесса, в котором некоторые товары с течением времени занимают особое место в рыночном товарообороте как удобные посредники в обмене. Сторонниками эволюционной теории являлись практически все известные ученые-экономисты XIX и начала XX веков, а именно: А. Р. Ж. Тюрго, А. Смит, Д. Рикардо, К. Маркс, Л. Мизес и другие. Среди русских экономистов — сторонников этой теории можно выделить И. И. Кауфмана и И. В. Вернадского.

Стоит отметить, что большинство современных ученых-экономистов разделяют основные выводы данной теории. Во всех современных и более ранних учебниках по экономической теории доминирует именно эта теория происхождения денег. В качестве иллюстрации механизма эволюционной теории можно привести формулировку этой концепции Л. Мизесом. В частности, он отмечал, что в ходе эволюции рыночных отношений «...возникает неотвратимая тенденция, в ходе которой использовавшиеся в качестве средства обмена и оказавшиеся менее обмениваемыми отвергались одно за другим, пока не остался тот единственный товар, который стал универсально применяться как средство обмена, иными словами, как деньги» [Мизес 2012, с. 26].

Теоретический фундамент этой теории был разработан К. Марксом [Дубянский 2019]. По мнению В. В. Святловского «...Маркс гениально наметил схему иного решения вопроса о происхождении денег...» [Святловский 2010, с. 4]. Действительно, Марксом была разработана теория эволюции форм стоимости, в соответствии с которой происходила последователь-

ная смена форм стоимости от простой или случайной формы к полной или развернутой, а затем к всеобщей и, наконец, к денежной. Эта концепция нужна была Марксу прежде всего для того, чтобы показать механизм превращения конкретного труда в простой форме стоимости в абстрактный труд в товаре-эквиваленте и деньгах во всеобщей и денежной формах стоимости. Исходя из такого понимания эволюции форм стоимости, Маркс делает вывод о том, что «Адекватной формой проявления стоимости, или материализацией абстрактного и, следовательно, одинакового человеческого труда, может быть лишь такая материя, все экземпляры которой обладают одинаковым качеством» [Маркс 1973, с. 104]. Такой материей, по Марксу, являются драгоценные металлы — золото и серебро. Эти положения марксистской теории явились веским аргументом в пользу металлистической теории денег, сформировавшейся в рамках эволюционной концепции происхождения денег. Сторонники металлистической теории видели в деньгах особую субстанциональную (реальную) стоимость, которая воплощается в каком-либо товаре — как правило, в золоте.

Логическая безупречность обеспечила эволюционной теории происхождения денег всеобщее признание среди экономистов. Действительно, путь эволюции денег от товаров к товарам-эквивалентам, а затем к денежным средствам обращения представляется вполне адекватным развитию товарного хозяйства, когда на место бартерного обмена приходит обмен с использованием различных форм денег. Впрочем, большинство современных экономистов принимают эволюционную теорию происхождения денег скорее по умолчанию, нежели осознанно, так как не желают погружаться в вопросы происхождения денег.

Стоит отметить, что именно в рамках данной теории было проведено множество теоретических ис-

следований за последние десятилетия XX–XXI веков. Опираясь на эту концепцию, ученые-экономисты конструировали сложные математические модели, объясняющие выбор экономическими агентами того или иного товара в качестве эквивалента.

Именно на ее базе возникла макроэкономика — область экономической науки, стремящаяся объяснить, <...> как мы можем управлять циклами деловой активности через регулирование процентной ставки и государственных расходов [Мартин 2017, с. 16].

Однако в последнее время появляется все больше экономистов, сомневающих в истинности эволюционной теории денег. Главные возражения противников сводятся к тому, что до сих пор не было выявлено исторических примеров, подтверждающих существование бартерной экономики, предшествующей появлению денег.

Надо признать, что и поныне сторонники стихийного происхождения денег ничего не говорят о том, как, по их мнению, общественная потребность в монете привела к ее возникновению [Буртина 2016, с. 125].

Получивший известность в последнее время благодаря своим изысканиям в области долговых отношений британский ученый-антрополог Д. Гребер также замечает:

Проблема в том, что доказательства, подтверждающих эту теорию, нет, зато есть огромное количество фактов, ее опровергающих [Гребер 2015, с. 33].

Известный американский экономист, социолог и антрополог К. Поланьи в ряде своих работ рассматривал

вопрос о формировании денег как экономического института. Он доказал, что первоначально в примитивных обществах обмен благами между людьми происходил без прямого использования денег. Например, в древнем Вавилоне все платежи государству и храмам исходили из пропорции 1 шекель серебра = 1 гур ячменя [Поланьи 2007b, с. 136]. Серебро непосредственно не использовалось при обмене и уплате различных налогов и сборов. Однако все участники обмена имели в виду именно эту пропорцию. Как правило, это был бартерный обмен, но с использованием денежного эквивалента в виде шекеля серебра. Естественно, что товарные деньги существовали в истории, многочисленные примеры их проявления в большом количестве зарегистрированы. В качестве примера таких денег можно отметить и различные виды домашнего скота, шкуры животных, рабов и прочие популярные в той или иной местности товары. Поланьи отмечал, что «Использование денег как средства обмена возникает из потребности в объектах, поддающихся количественному измерению, с целью их использования для непосредственного обмена» [Поланьи 2007a, с. 66]. Далее он утверждал:

Подобное использование исчисляемых объектов (бартер. — *А. Д.*) происходит не в силу случайных актов товарообмена (как это виделось представителям рационализма XVIII века), а сопряжено с организованной торговлей, в первую очередь рыночной [Поланьи 2007a, с. 66].

Такая точка зрения разделяется и другими экономистами, так, например, британский писатель и экономист считает, что

Деньги — это система кредитных счетов и погашения задолженностей, в которой наличность играет роль наглядной иллюстрации состояния

индивидуального счета того или иного члена общества [Мартин 2017, с. 21].

Другими словами, важны не деньги сами по себе или товары, выполняющие их роль, а система кредита и погашения задолженностей. Сторонники эволюционной теории основное внимание уделяют вопросу о том, в чем проявляются деньги в разных обществах и государствах.

Действительно должны были существовать объективные побудительные мотивы, которые приводили бы к созданию денег вообще и металлических денег в частности. С большой долей вероятности деньги могли появляться в различных местностях, но не в рамках общегосударственного рынка, а локальных организованных рынков одного или нескольких товаров.

Помимо выше рассмотренных теорий, существует еще одна концепция происхождения денег, а именно *государственная теория денег* немецкого ученого Г. Ф. Кнаппа. Эта теория была представлена в его работе под названием *Staatliche Theorie des Geldes* («Государственная теория денег») [Knapp 1905]. В этой работе Кнапп представил, по сути, манифест номинализма как вызов идеям металлистической теории денег в версии золотомонетного стандарта, господствовавшей в то время в экономической науке. Номинализм предполагает, что функции денег могут выполнять не только деньги, имеющие субстанциональную (реальную стоимость), а любые знаки, на любой материальной основе (желательно достаточно редкой), лишь бы к ним было доверие в обществе как к деньгам.

Как отмечал В. В. Святловский

...кнапповская теория произвела сильное впечатление при своем появлении и послужила поворотным пунктом в истории денежного вопроса [Святловский 2010, с. 6].

В начале XX века этой теории было посвящено много исследований [Innes 1913; Bonar 1922; Зейлингер 1914; Эйдельмант 1923], но в последнее время о теории Кнаппа почти не упоминают, что проявляется в практически полном отсутствии публикаций по этой теме [Дубянский 2015].

Согласно данной теории, деньги возникли в результате решения государства, объявлявшего, какие платежные инструменты могут считаться деньгами, а какие нет. Платежи, совершаемые с помощью передачи какого-то весового металла, не могут являться денежными платежами [Кнапп 1913]. Кроме того, по мнению Кнаппа, и монеты из драгоценных металлов становятся деньгами только тогда, когда в результате «порчи» отрываются от металла и приобретают принудительный курс, устанавливаемый опять же государством.

В рамках этой теории деньгами могут являться разнообразными платежные инструменты, лишь бы государство признавало их деньгами. Иначе говоря, весь набор денежных функций может выполнять только юридически признанная государством денежная единица.

Мы, наоборот, даем деньгам юридическое определение: клейменные знаки с прокламаторною силою, — деньги, независимо от того, содержат ли они металл или нет [Кнапп 1913, с. 22].

Ключевым понятием в теории Кнаппа являлось понятие хартальности: «...деньги — хартальное платежное средство; лишь хартальность создает деньги» [Кнапп 1913, с. 22]. Чтобы лучше понять, что такое хартальность, можно обратиться к определению этого термина советским экономистом 1920-х годов Е. П. Евзлиным, достаточно глубоко изучавшим государственную теорию денег Кнаппа.

Евзлин утверждал, ссылаясь на кнапповское понимание этого понятия, что *charta* — это латинское слово, которое буквально может быть переведено как марка, лист бумаги.

Маркой мы называем предмет, имеющий определенную форму и обозначение, материальное содержание которого совершенно несущественно, например театральная марка... [Евзлин 1924, с. 192].

Совершенно неважна при этом материальная природа этого знака, это может быть бумажный носитель или драгоценный металл, главное заключается в том, какую нагрузку несет на себе знак.

Как уже отмечалось, теория Кнаппа, вступала в противоборство с господствовавшей в то время металлистической теорией денег, что не могло не вызвать волну критики в адрес ее автора. Наиболее ярко неприятие государственной теории денег экономическим сообществом было сформулировано Л. Мизесом, являвшимся видным представителем неоавстрийской школы в экономической теории. По его мнению, «Мир еще не видел такого пустого и жалкого изложения денежной теории» [Мизес 2012, с. 502]. Если отвлечься от эмоций, то главная претензия сводилась к тому, что у Кнаппа отсутствовал экономический анализ денег. Другими словами, деньги в экономических исследованиях всегда выводились из анализа эволюции процессов товарообмена. Кнапп же уделял основное внимание правовой стороне появления и функционирования денег. Кроме того, он исследовал только функцию денег как средство платежа, в отличие от экономистов, которые главное внимание уделяли функции денег как меры стоимости [Бурлачков 2003, с. 48]. Критику Кнаппа можно считать спра-

ведливой, если исходить из постулатов экономической теории, но в ее рамках до сих пор не найден хоть какой-нибудь компромиссный вариант определения денег. Думается, что нужно искать и другие подходы к пониманию сущности денег и в этом плане государственная теория денег Кнаппа представляется плодотворным направлением для таких исследований.

Именно поэтому ученые-экономисты, считавшие, что требуется поиск новых альтернатив, поддержали теорию Г. Кнаппа. Среди известных ученых, попавших под «очарование» этой теории, можно отметить выдающегося английского экономиста Дж. М. Кейнса. Идеи Кнаппа оказали серьезное влияние на формирование денежной теории Кейнса. Главным образом это проявилось в его работе «Трактат о деньгах» (*A Treatise on Money*) [Keynes 2011 (1930)], явившейся его второй книгой из трилогии о деньгах* и, к сожалению, до сих пор не переведенной на русский язык.

Кейнс, говоря о праве государства вводить денежную единицу, отмечал, что

На этом своем праве настаивают все современные государства, и так было на протяжении по меньшей мере четырех тысяч лет. Когда деньги в своей эволюции достигают этой стадии, тогда и реализуется в полной мере кнапповский хартализм — доктрина, согласно которой деньги являются особенным творением государства [Keynes 2011 (1930), p. 4].

Однако Кейнс в дальнейшем отказался от развития идей Кнаппа и формирования на их основе собственной оригинальной денежной теории и вернул-

* Первой был «Трактат о денежной реформе» в 1923 г., а третьей — «Общая теория занятости процента и денег», выпущенная в 1936 г.

ся в лоно традиционной для своего времени теории денег. Как иронично заметил Д. Гребер, Дж. М. Кейнс не был радикалом и всегда старался «...формулировать проблему так, чтобы ее можно было реинтегрировать в экономическую науку его эпохи» [Гребер 2015, с. 33]. В результате Кейнс создал собственную интерпретацию количественной теории денег, где он активно использовал психологические методы. Этот оригинальный подход выразился у него в формулировании психологических мотивов экономических агентов, предпочитающих ликвидность (деньги), таких как мотив предосторожности, трансакционный и спекулятивный мотив. Теперь эта версия количественной теории денег носит название кейнсианской теории денег.

В последние десятилетия в современной экономической теории сформировалось своеобразное течение экономической мысли под названием хартализм (Chartalism). Очевидно, что сам термин *хартализм* возник благодаря кнапповской теории государственных денег. В сущности *хартализм* — это современный вариант номинализма, опирающийся на государственную версию происхождения денег. В настоящее время вместо хартализма в экономической науке стали использовать понятие *современная денежная теория* (СДТ)/Modern Monetary Theory (ММТ).

Согласно этой версии денежной теории, деньги возникают в результате кредитно-долговых отношений между государством (властью) и гражданами. Среди представителей этой теории можно отметить таких ученых, как Р. Рэй (R. Wray) [Wray 1993; 1998], М. Форстатер (M. Forstater) [Forstater 2006], С. Белл (S. Bell) [Bell 2001], Ч. Гудхарт (C. Goodhart) [Goodhart 1997] и ряд других авторов.

Эта теория не разрабатывалась в ведущих американских университетах, а появилась в узком академическом кругу и стала известна только тогда, когда

ряд высокопоставленных политиков от демократической партии в США, в частности сенатор Берни Сандерс (Sanders) и Александра Окасио-Кортес (Ocasio-Cortez), обратили на нее внимание, потому что ее принципы соответствовали их политическим взглядам. Взглядам этих политиков свойственны если не социалистические, то леворадикальные воззрения на экономическую политику, предполагающую большие бюджетные ассигнования на различные цели.

Интерес, возникший к этой неортодоксальной теории, обусловлен тем, что денежные институты ведущих стран мира уже не могут осуществлять прежнюю денежно-кредитную политику в целях стимулирования экономического роста. Доминирующая в настоящее время ортодоксальная денежная теория (мейнстрим) не может предложить действенных монетарных инструментов для стимулирования экономической динамики. Современная денежная теория является одним из тех направлений научных исследований, в рамках которых как раз и предлагаются такие новые подходы.

Пока СДТ среди экономистов считается если и не маргинальной, то мало популярной теорией, с основными положениями которой знакомо ограниченное число ученых. Впрочем, для любой концепции требуется определенное время для привлечения необходимого числа адептов в научных кругах. В России также обратили внимание на полемику, развернувшуюся среди западных экономистов [Моисеев 2019].

Криптовалюты в контексте теории происхождения денег

Стоит отметить, что появление электронных денег, общих валют, криптовалют демонстрирует еще одно характерное явление для современного экономиче-

ского развития, а именно постепенный вывод денег из юрисдикции национальных государств и как следствие утрату контроля центральных банков над денежной массой. Современные информационные технологии позволяют организовывать обращение криптовалют и без участия государственного (централизованного) регулятора. В связи с этим отношение к новым денежным инструментам должно строиться исходя из этой потенциальной опасности для денежного суверенитета и роли ЦБ в регулировании денежного обращения.

Для того чтобы более глубоко понять место и роль криптовалют, нужно определить ряд дефиниций относительно них. Обычно криптовалюты относят к так называемым виртуальным валютам. Кочергин Д. А., известный эксперт по проблемам электронных денег, считает, что виртуальную валюту можно представить как цифровое выражение стоимости, которая может покупаться или продаваться в цифровой форме и функционировать в качестве: средства обмена; счетной единицы; средства сохранения стоимости, но не имеет законного статуса в какой-либо юрисдикции [Кочергин 2017, с. 120].

С другой стороны, виртуальные валюты могут интерпретироваться и как электронные деньги, только эмитированные не ЦБ или коммерческими банками, то есть легитимными эмитентами, а другими небанковскими эмитентами для расчетов в электронных сетях. Кроме того, Логинов В. А., Кузнецов В. А. обращают внимание на другое отличие виртуальных валют от электронных денег «...их выпуск осуществляется без предварительного внесения денежных средств на счет оператора системы» [Логинов, Кузнецов 2016, с. 29]. Можно сказать, что криптовалюты представляют собой определенный этап развития электронных денег.

Определение электронных денег еще не устоялось и является весьма противоречивым. Чтобы внести определенность в вопрос об электронных деньгах, стоит обратиться к российскому Федеральному закону «О национальной платежной системе», в котором дается определение электронных денег:

Электронные денежные средства — денежные средства, которые предварительно предоставлены одним лицом другому лицу, учитывающему информацию о размере предоставленных денежных средств без открытия банковского счета (обязанному лицу), для исполнения денежных обязательств лица, предоставившего денежные средства, перед третьими лицами и в отношении которых лицо, предоставившее денежные средства, имеет право передавать распоряжения исключительно с использованием электронных средств платежа... (Федеральный закон от 27.06.2011 № 161-ФЗ (ред. от 18.07.2017) «О национальной платежной системе», ст. 3, п. 18).

Когда речь идет о биткоинах как о виртуальной валюте, то обычно под ней понимают одновременно «...цифровую валюту и онлайнную платежную систему, в которой технология шифрования обеспечивает управление генерацией денежных единиц и подтверждение переводов средств...» [Свон 2017, с. 22]. Это определение представляет собой «схему виртуальной валюты», которая используется для виртуальной валюты, а также для идентификации встроенного механизма, гарантирующего передачу этой стоимости.

Если придерживаться логики доминирующей в настоящее время эволюционной теории денег, то криптовалюты во всем своем многообразии вариантов должны вступать в конкуренцию с традиционными денежными инструментами. Затем в ходе конкуренции между криптовалютами с одной стороны и тра-

диционными деньгами должен остаться один вид денег с наименьшими издержками обращения. Деньги, выигравшие конкурентную борьбу, должны быть приняты государством как «воля рынка» в качестве единственного платежного средства.

Подобное развитие событий выглядит маловероятным, и современные государства, как, впрочем, и более древние, не следуют подобной логике появления денег, представленной в эволюционной теории, и не ждут, пока рыночная конкуренция вытолкнет на поверхность новую разновидность денег. Они сами назначают на роль денег то платежное средство, которое считают целесообразным в данных экономических обстоятельствах. Таких фактов, когда рыночная стихия формирует денежные инструменты, как уже говорилось выше, не было отмечено в истории, и вряд ли они появятся в современности.

Государства всегда играли определяющую роль в появлении всеобщего эквивалента. Ведь даже в условиях серебряного или золотого монометаллизма, когда деньги благодаря общей металлической субстанции были, по сути, однородными денежными единицами, государство их клеймило в обязательном порядке.

Нет ничего удивительного в том, что и в настоящее время государство стремится играть решающую роль в выборе новой разновидности денег. К тому же криптовалюты оказываются вне правового поля российской денежной системы, а значит, экономическим агентам не понятно, как проводить с ними операции, которые официально не запрещены, но и не разрешены. В этом плане *государственная теория денег* Кнаппа представляется более убедительной с точки зрения логики государственного управления. Действительно, первоначально правительство легитимизирует платежные инструменты, а затем они именно в силу того, что являются законными деньгами, которыми требует-

ся оплачивать различные налоги и сборы в пользу государства, становятся востребованными рынком и его участниками.

Центральному банку как представителю интересов государства в денежной системе стоит использовать технологию блокчейна (Blockchain) или технологию распределенных реестров, лежащую в основе биткоина и других криптовалют для создания отечественного аналога биткоина. Эта технология позволяет осуществлять транзакции или просто передачу информации через цепочки блоков. Каждый блок в этой цепочке содержит сведения о данных, размещенных в других блоках. Все это дает возможность распределять данные по информационной системе и учитывать все изменения этих данных у всех участников в автоматическом режиме. Отсутствие единого центра хранения всех данных участников системы позволяет технологии блокчейна если и не быть неуязвимой, то весьма защищенной.

Российский аналог биткоина мог бы дополнять рубль, функционируя в специальном изолированном «контуре», и использоваться для транзакций на финансовых рынках. Этот контур не должен пересекаться с другим контуром, в котором обращался бы «обычный» российский рубль. Подобная конфигурация денежной системы существовала во времена СССР, когда в обращении был разведен оборот наличных и безналичных денег. Наличные деньги циркулировали в потребительской сфере и могли быть потрачены только для приобретения товаров народного потребления с целью максимизации полезности в домашних хозяйствах. В свою очередь, безналичные деньги использовались только для покупки инвестиционных товаров со стороны предприятий. Американский социолог В. Зелизер для объяснения таких явлений в денежном обращении использовала теорию *обособленных*

сфер, предполагающую существование двух независимых областей, в которых действуют разные принципы использования денег [Зелизер 2004, с. 24].

Эта идея, предложенная В. Зелизер, может быть использована в реальной экономике. Экономическое пространство не является однородным и поэтому для разных секторов экономики возможно существование различных денежных инструментов, которые в большей степени соответствуют специфическим условиям этих секторов, нежели универсальная национальная валюта. В условиях цифровой экономики перспективы создания множественных форм денег становятся все более реальными [Дубянский 2017].

Криптовалюты больше подходят для совершения транзакций на финансовых рынках, где требуется высокий уровень доверия и гарантия безопасности сделок. Регулятор в целях безопасности может создать централизованный банк данных, однако в этом случае требуется высокий уровень надежности системы и бесперебойность ее работы, что не так просто обеспечить. Кроме того, пользование такой централизованной системой не может быть бесплатным.

В случае использования технологии блокчейна участники рынка могут хранить всю информацию на собственных серверах и проверять транзакции, безопасность которых обеспечивается криптографическими алгоритмами. В этом случае благодаря отсутствию посредников транзакции могут быть дешевыми или вообще бесплатными.

Заключение

В заключение можно отметить, что концепции происхождения денег могут иметь не только теоретический, но и прикладной аспект. Очевидно, что эволюцион-

ная теория денег, господствующая в настоящее время в денежной теории, является неподходящей концептуальной платформой для анализа новых видов денег. Логика этой теории может быть приемлемой в теоретическом аспекте в плане построения различных моделей, но эта логика не подкрепляется эмпирическими данными. В этом плане государственная теория денег, хотя и критикуемая экономистами, является более адекватной для анализа новых (и не только) денежных инструментов.

Деньги создаются государствами, и так было всегда. <...> Их стоимость не зависит от объективной ценности какого-либо металла. Ценность определяется верой людей в устойчивость государства [Мейсон 2016, с. 41].

Государство должно не запрещать новые виды денег, а использовать их в своих интересах для стимулирования экономического развития.

Литература

- Федеральный закон от 27.06.2011 №161-ФЗ (ред. от 18.07.2017) «О национальной платежной системе».
- Аристотель. (1997). Никомахова этика // *Философы Греции*. Москва: ЭКСМО-Пресс.
- Базулин Ю. (2008). *Происхождение и природа денег*. Санкт-Петербург: Издательство СПбГУ.
- Бурлачков В. (2003). *Денежная теория и динамичная экономика: выводы для России*. Москва: Эдиториал УРСС.
- Буторина О. (2016). О происхождении монет // *Современная Европа*. №3 (69). С. 124–135.
- Бьерг У. (2018). *Как делаются деньги? Философия посткредитного капитализма*. Москва: Ад Маргинем Пресс.
- Гребер Д. (2015). *Долг: первые 5000 лет истории*. Москва: Ад Маргинем Пресс.

- Дубянский А. (2015). Государственная теория денег Г. Кнаппа: история и современные перспективы // *Вопросы экономики*. № 3. С. 109–125.
- Дубянский А. (2017). Местные валюты как способ децентрализации денежного обращения // *Вестник Санкт-Петербургского университета*. Серия 5. Экономика. Т. 33. № 1. С. 104–118.
- Дубянский А. (2019). Теория денег Маркса: исторический анализ // *Вестник Санкт-Петербургского университета*. Серия 5. Экономика. Т. 35. № 1. С. 153–169.
- Дубянский А. (2020). Философский взгляд на деньги (о книге У. Бьерга «Как делаются деньги? Философия посткредитного капитализма») // *Вопросы экономики*. № 3. С. 129–140.
- Евзлин З. (1924). Деньги: бумажные деньги в теории и в жизни): в 2 ч. Ленинград: Наука и школа.
- Зейлингер В. (1914). *Основные черты теории денег Кнаппа. Новые идеи в экономике: сборник № 6. Теория денег Кнаппа* / под ред. М. И. Туган-Барановского. Санкт-Петербург: Образование.
- Зелиз В. (2004). *Социальное значение денег: деньги на булавки, чеки, пособия по бедности и другие денежные единицы*. Москва: Дом интеллектуальной книги; Издательский дом ГУ ВШЭ.
- Кнапп Г. (1913). Деньги. Историко-правовые основания природы их // Кнапп Г. Ф. *Очерки государственной теории денег*. Одесса.
- Кочергин Д. (2017). Место и роль виртуальных валют в современной платежной системе // *Вестник Санкт-Петербургского университета*. Серия 5. Экономика. Т. 33. Вып. 1. С. 119–140.
- Логинов В., Кузнецов В. (2016). К вопросу о сущности и нормативном регулировании электронных денег: зарубежный опыт // *Деньги и кредит*. № 4. С. 28–33.
- Маркс К. (1973). *Капитал*. Т. 1. Москва: Политиздат.
- Мартин Ф. (2017). *Мопеу: Неофициальная биография денег*. Москва: Синдбад.
- Мейсон П. (2016). *Посткапитализм: путеводитель по нашему будущему*. Москва: Ад Маргинем Пресс.
- Мизес Л. (2012). *Теория денег и кредита*. Челябинск: Социум.
- Моисеев С. (2019). Хайп вокруг (не)денежной (не)теории // *Вопросы экономики*. № 9. С. 112–122.
- Полань К. (2006). Экономика как институционально оформленный процесс // «*Великая трансформация*» К. Полань: *прошлое, настоящее, будущее* / под общ. ред. Р. М. Нуреева. Москва: ГУ ВШЭ. С. 44–72.
- Полань К. (2006). Семантика использования денег // «*Великая трансформация*» К. Полань: *прошлое, настоящее, будущее* / под общ. ред. Р. М. Нуреева. Москва: ГУ ВШЭ. С. 125–138.
- Самуэльсон П. (1964). *Экономика*. Москва: Прогресс.

- Свон М. (2017). *Блокчейн: Схема новой экономики*. Москва: Олимп-Бизнес.
- Святловский В. (2010). *Происхождение денег и денежных знаков*. Москва: КРАСАНД.
- Эйдельмант А. (1923). *Очерк из истории денежных теорий*. Москва—Ленинград: Государственное издательство.
- Bell S. (2001). The Role of the State and the Hierarchy of money // *Cambridge Journal of Economics*. Issue 25. P. 149–163.
- Воецкх А. (1838). *Metrologische Untersuchungen über Gewichte, Münzfüsse und Masse des Altertums in ihrem Zusammenhange*. Berlin.
- Bonar J. (1922). Knapp's Theory of Money // *Economic Journal*. Vol. 32. P. 39–47.
- Forstater M. (2006). Taxation: Additional Evidence from the History of Thought, Economic History, and Economic Policy / Setterfield M. (ed.) // *Complexity, Endogenous Money, and Exogenous Interest Rates*. Cheltenham, UK: Edward Elgar.
- Fullenkamp C., Nsouli S. (2004). *Six Puzzles in Electronic Money and Banking*. Working Paper. IMF Institute, February.
- Goodhart C. (1997). One Government, One Money // *Prospect*. March. P. 1–3.
- Innes A. (1913). What is Money? // *Banking Law Journal*. May. P. 377–408.
- Keynes J. (2011[1930]). *A Treatise on Money, In two volumes*. New York, NY: Martino Publishing. P. 4.
- Knapp G. (1905). *Staatliche Theorie des Geldes*. Leipzig.
- Locke J. (1824). Some Considerations of the consequences the Lowering of interest and Raising the Value of Money. In a Letter sent to a member of Parliament 1691. // *The Works of John Locke in Nine Volumes*. London: Rivington. Vol. 4. http://oll.libertyfund.org/titles/763#Locke_0128-04_32
- Wray L. (1993). *The origins of money and the development of the modern financial system*. Levy Working Paper No. 86. Levy Economics Institute.
- Wray L. (1998). *Understanding modern money: they key to full employment and price stability*. Cheltenham and Northampton: Edward Elgar.

THEORIES OF THE ORIGIN OF MONEY
IN THE CONTEXT OF MODERN MONETARY
THEORY AND PRACTICE

ALEXANDER DUBYANSKIY (e-mail: a.dubianskii@spbu.ru). St. Petersburg State University (Saint Petersburg, Russia).

In the Russian economic literature devoted to the study of monetary problems, unjustifiably little attention is paid to the problem of the origin of money, although this issue is extremely important for understanding the essence of money. The article discusses issues related to the theory of the origin of money in connection with the emergence of modern money — cryptocurrencies. The author's position boils down to the fact that the evolutionary theory of the origin of money, generally accepted in modern economics, cannot be recognized as sound and requires revision.

KEYWORDS: money; evolutionary theory; rationalist theory; state theory of money; bitcoin.

JEL: B13, E42.

Бесконечный долг: воспевая отчуждение

Павел Терещенко

ТЕРЕЩЕНКО ПАВЕЛ АНТОНОВИЧ (e-mail: paul.anthony.tere@gmail.com) — MA in International Public Affairs, независимый исследователь.

В статье анализируется взаимосвязь долга, отчуждения, процента и научно-технического прогресса. Методологией служит исторический подход. Автор использует периодизацию, разработанную Дэвидом Гребером относительно истории развития долга. В рамках трех временных отрезков автор рассматривает историческое развитие долга и отчуждения, а также процента и научно-технического прогресса. Выстраивание исторической взаимосвязи долга и отчуждения позволяет дополнить дискурс исследований об отчуждении исторической перспективой, связанной с долгом. Это позволяет выделить основу отчуждения и фокусироваться на долге при дальнейшей борьбе с отчуждением.

Ключевые слова: долг; отчуждение; процент; научно-технический прогресс.

JEL: N90, Z13

Введение

Долг является основой современной экономической системы. Совокупный глобальный долг все возрастает [Гриценко 2012]. Однако что собой представляет долг? Несмотря на то что особое внимание в экономической литературе уделяется долгу как экономическому феномену, он не является сугубо таковым. Долг также символизирует нечто моральное — не-

кую благодарность за оказанное одолжение или услугу [Гребер 2016, с. 6]. Почему долг, будучи моральной категорией, оказывается также и в пространстве экономического и может быть выражен через конкретную сумму денег? Способствует ли развитие долга, процента и научно-технического прогресса отчуждению?

Центральной темой данной статьи является рассмотрение долга как катализатора отчуждения в современном мире. С развитием институтов повышения эффективности долга и возведением финансов в сферу, слабо постижимую для тех, кто не обладает специальными знаниями, долг раскрыл абсолютно новый потенциал отчуждения, который позволяет помимо увеличения масштабов отчуждения, также увеличить его интенсивность и неочевидность. Взаимосвязь долга и отчуждения может не лежать на поверхности, однако мы уверены в ее существовании. Целью данной работы является выявление данной взаимосвязи. Для иллюстрации этого мы показываем, как природа долга и его производные — научно-технический прогресс и процент, связаны с отчуждением.

В первой части мы анализируем изменение долга в исторической перспективе, затем очерчиваем исторический контекст развития отчуждения труда и в третьей части синтезируем единое историческое пространство, в котором развивались и долг, и отчуждение, находясь в связи друг с другом как напрямую, так и через процент с научно-техническим прогрессом.

Современный антрополог Дэвид Гребер пытается ответить, в частности, на вопрос о моральных истоках долга в уже ставшей культовой книге «Долг: первые 5000 лет истории». Для рассмотрения этого аспекта он предлагает обратиться к истории долга. В ходе своего повествования Гребер показывает, что долг сосуществовал с человечеством на протяжении значительного периода его истории и может счи-

таться потенциально капиталистическим институтом вне капитализма [Гребер 2016]. Его исследование позволило проанализировать долг, возникший на заре нашей цивилизации, не как исключительно экономический феномен, а как центральную часть современного капиталистического устройства. Именно он лежит в основе существующей экономической системы и позволил ей сформироваться.

Однако помимо экономической функции долга Гребер проблематизирует его проникновение в сферы этики и морали. По его мнению, именно морализация экономического долга позволяет основательно закрепить капиталистическую систему и уберечь ее от разрушения. Когда мы находим оправдание социально-экономическим несправедливостям в морали и этике, мы с большей вероятностью будем их принимать как данность, не пытаясь воспротивиться системе.

В своей работе Гребер не останавливается подробно на том, к каким последствиям современный долг может привести на внутреннем уровне. В то же время греберовский долг оказывается тесно связанным с научно-техническим прогрессом и процентом. Как следует из теории Карла Маркса, новые способы капиталистического производства выявляют процесс отчуждения [Маркс 2010]. Отчуждение бывает разного порядка, но в экономическо-философских рукописях Маркс фокусируется конкретно на отчуждении труда. При этом отчуждение труда не является полностью описанным явлением, так как оно подвержено динамике и во многом зависит от условий, заданных научно-техническим прогрессом. Это обуславливает необходимость переосмысления концепции отчуждения. Динамичность рынка приводит к тому, что и практики, с помощью которых продукт труда отчуждается капиталистами, также претерпевают значительные изменения, что делает отчужде-

ние менее явным. В сумме это означает, что отчуждение становится еще более динамичным с развитием технологий. В настоящее время проблема отчуждения реконтекстуализируется и актуализируется многими авторами [Жилина 2013; Кошарная и Мордишева 2012; Исаченко 2018].

Краткая история долга

Для определения взаимосвязи долга и отчуждения необходимо выделить историческую перспективу их развития. В данном параграфе мы предлагаем общую периодизацию долга и обзор основных характеристик данного явления.

По мнению многих исследователей, долг связан с обменом [Гребер 2016; Baudrillard 2016]. Для любого обмена необходима реципрокность, если этот обмен производится между людьми, обладающими равным социальным статусом [Бурдье 2001]. Если нарушается возможность возвращения эквивалентного дара, который может обладать не сколько равной стоимостью в денежном выражении, сколько в выражении символического капитала, то это сигнализирует о доминировании одного человека над другим [Гребер 2016, с. 125]. В контексте обмена долг — это переходное состояние между началом обмена и его завершением. Пока получатель не ответит дарителю даром, он остается своеобразным должником дарителя. Однако здесь необходимо подчеркнуть важный аспект: большинство обменов растянуты во времени и, следовательно, возникновение долга при обмене неизбежно. При этом в самом по себе долге, возникающем при неединовременном обмене, нет ничего плохого. Скорее, наоборот — долг выступает гарантом продолжения социальных связей. Как это иллюстрирует Гребер, если

человек отказывается от растягивания процесса обмена во времени, это означает, что он не желает иметь ничего общего со своим потенциальным должником и не собирается с ним более взаимодействовать [Гребер 2016]. Свидетельством этого процесса являются многие задокументированные антропологами истории о сложных цепях передачи зачастую символических даров от одних племен другим с целью поддержания межплеменных отношений. Так, например, в ряде случаев исследователи не находят утилитарной пользы от процесса обмена некоторыми товарами среди этих племен [Мосс 1996; Малиновский 2015]. Таким образом, долг в антропологическом контексте оказывается частью процесса обмена, который был призван, в первую очередь, поддерживать социальные связи между людьми.

Однако тот долг, который мы описали выше, уже не является исчерпывающим в контексте современности. На смену конечному долгу, который бы выразился в размытой символической стоимости, приходит долг денежный [Канаев 2007]. Он четко очерчен, но вместе с тем и бесконечен. Последнее свойство долга появляется с масштабным использованием процента, который как раз имеет тенденцию быть бесконечным. Знали ли туземцы, о которых писали антропологи, о существовании процента и не использовали его сознательно или же они просто еще не дошли до этого? Точного ответа у нас нет, однако сама идея процента получила свое развитие довольно давно. Имеются записи о том, что процент применялся в Шумере, Вавилоне, Древнем Китае, Индии и других странах [Гребер 2016]. Модификация долга в виде бесконечного процента известна на протяжении длительного исторического периода. Однако почему именно в XXI веке люди начали активно беспокоиться из-за того, что наш совокупный долг растет и, ка-

жется, не имеет пределов? Разве мировой долг не должен быть в разы больше, если история процента берет свое начало так давно?

Как мы уже говорили ранее, с давних пор долг является способом поддержания межчеловеческих отношений и в самом долге, как некоем промежуточном состоянии обмена, нет ничего плохого. Однако долг присутствовал не только в качестве переходного состояния завершенного обмена. Долг также является чем-то, что до конца невозможно выплатить. Невозможно полностью выплатить собственный долг перед родителями*, как и невозможно полностью выплатить долг перед Богом, если мы говорим о христианстве. Единственный, кто смог это сделать, — это Иисус Христос, который искупил долги людей перед Богом и, таким образом, смог возвыситься до его уровня [Гребер 2016, с. 83]. Процент имеет схожую структуру. Так, например, Фома Аквинский утверждал, что если кредитор взимает с должника процент, то он пытается взимать плату с того, что не принадлежит никому, кроме Бога [Фома Аквинский 2002]. Это происходит из-за того, что процент неразрывно связан со временем, которое принадлежит только Богу [там же]. Таким образом, бесконечный долг проникает из сферы этического в сферу экономического. Безусловно, этому сопутствовало активное сопротивление церкви, которая пыталась ограничить его бесконечность.

При этом, если мы рассматриваем Европу, вовсе не стоит считать, что банковские проценты отсутствовали. Зачастую занятие ростовщичеством передавали

* В данном случае стоит оговориться, что истории известны примеры попытки рассчитаться с родителями за этот долг и стать равными, ничего не должными субъектами, однако это является скорее исключением, чем правилом.

евреям, запрещая им заниматься другими видами деятельности [Emeru 1959]. Это позволяло государствам иметь доступ к займам и при этом маргинализировать самих заимодавцев. Неудачи как внутренней, так и внешней политики списывались на евреев, которые якобы мешали достижению удовлетворительных результатов в той или иной сфере [Конопленко 2019]. Тем не менее с 600 до 1450 года под процент давали скорее ростовщики, нежели централизованные организации, которые могли бы привлекать капитал вкладчиков. Безусловно, церковь все еще оставалась одним из институтов, способных выдавать деньги под процент в некоторых случаях [Абдуллаева 2017], однако масштаб этой деятельности в Средневековье не сопоставим с тем, что разворачивается с началом «эпохи великих капиталистических империй», которая, согласно классификации Гребера, начинается с 1450 года.

Именно в это время контроль над экономикой постепенно ускользает из рук церкви и процент начинает легитимизироваться в Европе. Появляются первые полноценные банки, которые могли выдавать монархам займы на различные нужды. Это в том числе позволяет активно финансировать различные войны по всему континенту [Тилли 2009]. Дэвид Гребер вообще связывал необходимость создания государственных денег с войнами, которые вели империи [Гребер 2016]. Как мы уже упоминали, первые банки были частными и давали в долг именно монарху. То есть у государства не было бы такого института, который мог бы обеспечить привлечение средств вкладчиков для финансирования того или иного проекта (зачастую речь шла о войне). С 1584 года, когда был создан Banco della Piazza di Rialto, начинается эпоха создания государственных банков. Первым таковым с правом эмиссии бумажных денег стал Банк Англии, основанный в 1694 году. В это время долг оконча-

тельно закрепляется как нечто, что можно посчитать и за что может выплачиваться процент. Появляются объяснения процента, которые исходят из того, что деньги сейчас не могут быть сопоставимы с деньгами через некоторое количество времени и процент — это своеобразная плата за упущенные возможности использования этих денег заимодавцем. Долг становится переносом использования определенного вида благ в будущее.

Кроме того, происходит процесс обезличивания долга [Joseph 2014]. Если в Средние века деньги для широкого круга людей выдавались ростовщиками и была определенная персональная связь между долгом и тем, кто его дал, то с появлением банков начинается процесс обезличивания. Как мы говорили ранее, погашение долга потенциально ставит людей на один уровень. Однако что происходит, если взаимодействие происходит не между людьми, а между человеком и обезличенной организацией? Банк, будучи таковым, в любом случае останется неравным человеку. Это не означает, что он будет более или менее привилегированным, — само сравнение не является до конца легитимным. Когда у человека возникает долг перед чем-то неопределенным, он не понимает кому именно он должен деньги, то создается образ банка как акулы капитализма, которая пытается закабалить всех через процент.

В современном мире долг стал основой экономики. Обезличивание долга привело к созданию множества финансовых инструментов, включая деривативы, которые еще больше затрудняют понимание экономики людьми без специального образования. Если в «эпоху великих капиталистических империй» экономика постепенно начинала контролировать религию, то сейчас у нас есть основания предполагать, что экономика и стала религией [Беньямин 2012].

Подытожим краткую историю долга. Мы привели три исторических периода, предложенные Гребером в книге «Долг: Первые 5000 лет истории». Они выглядят следующим образом: Средневековье (600–1450), «эпоха великих капиталистических империй» (1450–1971) и настоящее время (1971—н. в.). За это время долг окончательно закрепился не только в поле морального, но и в поле экономического. Религия за это время полностью слилась с экономикой и потеряла над ней контроль. Долг перешел от личного к обезличенному, а также он стал основой современной экономики.

Краткая история отчуждения

Мы уже упомянули вскользь отчуждение, однако для анализа истории долга и истории отчуждения необходимо определить отчуждение более полно. В контексте экономики этот термин активно использовался Карлом Марксом в «Экономическо-философских рукописях 1844 года» (2010). Маркс приводил несколько форм отчуждения, однако мы сфокусируемся на отчуждении труда. А. В. Бузгалин, чье определение отчуждения мы берем в качестве центрального для нашей работы, обозначает отчуждение как общую философскую категорию, отражающую такой класс общественных отношений, «в которых генетически-всеобщие (на языке Ильенкова) атрибуты человека как родового существа «присваиваются» внешними силами и становятся чуждыми ему, господствуют над ним» [Бузгалин 2018]. Таким образом, отчуждение представляет собой такой процесс, в котором нечто, казалось бы, неотделимое от человека, оказывается ему не принадлежащим. Например, если мы воспользуемся отчуждением труда как иллюстрацией данного процесса, то, со-

гласно Марксу, при капитализме труд, раскрывающий родовую сущность человека, оказывается не принадлежащим ему [Маркс 2010]. Из-за того, что собственность на средства производства принадлежит капиталистам, работник вынужден продавать собственный труд, чтобы выжить — у него нет альтернативы воспользоваться средствами производства и работать на себя. В ситуации, когда у него нет доступа к средствам производства, у пролетария не остается другого выбора кроме как продать то, что, казалось бы, безоговорочно принадлежит только ему, — его труд.

Для определения исторической перспективы развития отчуждения необходимо выделить ключевые аспекты, на которых зиждется отчуждение: разделение труда, научно-технический прогресс и процент. Все три характеристики не являются исчерпывающими, но, на наш взгляд, именно они позволяют объяснить историю отчуждения, так как показывают ее с точки зрения устройства общества, способов производства и со стороны денежных обязательств. Разделение труда обусловлено как экономическими процессами, так и социальными. При большей степени разделения труда выделяются менеджеры — координаторы деятельности работников, которые могут влиять на весь процесс целиком, а не на отдельную его часть. Научно-технический прогресс, в свою очередь, улучшает технические возможности для большей эксплуатации рабочих. Наконец, процент также свидетельствует о развитости капитализма. Маркс говорит, что процент «резюмирует отчужденный характер условий труда по отношению к деятельности субъекта» [Маркс и Энгельс 1964, с. 519]. Для больших скачков в производстве нам необходимо обладать возможностью использовать сейчас средства, получение которых еще только ожидается в будущем. Именно процент позволяет достичь быстрого роста капиталистического производства.

Рассмотрим, как отчуждение труда разворачивалось на протяжении трех периодов истории долга, выделенных Гребером.

В Средневековье разделение труда существовало, однако говорить о мировой специализации было бы довольно опрометчиво [Буассонад 2010]. В Средние века все страны были аграрными и основным видом деятельности для большинства людей были земледелие и животноводство. Условия труда во многом зависели от природы — уровень научно-технического процесса не позволял всецело контролировать природные условия, и часто бывали неурожайные годы, которые из-за отсутствия общедоступных запасов регулярно провоцировали массовый голод [Гребер 2016]. При этом деятельность крестьян, трудившихся на полях, была довольно разнообразной. Безусловно, рутинные задачи, как, например, сбор урожая, присутствовали, но они носили сезонный характер.

Существовало ли отчуждение в период Средневековья? Да, однако в меньших масштабах. Труд не был подчинен распорядку, навязанному капиталистом извне. Безусловно, в некоторых ситуациях, если земля не принадлежала крестьянину, он был вынужден либо отдавать аналог оброка, либо отрабатывать аналог барщины, однако это не было тотальным контролем за всей деятельностью крестьянина. В средневековой Европе последние не были собственностью [Гребер 2016]. Они не успевали за циклироваться на определенном виде своих работ и при этом большая часть плодов его труда все-таки принадлежала ему [Кузьминов с соавторами 1989]. Рутинная работа крестьянина не является отчуждением потому, что человек выполняет весь производственный цикл, а средства производства принадлежат ему. Отчуждение возникает тогда, когда рабочая

сила является единственным товаром, который может предложить человек. При этом процент не был распространен повсеместно. Как мы помним из истории долга, ростовщики находились под пристальным вниманием церкви и государства. Получается, что на этапе с 600 по 1450 год отчуждение существовало, но оно проявлялось лишь частично. Да, во многих случаях средства производства (земля) контролировалась лендлордами, однако в силу низкого развития научно-технического прогресса, сильной зависимости от природных факторов при производстве, а также низком разделении труда, что позволяло человеку в рамках своей экономической жизни выполнять качественно разные задачи, отчуждение в Средневековье было незначительным.

С наступлением «эпохи великих капиталистических империй» отчуждение претерпевает значительные изменения. Почти за полтысячелетия, с 1450 по 1971 год, разделение труда значительно повлияло на отчуждение. Если в Средневековье большинство жителей Европы все еще жили в сельской местности, то «эпоха великих капиталистических империй» активно сопровождалась процессом урбанизации [De Vries 2006]. За это время преобладающим классом стал класс рабочих-пролетариев. С развитием способов производства начали появляться первые мануфактуры, а затем и конвейер. Это привело к возникновению деления на буржуазию и пролетариат. Последний не обладал ничем, кроме своего собственного труда, в то время как буржуазия обладала средствами производства. Из-за научно-технического прогресса, обеспечившего достаточный прирост еды при сравнительно меньшем объеме задействованных крестьян, пролетарии были вынуждены продавать свой труд, тем самым теряя связь со своей родовой сущностью по Марксу. Разделение труда также способствова-

ло спецификации деятельности человека и сводило ее к одному, порой механическому, действию. Человек, например, мог закручивать гайки в конструкции, поступавшей к нему по конвейеру. Ни о какой диверсификации задач, как в случае со средневековыми крестьянами, в данном случае и речи быть не может. Также процент, ранее сдерживаемый церковью, начал все больше обретать самостоятельность. Уже к XIX веку кредиты под процент не были редкостью во всех странах Европы.

В современности процессы, заложенные в «эпоху великих капиталистических империй», получили свое дальнейшее развитие. Разделение труда продолжает развиваться вместе со спецификацией отдельных задач, выполняемых людьми. С автоматизацией производства человек, согласно теории Маркса, отчуждается все больше, становясь не просто исполнителем отдельной задачи, но придатком машины [Маркс 2017]. В настоящее время сама структура устройства работы позволяет говорить об углублении отчуждения — зачастую многие задачи отдаются на аутсорс, что снимает множество обязательств с компании, отдающей выполнение той или иной работы «на сторону». Так, например, компании более не должны заботиться о том, чтобы обеспечивать работникам страховку, инвестировать в создание комфортных офисов, которые способствуют повышению продуктивности работников и так далее. Помимо этого, отчуждение в современности происходит не только явно, как, например, в случае с отчуждением продукта труда, но и скрыто. Глобализация и научно-технический прогресс привели нас к созданию интернета, который активно используется компаниями для извлечения прибыли. Однако зачастую основным источником контента являются сами пользователи интернета. Притом в момент, когда пользователь

выгружает продукт своего труда* в общедоступный интернет, он моментально отчуждается от него, так как в интернете размывается оригинальность и теряется ощущение того, что выложенное в открытый доступ принадлежит именно конкретному человеку. Однако это может происходить и скрыто от пользователя. Так, например, технология анализа больших данных позволяет компаниям использовать наши данные, которые мы когда-либо указывали в интернете, для навязывания нам тех или иных благ.

Что касается процента, то сейчас кредиты доступны повсеместно. Даже в самых консервативных странах, где религия пыталась предотвратить возможность выдачи денег под процент, появились специальные механизмы, которые де-юре заменяют процент на нечто соответствующее религиозным стандартам, но де-факто мало чем отличающееся от привычного процента [Kuran 1995].

Подытожим краткую историю развития отчуждения в рамках периодизации, предложенной Гребером для классификации долга. Разделение труда с течением времени только увеличивалось, достигнув в настоящее время самых больших показателей за всю историю. Научно-технический прогресс позволял модифицировать существующее производство и открывать фундаментально новое, однако из-за того, что он во многом начал делать акцент на автоматизации труда, отчуждение также увеличилось. Кроме того, что касается процента, то он также стал гораздо более доступным и распространенным, а современная экономика всячески побуждает людей брать кредиты и увеличивать совокупный мировой долг.

* Продукт труда имеет крайне широкое определение в этом контексте и включает любой контент, выкладываемый в социальных сетях.

Взаимосвязь долга и отчуждения

Даже описание краткой истории отчуждения от Средневековья до наших дней позволяет заметить, что она во многом пересекается с ранее приведенной краткой историей долга. На наш взгляд, истории отчуждения и долга тесно взаимосвязаны. Однако на данном этапе мы еще не можем заявлять о причинно-следственных связях — сам факт того, что и отчуждение, и долг имеют точки соприкосновения, еще не свидетельствует о том, что один из процессов стоит за другим. Мы полагаем, что история отчуждения предопределена историей долга и именно он является первоисточником тех изменений, которые происходили с отчуждением. Для иллюстрации этого мы приведем следующую схему (рис. 1):

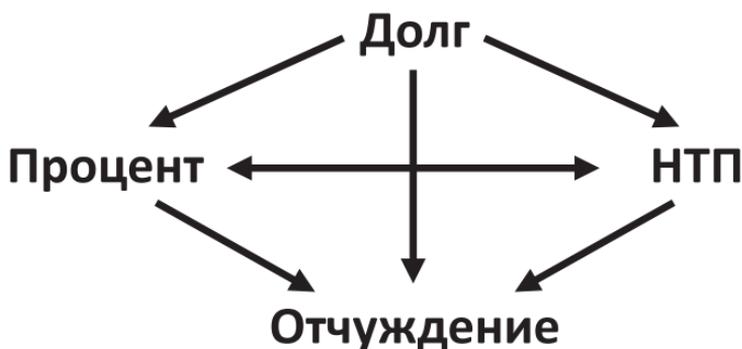


РИСУНОК 1. Долг, процент, отчуждение и научно-технический прогресс

Данная схема отражает взаимосвязь ключевых рассматриваемых элементов в рамках совместной истории долга и отчуждения. Долг является основой всей системы: он позволяет существовать проценту и научно-

техническому прогрессу, в то время как эти три фактора вместе способствуют отчуждению.

Почему долг является предпосылкой для существования процента? Дело в том, что процент не может существовать без концепции долга. Как мы показывали в первой части нашего исследования, процент в Средние века понимался как некоторая плата за время — за то, что принадлежит Богу. Однако если бы долг не существовал, то процент также был бы невозможен. Последний не является самым очевидным и прямым следствием существования долга, однако мы полагаем, что долг всегда находился в таком состоянии, что позволял требовать взамен определенного дара сейчас более статусный дар в будущем. При этом должна была сохраняться возможность обмена такими дарами, ценность которых в том или ином обществе является сопоставимой. В противном случае наступала бы зависимость от дарителя [Гребер 2016]. На наш взгляд бесконечная форма процента также исходит из природы долга. Изначально категории бесконечного долга были применимы к Богу, к родителям или к другим социальным взаимоотношениям, которым невозможно дать адекватную денежную оценку. Считалось, что пожертвование в церковь — это своеобразный бесконечный процент. Вкладчик отдавал навечно деньги на церковные нужды, за него вечно обещали молиться, и в итоге жертвователю рассчитывали на получение своих процентов на небесах [Гребер 2016]. Однако, как было показано в краткой истории долга, со временем долг экономический слился воедино с долгом морально-этическим, и это позволило заявить о легитимности бесконечного процента уже в рамках привычного экономического долга. Таким образом, процент, как и его бесконечная форма, оказывается напрямую связан с долгом.

В свою очередь, научно-технический прогресс также во многом обязан существованию долга. В отличие от процента, который практически всецело основан на долге, научно-технический прогресс лишь частично проистекает из долга. Для любой инновационной деятельности огромную роль играет множество факторов, которые, не ограничиваются социальным, демографическим и историческим контекстами, но включают их в себя. Однако наличие институтов, обеспечивающих доступ к экономическому долгу, также является существенным вкладом в научно-технический прогресс. В данном случае долг необходим для того, чтобы люди, у которых есть идеи, но недостаточно ресурсов, могли получить эти ресурсы путем установления долговых отношений. Поэтому на рис. 1 показана взаимосвязь не только долга и научно-технического прогресса, но и последнего с процентом. Если у одного человека наблюдается излишек, то он может отдать его под процент другому, который будет пытаться развивать инновационный способ производства. Помимо этого, если в обществе будет много эффективного производства, то накопленное богатство также можно будет потратить на выдачу долга под проценты. Эти два процесса действуют в обе стороны, что позволяет проценту способствовать научно-техническому прогрессу и наоборот.

В свою очередь, долг, процент и научно-технический прогресс оказывают прямое влияние на отчуждение. Рассмотрим их по порядку. Если мы исходим из понимания долга как промежуточного состояния обмена, то это означает наличие взаимности. С точки зрения получателя дара, это означает, что в будущем ему придется отказаться от продукта своего труда, чтобы вернуть образовавшийся долг. Дар необходимо принять, поэтому человек осознанно принимает это решение — отказаться от чего-то своего в бу-

дущем. Ответный дар еще не означает возникновения отчуждения, но закладывает фундамент для него. Это происходит вследствие того, что глобально присутствует понимание того, что определенная часть труда в будущем будет обращена на ответный дар. Из-за того, что в данном случае долг измеряется в символическом капитале, персонализирован и не имеет четких сроков погашения, это не будет считаться отчуждением по Марксу.

В случае с процентом происходит аналогичный процесс, но с возросшим эффектом отчуждения. Так как процент имеет потенциально бесконечную форму, то и отчуждение может захватывать все новые и новые сферы. Если человек не может полностью выплатить сумму по процентам, то они продолжают накапливаться даже если сумма займа будет погашенной уже давно. Любой экономический долг, взятый под процент, предполагает, что будет возвращено больше, чем человек занимал изначально. Следовательно, для этого человеку придется еще больше работать, а сам процесс работы отчуждает человека от его родовой сущности.

Наконец, научно-технический прогресс также способствует отчуждению. Именно он позволяет развиваться новым способам производства, которые, как мы показали в нашей краткой истории, направлены на автоматизацию и оптимизацию. Оба этих процесса означают, что действия, выполняемые человеком, либо сводятся к существованию в качестве придатка машины, либо оказываются настолько специфичны, что человек в какой-то степени сам уподобляется машине.

Таким образом, мы видим, что отчуждение во многом основывается на трех аспектах: долге, проценте и научно-техническом прогрессе, которые также взаимосвязаны. Это вовсе не означает, что этими тремя аспектами можно полностью охарактеризовать при-

роду отчуждения, однако история отчуждения и история долга имеют множество точек соприкосновения; мы полагаем, что долг является одной из основных причин существования отчуждения.

Заключение

Отчуждение не является пережитком прошлого. Несмотря на то что оно сильно изменилось с момента написания работы Маркса, оно никуда не исчезло. Пролетариат постепенно заменяется прекариатом [Тощенко 2010]. Однако и этот класс продолжает сталкиваться с отчуждением. Основная сила, препятствующая преодолению отчуждения, заложена в нас. Эта сила — долг. Он порождает те процессы, которые приводят к большему отчуждению, но сам не является по умолчанию капиталистическим конструктом. Слияние долга морально-этического с долгом экономическим позволило ему стать «извращенным обещанием», как его называет Гребер [2016, с. 402].

Можно ли бороться с отчуждением? Определенно да. Однако необходимо помнить, что эта борьба будет затруднена тем, что долг культурно заложен в нас и борьба с ним — это борьба с отношениями между людьми. Следовательно, нам остается только пытаться не дать отчуждению полностью перенять бесконечность долга, как это сделал, например, процент.

В данной работе мы проиллюстрировали взаимосвязь долга с отчуждением и показали, через какие каналы, помимо прямого взаимодействия, эта взаимосвязь реализуется. В дальнейшем это может быть использовано для выстраивания подробного анализа современного отчуждения в цифровой среде.

Литература

- Абдуллаева С. (2017). Роль христианской церкви в экономических процессах средневековой Европы // *International Innovation Research: Сборник статей VII Международной научно-практической конференции* / под общ. ред. Г. Ю. Гуляева. Пенза: МЦНС «Наука и Просвещение». С. 93–95.
- Беньямин В. (2012). *Учение о подобию. Медиаэстетические произведения*: сборник статей. Москва: Издательский центр РГГУ.
- Буассонад П. (2010). *От нашествия варваров до эпохи Возрождения: Жизнь и труд в средневековой Европе*. Москва: Центрполиграф.
- Бузгалин А. (2018). Человек в мире отчуждения: к критике либерализма и консерватизма. Реактуализация марксистского наследия // *Вопросы философии*. № 6. URL: http://vphil.ru/index.php?option=com_content&task=view&id=1990&Itemid=52 (дата обращения: 10.09.2021).
- Бурдые П. (2001). *Практический смысл*. Санкт-Петербург: Алетейя.
- Гребер Д. (2016). *Долг: первые 5000 лет истории*. Москва: Ад Маргинем Пресс.
- Гриценко А. (2012). Государственный внешний долг и макроэкономическая динамика // *Проблемы современной экономики*. № 1. С. 78–80.
- Жилина В. (2013). Проблема отчуждения в современных условиях // *Вестник Челябинского государственного университета*. № 38 (329). С. 7–10.
- Исаченко Н. (2018). Отчуждение как социальный феномен современного общества // *Вестник Челябинского государственного университета*. № 5 (415). С. 66–70.
- Канаев А. (2007). Происхождение кредита: от дарообмена к долговой кабале // *Финансы и кредит*. № 16 (256). С. 87–95.
- Конопленко А. (2019). Отношение к ростовщикам и ростовщической деятельности в обществе средневековой Западной Европы // *Экономическая психология: прошлое, настоящее, будущее*. Т. 4. № 4. С. 119–136.
- Кошарная Г., Мордешева Л. (2012). Проблема отчуждения труда работников в современных организациях // *Известия высших учебных заведений. Поволжский регион. Общественные науки*. № 1. С. 78–86.
- Кузьминов Я., Набиуллина Э., Радаев В., Субботина Т. (1989). *Отчуждение труда: История и современность*. Москва: Экономика.

- Малиновский Б. (2015). *Избранное. Аргонавты западной части Тихого океана*. Москва: Центр гуманитарных инициатив.
- Маркс К. (2010). *Экономическо-философские рукописи 1844 года*. Москва: Академический проект.
- Маркс К. (2017). *Капитал: критика политической экономии*. Т. 1. Москва: Эксмо.
- Маркс К., Энгельс Ф. (1964). *Сочинения*. 2-е изд. Т. 26. Ч. 3. Москва: Политиздат.
- Мосс М. (1996). *Очерк о даре. Общества. Обмен. Личность*. Москва: Восточная литература.
- Тилли Ч. (2009). *Принуждение, капитал и европейские государства 990–1992*. Москва: Территория будущего.
- Тощенко Ж. (2010). Теоретические и прикладные проблемы исследования новых явлений в общественном сознании и социальной практике // *Социологические исследования*. № 7. С. 3–6.
- Фома Аквинский (2002). *Сумма теологии*. Москва: Элькор-МК.
- Vaudrillard J. (2016). *Symbolic exchange and death*. London: Sage.
- De Vries J. (2006). *European Urbanization, 1500–1800*. London: Routledge.
- Emery R. (1959). *The Jews of Perpignan in the thirteenth Century. An economic Study based on notarial Records*. New York, NY: Columbia University Press.
- Joseph M. (2014). *Debt to Society: Accounting for Life under Capitalism*. Minneapolis: University of Minnesota Press.
- Kuran T. (1995). Islamic economics and the Islamic subeconomy // *Journal of Economic Perspectives*. Vol. 9. № 4. P. 155–173.

ETERNAL DEBT:
GLORIFYING ALIENATION

PAVEL TERESHCHENKO (e-mail: paul.anthony.tere@gmail.com).
MA in International Public Affairs, independent researcher.

The article analyzes the relationship between debt, alienation, interest and scientific and technological progress. To achieve this, the author uses a historical approach. The author uses the periodization developed by David Graeber regarding the history of debt development. The author applies three periods developed by Graeber to examine the historical development of debt, alienation, interest, and scientific and technological progress. Building the historical relationship between debt and alienation complements the discourse of research on

БЕСКОНЕЧНЫЙ ДОЛГ: ВОСПЕВАЯ ОТЧУЖДЕНИЕ

alienation with a historical perspective associated with debt. It enables future researchers to consider debt as the cornerstone of alienation and utilize this while designing ways to overcome it.

KEYWORDS: debt; alienation; interest; scientific and technological progress.

JEL: N90, Z13.

Институциональная природа счетных денег

Вячеслав Ушанков

Ушанков Вячеслав Анатольевич (e-mail: slawusha@gmail.com), кандидат экономических наук, доцент Санкт-Петербургского государственного университета (Санкт-Петербург, Россия).

В статье предпринимается попытка обоснования позиции, согласно которой роль первых денег исполняли счетные деньги. Методологический прием, имеющий широкое распространение в литературе, определение сущности денег через перечисление тех функций, которые они выполняют, имеет ограничения. Эти ограничения связаны с тем, что при таком подходе возможность существования денег ограничивается лишь выполнением ими функции посредника в меновых отношениях. На самом деле первые деньги не были посредниками в меновых отношениях, они исполняли другую функцию. Особенность первых денег состоит в том, что они выполняют функцию счета и учета, не обладая при этом своей внутренней ценностью. Выполняя функцию счета и учета, первые счетные деньги имели институциональную природу.

Ключевые слова: счетные деньги; распределительные отношения; натуральные единицы счета; институциональная природа денег.

JEL: B11, E40.

Несмотря на многочисленные исследования о сущности и природе денег, вопрос о том, что такое деньги, продолжает существовать, и это не случайно. Деньги представляют собой довольно сложное явление хозяйственной и общественной жизни людей. Более того,

вместе с изменениями хозяйственной жизни понятие денег меняется, наполняется новым содержанием. Но вместе с изменением понимания содержания денег меняются и подходы к описанию их сущности.

К проблеме выяснения сущности денег

Одним из широко распространенных методологических приемов выяснения того, что представляют собой деньги, служит прием определения их сущности через описание их функций, которые они выполняют. Функции денег довольно легко определяются. Отсюда определение денег. Обычно сторонники такого подхода к определению денег ссылаются на известное изречение Ф.А.Уокера: «деньги — это то, что выполняет функции денег» (с *англ.* Money is as money does)*. Иными словами, все то, что выполняет функции денег, и есть деньги. При таком подходе к определению сущности денег следует лишь назвать эти функции и дать их описание. Подобного подхода к выяснению сущности денег придерживаются многие авторы, причем принадлежащие к различным экономическим направлениям и школам. Различия между ними сводятся лишь к количеству перечисленных функций денег и их содержанию.

Наиболее полное перечисление функций денег дает К.Маркс. Рассматривая эволюцию форм стоимости, Маркс выходит на определение одной из важнейших в его рассуждениях функций денег — меры стоимости. Важнейшая потому, что она приобретает принципиальное значение для определения не толь-

* Money: meaning and functions of money — discussed! [Electronic resource]. — Mode of access: <http://www.economicdiscussion.net/money/money-meaning-and-functions-of-money-discussed/597>.

ко природы, но и сущности денег. Выполняя функцию меры стоимости, деньги раскрывают свою товарную природу. Деньги — это особый товар, который в своей «внутренней» стоимости способен стать мерилем других товаров [Маркс 2015, с. 148].

Определение сущности денег через их функции, с тем или иным акцентом, дают авторы, принадлежащие к другим школам и направлениям. Но в отличие от определения, данного Марксом, самой важной функцией денег у них объявляется то, что они служат средством обмена. «Средство обмена, обычно используемое в качестве такового, — пишет Л. фон Мизес, — называется деньгами» [2008, с. 373], или, как замечает Э. Дж. Долан, «деньги — это средство оплаты товаров и услуг, средство измерения стоимости, а также средство сохранения стоимости» [1991, с. 12].

Научная состоятельность такого методологического приема к определению сущности денег не вызывает сомнений. Вместе с тем следует заметить, что такой прием выяснения сущности денег через то, что они делают, то есть через их функции, имеет существенный недостаток. Такой подход к определению сущности денег априори исходит из того, что деньги представляют собой инструмент или средство осуществления обмена в меновых отношениях. «Деньги есть общепризнанное средство обмена» [Хайек 1996, с. 98]. Деньги есть средство обмена, причем не важно, исполняют ли деньги роль «искусственной социальной условности» [Самуэльсон 1964, с. 64] или выступают «универсальным средством оплаты товаров и услуг» [Энциклопедия Американа 1988, с. 349]. Наиболее четко об этом выразился К. Поланьи:

Согласно формальному определению, деньги — это средство опосредованного обмена (indirect exchange)... Какое-либо иное использова-

ние денег — это лишь несущественные вариации их функционирования как средства обмена [2007, с. 66].

Иными словами деньги, независимо от того, в какой форме, наличной или безналичной, априори выступают как посредник в осуществлении меновых, торговых отношениях. Деньги — посредник в товарно-денежных отношениях. Это довольно верная характеристика денег.

Вместе с тем такой подход к определению денег может объясняться тем обстоятельством, что явление денег с самого начала ограничивается историческими рамками хозяйств, построенных на товарно-денежных, торговых отношениях, в которых деньги играют роль посредника в обслуживании актов товарно-меновых отношений. Деньги — посредник в обмене между субъектами, преследующими свой частный интерес, становится аксиоматическим утверждением в понимании хозяйственной жизни вообще. История развития обществ не знает «не меновых» хозяйственных отношений. Хозяйственные отношения всегда в той или иной мере имеют меновой опосредованный характер. И этим опосредствующим элементом выступают деньги.

Но всегда ли хозяйственные отношения в человеческом обществе имели опосредованный характер? Соответственно, всегда ли деньги выступали посредником в обмене? Или, по-другому, мог ли существовать обмен жизненными средствами в хозяйствах, без денег как посредника в меновых отношениях? Отсюда еще один вопрос: а могли ли существовать некие средства, обеспечивающие обмен, но не выполняющие функцию посредника? В поиске ответов на эти вопросы заключается тема первых денег, которые не выполняли функции посредника в торговых отношениях.

К началу зарождения хозяйственных отношений

Для ответа на вопрос о том, что могло выполнять функции первых денег, следует обратиться к рассмотрению хозяйственных отношений в архаических обществах. Очевидно, что сложить однозначное представление о содержании хозяйственной жизни первобытных обществ 10–12 тысяч лет назад довольно сложно. Самыми верными свидетельствами о содержании жизнедеятельности людей в тех обществах, конечно, будут археологические исследования. Археологические свидетельства материальной культуры жизни людей того времени могут дать нам основания для предположений о том, что могла представлять собой тогдашняя хозяйственная жизнь людей [Алексеев 1984].

Не вызывает сомнений, что на самых ранних этапах истории существовали меновые внутрихозяйственные отношения между отдельными субъектами хозяйственной. Это был обмен деятельностью и ее результатами между членами сообщества.

Как показывают исследования древних первобытных обществ, древние общинные образования в силу причин естественного характера жили изолированно. Замкнутость, для этих сообществ — это способность существовать вне зависимости от ресурсов извне. Хозяйство, представляло собой замкнутую систему совместных отношений по производству, распределению, обмену и потреблению жизненных благ.

Существуют веские основания предполагать, что в локальных архаических хозяйствах обмен деятельностью и ее результатами в пределах общины осуществлялся без какого-либо формального посредника, имеющего физическую форму, то есть без денег. В древних хозяйствах не могло быть посредников-

денег, поскольку там не могло существовать опосредованных меновых отношений. В противном случае мы перенесем в древность современные представления о меновых, торговых отношениях.

Распределительные и меновые отношения в обмене

Для того чтобы определить содержание обменных процессов, осуществляемых в ранних обществах, попробуем выделить два понятия, за которыми стояли бы качественные характеристики этих процессов. Это «меновые отношения» и «распределительные отношения», которые по-разному раскрывают содержание меновых процессов.

Распределительные отношения

Под распределительными отношениями в общественном образовании следует понимать такой процесс, который обеспечивает обмен в рамках всего общественного образования, общины, взятой в целом. Распределительные отношения осуществляют распределение совокупного натурального продукта между всеми участниками хозяйства в согласии с основной хозяйственной задачей — обеспечение жизни и выживания всех участников сообщества.

Таковыми общепринятыми нормами распределения, выполняющими роль посредника, во внутривозрастных отношениях могли быть социальные, религиозные и другие нормы распределения — статус, нормы выживания, обычаи и т. д.

Это были социальные нормы, обеспечивающие жизнь и выживание всего сообщества. Например, справедливость в распределении. В сообществе, функционирующем как единое целое, справедливость в распре-

делении имела «естественный» характер. Некоторые авторы настаивают на том, что в основе распределения жизненных благ лежало равенство. Такое предположение о равенстве строится на абстрактных рассуждениях об общественной, общинной (коммунистической) собственности [Матузова и Малько 1997, с. 48].

На самом деле с точки зрения воспроизводства справедливость в таком сообществе предполагает неравенство при распределении жизненных благ. Именно неравенство в распределении обеспечивает сохранение (воспроизводство) всего сообщества с сохранением в нем социального статуса всех членов сообщества. Справедливость неравенства во внутрихозяйственном распределении (нормативность) жизненных благ неотделима от реальности жизнедеятельности в древних сообществах.

Итак, из рассмотрения содержания распределительных отношений в первобытных обществах на заре общественной (общинной) хозяйственной деятельности можно заключить, что роль посредника в распределительных отношениях, обеспечивавших обменные процессы, выполняли социальные нормы. Речь идет о нормах распределения совокупного продукта, которые обеспечивают воспроизводство всего сообщества, взятого в целом со всеми присущими ему социальными, культурными, религиозными особенностями.

Меновые отношения

Совсем другое содержание получает понятие «меновые отношения». Меновой обмен, по своей сути, представляет собой более локальное явление, чем распределение. Меновой обмен — мена, предполагает встречное движение вещей между заинтересованными участниками обмена. Заинтересованность участников в обмене способна породить такие явления, как требования возмездности и срочности.

Принципы срочности и возмездности в меновых отношениях становятся существенными обстоятельствами, требующими появления количественных (ценностных) оценок в обмене. Что, в свою очередь, привело к появлению универсальных, формализованных счетных единиц, которые впоследствии стали играть роль посредника в меновых отношениях.

Не вызывает сомнений, что в древних, архаических обществах на заре человеческой истории существовал обмен деятельностью и ее продуктами [Брюсов, 1957, с. 20]. Такой вывод следует из свидетельств о существовании в первобытных обществах внутрихозяйственного разделения деятельности и не только по половозрастному признаку. Истоки разделения труда уходят в глубокую древность. Современной исторической наукой общепризнано, что в первобытных общинах существовал внутрихозяйственный и межхозяйственный обмен деятельностью в силу разделения труда еще в неолите (VIII–VI тыс. лет до н. э.).

Очевидно, что переход от распределительных отношений к меновым связан с усложнением внутрихозяйственных отношений в общественных образованиях в процессе углубления разделения труда в хозяйственной жизни. Углубляющаяся специализация деятельности внутри хозяйств и специализация самих общин в эту эпоху первого крупного разделения труда, очевидно, усилила процессы продуктообмена как внутри общин, так и между ними. Второе крупное разделение труда (последняя треть III тысячелетия до нашей эры) привело к выделению из состава племен с производящей экономикой скотоводческого уклада.

Специализация общин, произошедшая после второго крупного разделения труда, создает предпосылки для межобщинного обмена. Вопрос заключается лишь в том, были ли эти отношения обмена опосредованные тем, что потом получило название денег,

или все же речь идет о таких внутривладельческих отношениях обмена деятельностью и ее продуктами, которые осуществлялись без посредника? Очевидно, что разделение труда развивает обмен и делает необходимым появление физического посредника в меновых отношениях.

Процесс появления денег как посредника в распределительных отношениях — это не одновременный акт. Это сложный процесс, который занимает большой период развития хозяйственных отношений. В процессе смены отношений внутривладельческого распределения срочными и возмездными отношениями обмена, или меновыми отношениями, которые предполагали встречное движение продуктов (мена, обмен), появились деньги как посредник в этих отношениях. Здесь справедливыми становятся слова Маркса — «Разделение труда превращает продукт труда в товар и делает поэтому необходимым его превращение в деньги» [Маркс 2015, с. 160].

Первые деньги — средство счета в распределительных отношениях

Счет и учет

При всей синкретичности жизни в древнем обществе все же можно выделить специальную подсистему взаимоотношений между людьми. Речь идет о хозяйственной сфере, которая имеет отличительные признаки, отделяющие ее от других таких элементарных сфер жизнедеятельности — власти, искусства, культура. Хозяйственная сфера жизнедеятельности человека отличается от других сфер тем, что выполняет только ей присущую функцию — обеспечение жизни и выживания всех членов сообщества наиболее эффективным способом (расчетливо).

Отношения распределения деятельности и ее результатов (продуктов) между всеми участниками общественной жизни выполняли эту функцию в соответствии со сложившимися в то время хозяйственными отношениями. Распределение в архаических обществах осуществлялось в соответствии с принятыми там социальными и другими нормами. Социальные нормы как посредник в хозяйственных отношениях. Но отношения распределения даже в соответствии с социальными нормами должны иметь средства для осуществления этого процесса. Самыми простыми и очевидными средствами обеспечения распределительных отношений могли быть стать средства учета распределяемого имущества. Считать, определять количество или величину распределяемых благ — это то, что соответствует хозяйственной деятельности.

Счетные единицы

Счет и учет — это измерение (мера) величины чего-либо. Если не брать совсем простые случаи измерения: «больше», «меньше», то измерение — это всегда количественное выражение величины. Но, количество — это всегда единицы счета. Количесвом может называться такое множество, которое предполагает свое разделение на равные части, которые и поддаются счету. Отсюда следует, что всякий счет представляет собой повторение единиц счета до тех пор, пока в итоге не будет получено некое числовое значение этих счетных единиц, то есть величины. Из сказанного следует, что для осуществления счета и для измерения чего-либо необходимы единицы счета. Основной характеристикой которых будет их одинаковость. С обеспечением счета и учета распределяемых благ связано появление средств счета — счетных единиц. Счетные единицы, выполняющие функцию счета и учета, стали основанием для предположения о том,

что это и были первые протоденьги. Во всяком случае, счетные единицы как явление хозяйственной жизни появляются задолго до того, как появляется посредник в меновых отношениях — полноценные деньги.

Натуральные единицы счета

Очевидно, что в начале человеческой истории мерную функцию (мера) или функцию счета могли выполнять натуральные единицы счета. Это должны были быть предметы, которые обладали бы свойством одинаковости и были бы широко доступны. Самыми простыми единицами счета могли быть счетные палочки или насечки на дереве. Что, наверное, и было первым средством счета и учета.

В разных странах и в разное время роль счетных единиц исполняли различные натуральные предметы. Бобы какао в Древней Мексике; перец, листья табака в других областях Америки; жемчужины на островах Океании, а также соль, чайные плитки, ракушки, зубы дельфинов (на Соломоновых островах) и т. д. В России и Канаде роль счетных единиц играли шкуры животных. Можно и дальше приводить примеры натуральных форм счетных единиц, используемых в архаических обществах. Важно лишь отметить, что все они при всем их многообразии обладали свойством одинаковости и были общедоступными предметами.

Примером общедоступности натуральных единиц счета могут служить единицы длины в России. Мерой длины были локоть, косая сажень, дюйм, шаг. Мерой земли, с которой платили дань, были плуг, соха. Мерой веса — гривна, пуд. Другим примером общедоступности средств, игравших роль счетных единиц, можно назвать ракушки каури. Это были однообразные небольшие ракушки, получившие широкое распространение в качестве счетно-денежных единиц по всему миру — в Китае, Африке, Японии, Индии и других

странах. Это неудивительно, ибо они были одинаковыми и в этих местах они были в изобилии. Ракушки каури в качестве счетных единиц имели хождение вплоть до Новейшего времени. Раковины каури находят при раскопках в новгородских и псковских землях. В безмонетный период Древней Руси каури служили счетными деньгами и носили название ужовок, жерновков, змеиных головок. В Сибири каури сохраняли функции денег до начала XIX века.

Искусственные единицы счета

Наряду с натуральными предметами, исполняющими роль счетных единиц, в качестве единиц счета в ранний период существования общественных образований использовались искусственные вещи — изделия из глины, металла, кожи и шкуры животных и т. д. Одними из самых первых рукотворных предметов, выполнявших функцию счета, по всей видимости, стали глиняные знаки, обнаруженные в древних Шумерах.

Месопотамия, расположенная в долине рек Тигра и Евфрата на территории современного Ирака, относится к ранним цивилизациям. Расположенный в бассейне этих рек (Междуречье) народ жил с высокой культурой развития. Это были Шумеры со столицей в городе Ур. Сохранились источники, свидетельствующие о достаточно развитых хозяйственных отношениях этого народа (законы Хаммурапи). Тексты повествуют о существовании довольно развитого учета — рабочей силы, объема работ, продуктов, имеющих на складах и т. д. [Муравьева 2012, с. 56–60].

Если судить по письменным источникам древности, то уже в III веке до н. э. в Шумерах использовались глиняные таблички. Но эти глиняные знаки не были посредниками в меновых отношениях. Они использовались как счетные единицы при распределении имущества между участниками хозяй-

ственной жизни, то есть выполняли функцию счета и учета.

Это была целая система условных глиняных знаков, при помощи которых обозначали величину (количество) определенного имущества. Это — небольшие фигурки разной формы, каждая из которых обозначала то или иное количество и вид имущества. Например, конусовидный жетон обозначал небольшую меру ячменя; сфера — в несколько раз большее его количество. Некоторые жетоны со временем приобрели форму, схожую с видом товаров, которые они обозначали (кувшины, живность, предметы одежды и пр.).

Керамические изделия Древнего Двуречья долгое время сохранили свое функциональное назначение. К середине IV века до н. э. число «номиналов» достигло 300 фигур. Назовем эти глиняные знаки первыми свидетельствами существования протоденег как счетных единиц.

Таким образом, еще до появления монет как посредников в меновых отношениях существовали определенные натуральные предметы, которые могли выполнять назначение — служить единицей счета в системе обмена или уплате налогов. В Древней Месопотамии торговые сделки пересчитывались на сикли, представлявшие собой соответствующее количество ячменя или серебро, но отсюда не следует, что платежи действительно производились ячменем или серебром; скорее, общая единица расчета позволяла проводить взаимозачет долгов, образовавшихся в результате бартерного обмена [Cottrell et al 2007, p. 227].

Металлические счетные единицы

Особое значение в истории счетных единиц приобретают металлические изделия. Особенность их роли в распределительных или меновых отношениях связа-

на с тем, что они в последующем составили натуральное основание для появления полноценных денег. Золото, серебро, медь — металлы, ставшие олицетворением денег. Однако до того, как металл стал использоваться как полноценные деньги со своим внутренним ценностным содержанием, металлические изделия долгое время использовались как единицы счета. В разное время наконечники стрел, однородные металлические пластины или жетоны, изготавливаемые из золота, серебра, меди, исполняли роль материала для счетных единиц.

К самым ранним металлическим изделиям, выполнявшим назначение быть счетными единицами, относятся золотые пластины, найденные на территории царства Лидия в Малой Азии и датированные VII веком до н. э. Ценность этих «монет» не определялась ценностью золота, из которых они были сделаны. Функцией которую выполняли эти золотые пластины, была функция счета [Пономарев 2005, с. 2]. Это были счетные единицы хорошего качества в смысле их сохранности.

Широкое распространение знаки из металла получили в Древнем Китае. В качестве счетных знаков здесь использовались металлические знаки самой разнообразной формы и из самых различных материалов. Древнейшая китайская металлическая монета имела форму тонкой бронзовой лопатки. Около 300 года до н. э. в Китае были в ходу металлические знаки в виде бронзовых колокольчиков.

Свидетельством того, что металлические знаки вначале выполняли функции счета, может стать то обстоятельство, что большинство этих металлических знаков не имело своего постоянного веса и размера. Например, таланты, о которых пишет Гомер в «Илиаде» и «Одиссее», бывшие в ходу около I тысячи лет до н. э. на северо-западе Малой Азии, представ-

ляли собой золотые диски диаметром от 5 до 7 сантиметров и, что важно, они не имели стандартного веса. Этот факт наводит на мысль о том, что металлические жетоны не имели своего ценностного наполнения. Иными словами, эти золотые диски скорее использовались как единицы счета, чем играли роль денег [Воронов 1986, с. 30]. Ни о каком внутреннем сохранении ценности здесь речь не идет, во всяком случае на раннем этапе их существования.

Меры веса — счетные единицы

Другим, более сложным, вариантом существования счетных единиц были натуральные предметы, которые представляли собой меры веса, включая меры веса металлов. Но меры веса служили для того, чтобы представлять собой счетные единицы, при помощи которых выполнялся счет и измерение количества вещей.

Большинство таких счетных единиц получило свои названия от названия меры веса. Одна из древнейших известных мер веса, выполнявших назначение счетной единицы, была «мина». Название мины происходит от вавилонского «мана» — считать. Мина как счетно-денежная единица существовала в Шумерах в III тысячелетии до н.э. В дальнейшем была унаследована Вавилоном и получила распространение по всему Древнему Востоку (Древнему Египту, в Хеттском царстве, Древней Греции, Финикии, Иудее, Ассирии). Весовое значение серебра в мине различалось в разные периоды и в разных регионах, обычно это было в пределах 400—650 граммов. Несмотря на то что мина была крупной счетно-денежной единицей в разных государствах, нигде и никогда она не чеканилась в виде монеты.

Другой получившей широкое распространение весовой единицей, исполнявшей роль счетной единицы,

была лира. Латинское слово *libra* (весы, равновесие) означала единицу меры веса, служащей для измерения массы серебра. Лира — мера серебра на английском стала означать фунт стерлингов (серебра). Монета *soldo* получила свое название от *soldato* (солдат), потому что в Древнем Риме с наемными воинами расплачивались мешочками соли (*solidus*). Гривна тоже когда-то была весовой величиной.

Для исполнения роли счетной единицы, меры веса, получившей название мина, лира, сикель или шекель, важным становится не чистый вес содержащегося в них драгоценного металла, а тот номинал, знак, который она представляет. Наличие более мелких номиналов, из которых состоит мера веса (как это было в случае мины — меры веса) лишь значительно облегчает счет.

Подтверждением того, что металлические знаки, оторвавшись от своего ценностного, металлического содержания, могли выполнять функцию счетных денег, служит факт использования металлических жетонов в хозяйственной жизни средневековой Европы. Такими металлическими знаками, не имевшими своей внутренней ценности, но используемыми как средство ведения хозяйственных расчетов, были счетный пфенниг в Германии, жетон во Франции и счетная фишка в Англии. Существование фишек, жетонов, счетных монет связывают с выполнением ими исключительно функции счета, который производился при помощи специальной счетной доски, где они заменили камешки или фишки из костей [Пушкарев 2003, с. 228].

Превращение меры веса, представленной металлом, в денежную единицу произошло позже с развитием меновых отношений. Тогда, когда денежная единица, выражая собой внутреннюю ценность металла, становится посредником в меновых отношениях.

Первые деньги—счетные деньги

Деньги как запись

Численное обозначение количества вещей, подлежащих учету, породили особую форму существования счетных денег — запись их количества. Запись количества счетных единиц превращает счетные деньги в нематериальную виртуальную форму их существования. Слово «банкнота» (от *англ.* bank note — банковская запись) прямо указывает на возможность существования денег как запись. Но деньги как запись — это прежде всего счетные деньги, которые непосредственно не участвуют в движении вещей. Но все же запись — это не просто число. Это число определенных счетных единиц, которые обязательно имеют свое название.

Название единицам счета, отражаемым в записях, изначально давали натуральные и искусственные вещи — ракушки каури, мина, лира, фунт, soldo, гривна и т. д. Каждая из этих счетных единиц имела физический вид. В этом смысле бумажные деньги, перенявшие свое название от реально существовавших счетных единиц, тоже можно при определенных условиях считать представителями счетных денег.

Записи денег, виртуальные деньги, которые никогда не существовали физически, появились совсем недавно. Например, специальные права заимствования (SDR) — виртуальное платежное средство, эмитируемое МВФ, которое имеет только безналичную форму своего существования в виде записей на банковских счетах.

Первые упоминания о записях прихода и расхода вещей, представляемых в счетных единицах, относятся к IV веку до н. э. в цивилизациях Междуречья (ассирийская, вавилонская и шумерская цивилизации). Учет количества вещей происходил здесь в виде

простой записи: сколько одного продукта прибыло и сколько убыло. Это были записи обмена одних вещей на другие. Счет мог производиться как в натуральных единицах, так и с использованием специальных счетных единиц.

От счетных единиц к монете

Исторически счетные деньги, обслуживающие отношения распределения в обществе, появились раньше, чем деньги, которые человек в последующем стал использовать в качестве посредника в меновых отношениях. Но обстоятельства применения счетных единиц исторически менялись. Одно дело единицы счета в распределительных отношениях первобытного натурального хозяйства и совсем другое — использование счетных единиц в системе распределения деятельности и ее продуктов в древних царствах, например Вавилоне и Египте. В развитых обществах или древних царствах существовала более сложная система хозяйственных отношений между их участниками: работниками, собственниками, арендаторами и арендодателями, налоговыми органами и плательщиками налогов.

Исследователи отмечают интересную особенность общественной жизни в древнем Вавилоне в III тысячелетии до н. э. В общественной жизни учетно-хозяйственными отношениями были охвачены практически все хозяйственные события.

Например, на каждое плодовое дерево в момент его посадки заводилась глиняная табличка, как бы паспорт дерева, его учетная карточка. Каждый год часть поверхности таблички смачивалась и на ней фиксировалось количество плодов, собранных с дерева в текущем году. С годами дерево старело, сборы падали, и приходил момент, когда компетентное должностное лицо об-

рашалось в вышестоящую инстанцию с предложением вышеуказанное дерево срубить. Разрешение срубить записывалось на той же табличке. Текст на ней завершался утверждаемой свыше справкой, свидетельствовавшей, что ствол упомянутого дерева поступил на склад [Воронов 1986, с. 86].

Свидетельства этих сложных и многообразных меновых отношений можно найти в Законах Хаммурапи (1700 г. до н. э.). Конечно, хозяйственные взаимоотношения: возмещение ущерба, долгов, выплата процентов и т. д. — большей частью осуществлялись при помощи натуральных продуктов (в основном в зерне), которые могли не иметь своего внутреннего ценностного содержания.

Счет и расчет в развивающихся хозяйственных взаимоотношениях осуществлялся с использованием мер серебра — ману и шиклу, имевших изначально значение счетных единиц. Процесс наполнения счетных единиц их ценностным содержанием происходил постепенно, по мере развития самих меновых отношений.

Монета по Аристотелю

Наглядно процесс превращения денег из счетной единицы в монету показан в рассуждениях Аристотеля. В «Политике», давая описание «ойкономики» как искусства достижения «истинного богатства», Аристотель говорит о взаимоотношениях между хозяйствами, не требующими наличия посредника — денег. Это ситуация «обмена излишками», которая случалась периодически между ойкосами, в греческом полисе. Обмен излишками это тогда, когда отдается то, чего было много, а берется то, чего недостает. Такой обмен не предполагает процедуру сопоставления, соизмерения и формального (денежного) выражения ценности

обмениваемого имущества. Обмен излишками вовсе не является «искусством наживать состояние», ведь назначение этого обмена восполнять то, «чего недостает для согласованной с природой самодовлеющей жизни», то есть для обеспечения «истинного богатства» [Аристотель 1983, с. 37]. Совпадение возможностей и потребностей в этом обмене излишками — всего лишь частный случай обмена.

Монета, по Аристотелю, появляется как удобный посредник в обмене. Причем этот посредник вначале выступает всего лишь как средство обеспечения «справедливого» обмена, то есть без «наживы». Монета здесь изначально всего лишь условный знак (номисма), который не имеет своей внутренней ценности, а служит всего лишь формальным средством обеспечения справедливого обмена («справедливой цены»).

Номиналистическая теория денег связана с представлением, что деньги представляют собой условные знаки, лишенные внутренней стоимости. По словам Аристотеля

Всё, что участвует в обмене, должно быть каким-то образом сопоставимо <...> по общему уговору появляется монета; оттого и имя ее «номисма», что она существует не в природе, а по установлению [1983, с. 156].

Удобство монеты как посредника в обеспечении обмена объясняется тем, что она в отличие от других товаров «более тяготеет к постоянству». Монета, как и другие вещи, претерпевает изменения в своей ценности, но ее удобство в том, что она в меньшей степени подвержена изменению. Так «по общему уговору» для осуществления потребности связать все интересы вместе в обращении появляется монета. Дальнейшее развитие меновых отношений на прин-

ципах возмездности и срочности потребовало своей формализации, которая выразилась в превращении монеты в деньги. Из потребности в согласовании (мэтчинг) обмена широкого круга вещей рождается монета как универсальный физический посредник в меновых отношениях.

Подарки

Превращение счетных единиц в полноценные деньги, обладающие своей внутренней ценностью, происходило постепенно, по мере развития и усложнения меновых хозяйственных отношений. Можно предположить, что большая часть истории хозяйствования была историей сосуществования счетных денег с деньгами, которые выступали в роли посредника в меновых отношениях. Счетные деньги могли сосуществовать параллельно с меновыми деньгами.

Одаривание подарками имеет длительную историю. В древнем Шумере (III тысячелетие до н.э.) при покупке рабов оплату производили несколькими частями. Одна из них исчислялась в зерне, меди или серебре (меновые отношения). Другая часть состояла из вещей, продуктов питания и напитков и называлась подарком. Ценность такого подарка могла быть незначительной. Но обычай давать приплату в виде подарка, сопутствующего купле-продаже, просуществовал долгие тысячелетия. Этот обычай сохранился и существовал еще в Древнем Риме. Подарок сопутствовал любой крупной сделке и назывался *stips* — даяние, пожертвование или взнос.

Интересно, что слово «гостинец» — подарок, в русском языке берет свое начало от слова, обозначающего купца, — гость. Действительно, в Древней Руси в городах, в которых купцы собирались вести торговлю, обязательно преподносили городской власти «гостинец» в знак доброжелательности и лояльности.

Обмен подарками считается ритуалом и является знаком доброжелательных отношений между участниками меновых отношений. Здесь очевидна нормативная взаимная обязанность, направленная на обеспечение воспроизводственных отношений обмена. Тот, кто не участвует в обмене подарками, тот не стремится к сохранению дружеских отношений.

Взаимные дары осуществляются добровольно, хотя на самом деле они строго обязательны, уклонение от них грозит войной. Ритуал взаимного одаривания, называемый индейцами Северо-Западной Америки *потлач*.

Таким образом, одаривание подарками можно считать одним из рудиментов существования счетных денег, при помощи которых нормативно решались воспроизводственные задачи закрытых обществ. Подарки не имели своего точного ценностного выражения, были символом дружелюбия и бескорыстия и исполняли роль поддержания социальной связи. Но институт подарков сосуществовал с хождением денег, исполнявших роль ценностного посредника в меновых отношениях.

Счетные деньги — социальный институт

Первые деньги, или счетные деньги, возникли как средство счета и учета в обеспечении взаимного обмена деятельностью и ее результатами в рамках архаических общественных образований. Будем исходить из того, что функция счетных денег в обеспечении распределения непосредственным или неопосредованным способом шире, чем функция, свойственная деньгам как посредникам, обеспечивающим меновые отношения на принципах возмездности и срочности. В силу своей общественной природы счетные единицы служат не только средством неопосредованного распределения деятельности и ее результатов в об-

щественном образовании, но и в силу этого исполняют целый комплекс общественных функций. Одним из проявлений такой общественной функции, исполняемой счетными деньгами, может быть названо исполнение социальных обязательств членов сообщества перед властью в виде налоговых платежей.

Регулярные сборы, дань в древних общественных образованиях наряду со своими фискальными задачами решают задачу обеспечения социальных взаимоотношений и коммуникаций между властью и населением. Для населения подношение дани, сборов, прежде всего, есть исполнение своих социальных обязательств перед властью. Для власти же это имеет значение подтверждения своих властных полномочий.

В свою очередь, власть, государство, принимая счетные деньги в уплату платежа ему причитающегося, обеспечивает обязательность хождения этих знаков. Доверие к деньгам, выпускаемым властью и не имеющим своего внутреннего ценностного наполнения, исходило из определенных установлений со стороны самой власти. Например, таким источником доверия к деньгам могли быть различные символы власти на монетах [Аглиетта и др. 2006, с. 69].

Позже, когда деньги начинают приобретать статус полноценных денежных знаков, власть не отказывается от своего влияния на денежное обращение. Она подтверждает свою власть и доверие к ним тем, что ставит свой знак, печать на деньги. Подтверждая тем самым институциональную природу первых денег.

В самых древних обществах подношения власти имели натуральную форму. И, лишь с развитием хозяйственных отношений, тогда, когда взаимоотношения между населением и властью приобрели опосредованный характер, средства учета в счетных единицах превратились в деньги.

В Шумерах население отдавало правителю часть своих доходов, задолго до того, как появились первые монеты, исполнявшие функцию полноценных денег. Исчисление величины платежа, причитающегося власти, осуществлялось в минах, сиклях, то есть мерах веса серебра, которые, по сути, не были деньгами, а были своеобразными металлическими единицами счета. Иными словами, средства учета, выполняя функцию платежа, не всегда предполагали наличие своей внутренней, количественно определенной (денежной) ценности, а представляли собой лишь инструмент исполнения социальных обязательств перед властной иерархией. Власть признает деньгами все, что она признает таковыми и принимает как платежное средство во взаимоотношениях с населением. То, чем государство согласно принимать налоги, подати и прочие платежи, — то и есть деньги [Кнапп 2017, с. 97].

Есть еще одна теория денег, в которой деньги рассматриваются как социальный институт. Зиммель считал, что деньги представляют собой фундаментальную норму, которая выражает социальную связь, возникающую между участниками хозяйственных отношений [1999, с. 351]. Власть не имеет непосредственного отношения к деньгам. Она всего лишь обеспечивает оптимальное функционирование их в рамках всего хозяйства [Верховин 2001, с. 27].

На Руси в качестве единицы счета использовали понятие «сорок» — перевязь шкурок пушного зверя. Причем количество шкурок в связке было не одинаковым. Количество их разнилось в разные периоды времени. Выражение «сорок сороков» в русском языке не имело точного количественного выражения. Этим выражением обозначалась величина, превосходящая всякое воображение. Это было очень много, больше, чем пальцев на теле человека — 40.

Экономическая этимология

Итак, налоговый платеж счетными единицами предстает как норма хозяйственного поведения, регулирующая взаимоотношения между властью и населением. Счетные единицы исполняют функцию социальных обязательств.

Подтверждением того факта, что счетные деньги, их количество (цена) в начале человеческой истории играли роль средства исполнения нормативных взаимоотношений между людьми, служит этимология слова «цена». Цена как определенное количество счетных денег обозначала необходимость исполнения социальных обязательств — долга. Слово «цена» (пра-славянское *сѣна*) в русском языке берет начало от общеславянского — *kaina*. В современном литовском языке, который в наибольшей степени сохранил в себе черты праславянского языка, до сих пор цена обозначается словом *kaina*.

Слово *kaina* указывает на изначальные древние корни морального значения цены — «покаяние, возмещение, долг, вина, жертва, наказание», «воздаяние». Цена — это жертва, понимаемая как необходимая и ожидаемая оплата, платеж или вознаграждение за что-нибудь. Цена — это обязательная плата за исполнение долга. Отсюда цена это: «платить долги», «каяться», «возвращать долг». Иными словами, цена как платеж может иметь не только экономический смысл, но и быть представлена как моральное обязательство, долг. «Долг» — это не только то, что взято взаймы и что необходимо вернуть, это также и нравственная обязанность плательщика, исполнение которого является безусловным.

Платеж по долгам позволял человеку оставаться нравственным в выполнении им своего долга перед властью, другими людьми и Богом. Долг — это не-

обходимость поступка из уважения к нравственному закону. То же относится и к платежам по обязательствам должника, например за причинение ущерба и другие виды компенсации.

Заключение

Исполнение функции счета и учета в отношениях распределения деятельности и ее результатов в архаичных хозяйственных образованиях, которые исполнялись счетными единицами, как натуральными, так и искусственными, составили предысторию появления полноценных денег. Счетные единицы, выполняя функцию счета и учета, были исторически первым средством, претендовавшим на осуществление целого комплекса общественных и хозяйственных функций. Это были первые деньги, но в отличие от денег исполнявших роль посредника в меновых отношениях, то, в чем возникла необходимость в более развитом меновом хозяйстве, счетные деньги выполняли функции счета и учета.

Особенность счетных единиц, или протоденег, состоит в том, что они, не имея собственной внутренней ценности и выполняя функцию счета и учета, обеспечивали реализацию целого комплекса нормативных взаимоотношений между людьми в сообществе. В этом смысле счетные единицы как первые счетные деньги имели институциональную природу.

Литература

- Алексеев В. (1984). *Становление человечества*. Москва: Политиздат.
- Аглиетта М., Орлеан А. (2006). *Деньги между насилием и доверием*. Москва: Издательский дом ГУ ВШЭ.

- Английский фунт стерлингов — история возникновения. <https://englandlearn.com/blog/anglijskij-funt-sterlingov>.
- Аристотель (2006). *Политика*: пер. с греч. Москва: АСТ.
- Аристотель (1983). *Никомахова этика. Сочинения: в 4 т.* Т. 4. Москва: Мысль.
- Брюсов А. (1957). О характере и влиянии на общественный строй обмена и торговли в доклассовом обществе // *Советская археология*. XXVII.
- Верховин В. (2001). Монетарный анализ экономического поведения в работе Георга Зиммеля «Философия денег» // *Вестник Российского университета дружбы народов*. Серия «Социология». № 2. С. 25–29.
- Воронов Ю. (1986). *Страницы истории денег. Учет на глине*. Новосибирск: Наука.
- Деньги Поднебесной. История китайских денежных единиц*. <https://www.monetnik.ru/obuchenie/numizmatika/dengi-kitaya>
- Долан Э. Дж. и др. (1991). *Деньги, банки и денежно-кредитная политика* / пер. с англ. В. Лукашевича и др.; под общ. ред. В. Лукашевича. Санкт-Петербург: Оркестр.
- Дубянский А. (2017). Теории происхождения денег и криптовалюты // *Деньги и кредит*. № 12. С. 97–100.
- Законы Хаммурапи — анализ. Русская историческая библиотека*. <http://rushiist.com/index.php/ancient-east/4495-zakony-khammuri-analiz>
- Зиммель Г. (1999). *Философия денег (фрагмент): Теория общества*: сборник: пер. с нем., англ./вступ. статья, сост. и общая ред. А. Ф. Филиппова. Москва: КАНОН-пресс-Ц, Кучково поле.
- Кнапп Г. (1926). Государственная теория денег // *Теоретическая экономия в отрывках*. Кн. 15.
- Cottrell A., Cockshott P., Michaelson G., Wright I. (2007). *Information, Work and Value*. Manuscript. November 21, 2007. http://www.dcs.gla.ac.uk/~wpc/reports/info_book.pdf.
- Макконнелл К. Р., Брю С. Л. (1993). *Экономикс*. 11-е изд. Москва: Республика.
- Маркс К. (2015). *Капитал: критика политической экономии*. 3-е изд. Т. I: пер. с нем., фр., англ./введение О. И. Ананьиной; предисл. Л. Л. Васиной, В. С. Афанасьева. Москва: Манн, Иванов и Фербер.
- Матузова Н. (1997). *Теория государства и права: курс лекций* / под ред. Н. И. Матузова и А. В. Малько. Москва: Норма.
- Мизес Л. фон. (2008). *Человеческая деятельность: трактат по экономической теории* / пер. с 3-го испр. англ. изд. А. В. Куряева. Челябинск: Социум.

- Муравьева Л. (2012). Финансово-экономическое развитие Месопотамии. *Международный бухгалтерский учет*. № 27. С. 56–64. *От ракушек к платежам в одно касание. Краткая история денег*. <https://special.theoryandpractice.ru/sberbank-visa-digital>
- Поланьи К. (2007). *«Великая трансформация»: прошлое, настоящее, будущее* / под общ. ред. Р. М. Нуреева. Москва: Издательский дом ГУ ВШЭ.
- Пономарев В. (2005). *Тайны фальшивых денег: вчера, сегодня, завтра*. Донецк: Пбб ООО ПКФ «БАО».
- Пряслица, перстни, браслеты и керамика: найдены украшения и предметы времен становления Москвы. <https://www.mos.ru/news/item/88868073>
- Пушкарев А. (2003). Датировка западноевропейских счетных жетонов. *Интеграция археологических и этнографических исследований*. Омск: Наука. С. 228–230.
- Самуэльсон П. (1964). *Экономика*. Москва: Прогресс.
- Семенов Ю. (1999). *Введение во всемирную историю*. Вып. 2. *История первобытного общества*. Москва: МФТИ.
- Тюменев А. (1956). *Государственное хозяйство древнего Шумера*. Москва—Ленинград: Издательство Академии наук СССР.
- Хайек Ф. (1996). *Частные деньги*. Москва: Институт национальной модели экономики.
- Encyclopedia AMERICANA. (1988). V.19. New York, NY: Grolier Incorporated.
- Money: meaning and functions of money — discussed! [Electronic resource]. <http://www.economicdiscussion.net/money/money-meaning-and-functions-of-money-discussed/597>. Date of access: 12.09.2017

INSTITUTIONAL NATURE OF ACCOUNTABLE MONEY

VYACHESLAV USHANKOV (e-mail: slawusha@gmail.com). Saint Petersburg State University (Saint Petersburg, Russia).

The article attempts to substantiate the position according to which the role of the first money was played by account money. The methodological technique, which is widespread in the literature, for defining the essence of money by listing the functions that they perform, has limitations. These restrictions are connected with the fact that with this approach the possibility of the existence of money is limited only

by their performance of the function of an intermediary in exchange relations. In fact, the first money was not an intermediary in exchange relations; it performed a different function. The peculiarity of the first money is that it performs the function of counting and accounting, while not possessing its own intrinsic value. Performing the function of counting and accounting, the first, counting money had an institutional nature.

KEYWORDS: account money; distributive relations; natural units of account; institutional nature of money.

JEL: B11, E40.

Деньги
и современность



Universal basic income and the theory of money

Nigel Dodd

NIGEL DODD (e-mail: n.b.dodd@lse.ac.uk), PhD, Professor of Sociology, London School of Economics (London, England).

While the philosophy and practice of universal basic income (UBI) raises fundamental questions about the nature of money, these questions rarely come up in discussions of the idea. Most of these discussions focus on themes such as equality, poverty and the future of work, without paying much attention to monetary dimensions of UBI other than by questioning it in moral terms as ‘money for nothing’ and asking how it can be paid for. This article seeks to remedy this deficiency by approaching UBI through a monetary lens: for example, in relation to how money is produced and governed, the meanings we give to money in relation to working and giving, the role of money (or ‘cash’) in the alleviation of poverty, its status as ‘common wealth’, and its potential as a form of collective reparation. The article focuses especially on the case for a UBI that is funded by ‘sovereign money’.

KEYWORDS: money; basic income; job guarantee; Modern Monetary Theory; sovereign money; inequality; technological unemployment; welfare.

JEL: B52, D64, E12, I38, Z13.

Introduction

While the philosophy and practice of universal basic income (UBI) raises fundamental questions about the nature of money, these questions rarely come up in discussions of the idea. Most of these discussions focus on themes such

as equality, poverty and the future of work, without paying much attention to monetary dimensions of UBI other than by dismissing it in moral terms as ‘money for nothing’ and asking how it can be paid for. Moreover, this latter question tends to be couched in terms of a flawed understanding of how money operates in society, even by those who are in favour of UBI. As a consequence, the case for UBI usually sets itself up for failure, wherein it is queried as ‘impractical’, ‘unaffordable’ or — at worst — ‘hopelessly utopian’. In this paper I approach UBI through a monetary lens: for example, in relation to how money is produced and governed, the meanings we give to money in relation to working and giving, the role of money (or ‘cash’) in the alleviation of poverty, its status as ‘common wealth’, its potential as a form of collective reparation, and so on. My central argument is that UBI cannot be properly evaluated without assessing its implications for the creation and governance of money. Indeed, the very concept of UBI is difficult to make sense of unless it is considered in conjunction with fundamental questions about the nature of money. Having said this, any serious, ‘money-aware’ discussion of UBI should also accept the fact that issues such as these will raise questions and generate answers that vary considerably between and within societies, so it is not simply a question of making a ‘fit’ between the notion of UBI on the one hand, and a static theory of money on the other. In any case, as is well known, UBI itself has been conceived in a variety of ways, and in political terms, is capable of garnering as much support from socialists as from libertarians. Money and UBI are both complex and multi-faceted, best viewed as fields of variation rather than as given or fixed. The purpose of this paper is to bring these fields into conversation, and in doing so, bring more richness and rigour to UBI discussions from a monetary perspective. Only then will it be possible to develop an account of the UBI landscape — including its in-

tellectual and empirical history — that is framed by a more sophisticated, nuanced and sociologically informed understanding of money.

UBI can be defined as a modest amount of money that is paid unconditionally and universally to individuals within a given community on a regular basis. The key terms here are:

- modest: the payments are just about sufficient to meet basic needs;
- unconditional: the money does not have to be paid back (it is not like a loan);
- universal: the money goes to everyone within the community (there is no means-testing, regardless of employment); and
- regular: the payments are ongoing, rather than one-off.

There are variants, such as a yearly dividend or single lump-sum payment given to people when they become adults. There are also some practical variations, such as the negative income tax that was proposed by Milton Friedman, among others. But, in essence, the key principles behind UBI are universality and unconditionality. Without these the idea loses specific meaning.

History

The idea of basic income has a long history. One of its earliest iterations can be found in Thomas More's *Utopia*, published in 1516. More envisaged basic income as a potential solution to the problem of theft, but by the late 18th century guaranteed income came to be viewed less as a concession to the poor than as a universal right. One of the first exponents of this view was Thomas Paine, whose 1795 pamphlet *Agrarian Justice* argued that the fruits of the land should be owned by everyone — not just the “landed mo-

nopoly” — because they are part of everyone’s “natural inheritance” (Paine, 1797/2014). One year later, in *The Rights of Infants*, Thomas Spence took the argument even further by arguing for a regular dividend, paid quarterly, consisting of a share of the proceeds from *any* cultivation of land, including rent from housing. Later on, in the 20th century, in *Planning and the Price Mechanism* (1948), James Meade argued that a social dividend could be established if the state brought more land into public ownership. This could be used to fund a system of regular payments to all citizens (including children) that would replace existing welfare payments such as unemployment benefit and old-age pensions.

There are some empirical examples of UBI schemes that operate through a social dividend. The Alaska Permanent Fund, funded by oil revenues, was established in 1976 and enables annual payments (averaging between \$1,000 and \$2,000) to be made to all citizens. In North Carolina, the Eastern Band of Cherokee Indians Casino Dividend, established in 1997, uses the revenue from the casinos on tribal land to fund annual payments of between \$4,000 and \$6,000 to all members of the community. Clearly, these schemes are highly specific to the communities in question. But the general principle behind such schemes — a social dividend connected to property and land ownership — highlights the relevance to UBI of land enclosure: which, incidentally, was attacked by Thomas More. Similarly, later forms of monopoly capital appropriation have fuelled the development of rentier capitalism which, in turn, has in many countries led to precisely the widening economic inequality and increasing social precariousness that make the case for UBI as compelling today as it was to More, Paine and Spence in the past.

The current debate around UBI crystallizes around five overlapping themes with varying degrees of emphasis depending on different conceptions of why UBI is needed,

what it is for, and who it should serve. These themes are: poverty, idleness, freedom, equality and reparations. I will now very briefly review each theme in turn.

POVERTY — One of the most common justifications for UBI is that it provides relief from *poverty*, which is becoming more relevant in an age where — as Piketty (2017) has shown — inequality is widening. One might imagine that this is solid ground on which to advocate for UBI, but this is far from being the case. Indeed, it is striking how much contemporary criticisms of UBI echo earlier objections to the English Poor Laws. Historically, objections to public assistance for the poor have varied from the relatively sympathetic view that such assistance may ultimately damage the poor themselves — Hegel, for instance, argued that public assistance without work “would be contrary to the principle of civil society and the feeling of self-sufficiency and honour among its individuals” (1820/1991: section 245) — to Malthus’s (1798/1976) argument that assistance for the poor was simply bad for society because it causes the poor to work and save less, marry younger and have more children. In a similar vein, de Tocqueville argued that poor relief “will breed more miseries than it can cure, will deprave the population that it wants to help” (1835/1997: 37). As Eric Fromm complained in *To Have Or To Be*, the unconditional right to live is “a right we guarantee to our pets, but not to our fellow beings” (1976: 154). The problem, it seems, is that, unlike our pets, we assign to our fellow humans a duty to society in exchange for subsistence. This duty usually involves work, or at the very least, a willingness to attend some kind of training programme in lieu of work. Very few welfare programmes allow their recipients to escape this fate, however meaningless the work or training they are expected to undertake. Insofar as there is an exchange here, it is one that pits dignity against trust. In a similar vein, another alternative to UBI is that assistance to the poor should be gi-

ven in kind, not in cash. Such a ‘demonetization’ of UBI gives rise to the notion of universal basic services, not income, which consist of free access to essentials such as housing rent, food, transport and health care (University College London Institute for Global Prosperity, 2017). This resonates with a reluctance to give money that is found almost everywhere, from the micro sociology of begging to the politics of development aid. The freedom of choice made possible by cash gifts unnerves the givers. Fearful of losing control, they reach for several reasons, from moral education to tax breaks, in order to justify keeping cash out of the gift relation. And yet research on this question suggests that direct monetary payments tend to be more effective in addressing poverty than gifts in kind.* The reasoning behind this is that the recipients of such assistance tend to know best exactly what they need.

IDLENESS — With some notable exceptions — Bertrand Russell, for example, who argued that more idleness would lead to more creativity and “happiness and joy of life” (1932/1976: 17) — the idea of *unearned* assistance has been widely condemned as ‘money for nothing’ that is bound to encourage moral laxity. But arguably, idleness is increasingly something that many of us will face because of rapid changes to the nature of work (Leontief and Du-

* There have been quite a number of articles in the mainstream press putting forward this argument in the context of development aid. The prominence of ‘GiveDirectly’ (<https://www.givedirectly.org/>) — a form of UBI for Kenya funded via Silicon Valley — in these accounts is significant. See for example “What happens when aid is given as direct cash transfers?”, BBC, 1 March 2017, <https://www.bbc.co.uk/news/world-africa-39038402>; “Google-Funded Study Finds Cash Beats Typical Development Aid”, *Wired* 14 September 2018; <https://www.wired.com/story/google-funded-study-finds-cash-beats-typical-development-aid/>; “Is Cash Better for Poor People Than Conventional Foreign Aid?”, *New York Times*, 11 September 2018, <https://www.nytimes.com/2018/09/11/opinion/is-cash-better-for-poor-people-than-conventional-foreign-aid.html>.

chin, 1986). These changes are driven mainly by technology. Due to automation, idleness may be something that, like it or not, we will increasingly be unable to escape from. Such idleness may not necessarily take the form of a lack of employment per se, but can also consist of a lack of employment *in work*. Just as, in 1970, Buckminster Fuller railed against the fact that we “keep inventing jobs because of this false idea that everybody has to be employed at some kind of drudgery because, according to Malthusian-Darwinian theory, he must justify his right to exist” (New York Magazine, 30 March 1970), so David Graeber was arguing almost fifty years later that “productive jobs have... been largely automated away” (2018: xvii), leaving an alarming number of people in what he called ‘bullshit jobs’. The prospect of technologically enforced idleness has re-energised the discussion of UBI, helping to weaken (if not completely sever) the link between idleness and moral laxity, and to encourage exploration of whether Russell may have had a point, after all, when he claimed that “immense harm is caused by the belief that work is virtuous”. One other consequence, which may be a mixed blessing, has been to generate considerable interest in UBI among the denizens of Silicon Valley.

FREEDOM — This theme tends to be emphasized in the libertarian case for UBI, although socialists sometimes talk about this too. In *Capitalism and Freedom* (1962), Milton Friedman laid out the case for a poverty alleviation programme that is free from assumptions about which particular occupational or age groups are most in need of help, but rather offers universal assistance to the poor in the form of a negative income tax. For Friedman, poverty exists mainly because of the way that state welfare programmes have distorted market mechanisms. The ‘blameless’ poor are best helped, he said, by a negative income tax that enables them to fend for themselves, free from state interference. Thus if the primary goal of negative income tax

is to alleviate poverty, a crucially important secondary goal is to enhance individual freedom. While the libertarian case for UBI is often framed in technocratic terms, pitting the costs and wastage of a cumbersome welfare programme that involves means-testing and multiple forms of payment against the streamlined efficiency of a single, universal payment, it is underpinned by hostility to the state itself. But as I mentioned just now, freedom does not only feature in the libertarian case for UBI. Arguably, basic income enhances the freedom of individuals in relation to *any* form of authority. For example, it enables us to say no to abusive spouses or employers. As Fromm wrote in *The Sane Society*: “If nobody were forced any more to accept work in order not to starve, work would have to be sufficiently interesting and attractive to induce one to accept it” (1955/1991: 329). Van Parijs sees the role of UBI in this regard as ensuring what he calls ‘real’ freedom, i. e. “the freedom to live as one might like to live” (1995: 30).

EQUALITY — UBI has several important connections with the notion of equality. First, the idea behind universal basic income is that those who qualify for it do so without means-testing, stigma, or the need to play UBI off against earned income or tax: UBI is a flat payment made equally to everyone. Second, UBI tackles some of the disparities between the rewards and recognition associated with paid work versus various kinds of unpaid employment, such as voluntary and care work. Third, partly because it smooths out some of the disparities between different forms of paid and unpaid work, UBI is a means of countering racial and gender inequality. On closer examination, however, the ideal of equality has been invoked to support conflicting — ‘libertarian’ and ‘socialist’ — interpretations of the fundamental aims of UBI. These two versions of UBI’s underlying rationale rest on distinct notions of equality. On the one hand, a UBI programme that is informed by libertarian principles puts forward an ide-

al of equality in which individuals are held to be essentially separate from one another and, by extension, from all forms of social obligation. According to this view, UBI is attractive precisely to the degree that it frees the individual from any societal claims, and vice versa: basic income payments are meant to enable the individual to enjoy an existence that is independent from others; and which, likewise, frees society itself from any further obligations towards the individual. This is *individuated* equality. On the other hand, socialist interpretations of UBI tend to assume *relational* equality, wherein we are social, interdependent beings from the very outset, bearing social obligations that are enduring. Whereas the libertarian version of UBI seeks to free individuals from interdependence, the socialist version assumes that our mutual interdependence is a basic fact of human existence. Intriguingly, one can find these notions of equality played out against one another throughout Simmel's *Philosophy of Money* (1908/2004).

REPARATIONS — Along similar lines to the social dividend idea I mentioned earlier on, UBI has also been framed as a form of reparation, most especially by Black Lives Matter (BLM), which argues that universal social policies such as UBI fail to address historically structured inequalities and thereby tend to exacerbate existing racial and gender inequalities. The BLM proposal is for a ‘universal *plus* basic income’, which consists of a pro-rated amount which is additional to baseline UBI for black Americans over a specified period of time (Warren, 2017). This resonates with Martin Luther King’s argument in *Where Do We Go From Here: Chaos or Community?* that, being both black and poor in a racist society, “Negroes... have a double disability” (1967: 173). King, too, was an advocate of UBI, arguing that the simplest and most direct solution to poverty would be to provide every citizen with a guaranteed income. The notion of UBI as a form of reparations is in one sense a more nuanced and structured

version of arguments about the social dividend, because in the case of reparations, a more specific case is being made about from where — or from whom — the ‘common wealth’ has been derived. Theoretically, the issue invites a deeper discussion of the role of primitive accumulation in the development of capitalism. The wider debates on this topic cover a range of cases: besides slavery, the case for monetary reparations as a form of restitution for historical guilt has been made in relation to war crimes, genocide and native land theft (Barkan, 2017).

UBI Today

UBI has grown in popularity during the past two decades, and especially since the 2008 financial crisis as inequality has been widening while state welfare programmes have been cut back. There is a strong social movement associated with UBI, under umbrella organizations such as the Basic Income Earth Network (BIEN) which has representation in around 40 countries worldwide.* There are a number of prominent think tanks and pressure groups engaged with UBI, such as Stanford’s Basic Income Lab, the left-leaning Roosevelt Institute, and the libertarian Niskanen Centre. In May 2020, more than dozen US cities launched Mayors for a Guaranteed Income, a network of mayors experimenting with basic income schemes. There are several active or recently-active trials of UBI, such as in Finland, Germany, and Kenya. These trials tend to be partial and short-lived, so their outcomes need to be viewed cautiously, but on the whole, it seems that commonly-held fears that — for example — UBI would be used irresponsibly have not been borne out in practice (Standing, 2017: ch. 11).

* See <https://basicincome.org/>.

In one version or another, UBI has a number of prominent advocates today. The forms it takes vary as much as the reasons it is deemed to be necessary, and come from right across the political spectrum. Here are just a few examples:

- In *Capital and Ideology*, Thomas Piketty argues that all citizens should be given a capital endowment of €120,000 when they reach the age of 25 (he calls it ‘inheritance for all’, not UBI) (2020: 1142).
- Yanis Varoufakis argues that UBI is necessary in order to calm the potentially explosive social effects of extreme inequality that are emerging in the wake of neo-liberalism: “either we are going to have a basic income that regulates this new society of ours, or we are going to have very substantial social conflicts that get far worse with xenophobia and refugees and migration and so forth” (*The Economist*, 31 March 2016).
- Elon Musk has stated that UBI will almost certainly be necessary as — as he predicts — AI renders more and more jobs superfluous.*
- Mark Zuckerberg has praised UBI as a means of encouraging people to take more risks as entrepreneurs, describing it as “cushion to try new things”.**

To this list can be added a host of other names: including Jeff Bezos, Jack Dorsey, Andrew Yang and Bill Gates from Silicon Valley; Henry Paulson, Martin Feldstein and Robert Reich from the political establishment; and Angus Deaton, Christopher Pissarides and Thomas Straubhaar from the economics profession. These are stran-

* See <https://www.businessinsider.com/elon-musk-universal-basic-income-2016-11?r=US&IR=T>

** See <https://www.cnn.com/2017/05/26/full-text-of-mark-zuckerbergs-2017-harvard-commencement-speech.html>

ge bedfellows, and unsurprisingly, there is no single argument that unifies their positions. However, the most commonly heard arguments for UBI are either that it will be unavoidable due to automation and rising technological unemployment, or that it is essential in avoiding increasingly corrosive levels of inequality. These arguments are not often put forward at the same time, although I see no reason why they should not be.

If anything, the case for UBI has become even more widely made during the pandemic, which has exposed structural inequalities more than ever and powerfully demonstrates what happens to people when an economy is subjected to a massive shock and there is no safety net. But despite all of this, any serious proposal for a genuine UBI that exceeds all but the most miniscule payment to the poorest members of society tends to be greeted with scepticism, if not outright derision. This takes us back to where I started, because the case against UBI almost always comes down to fundamental questions about money. I turn to these next.

UBI and Sovereign Money

In terms of the understanding of money, the two most powerful reasons for rejecting UBI seem to operate on an instinctive level, as if we are arguing by gut reaction. They are, first, that giving people ‘money for nothing’ would be a dangerous and morally questionable thing to do because it encourages laziness, leaves important jobs undone, and ignores how important work is to our individual and collective well-being (Theme 1); and second, that UBI would either require impractically high and politically unpalatable tax rises or give rise to bouts of money creation that make inflation and even hyperinflation inevitable (Theme 2).

THEME 1 concerns whether it is possible to ‘denaturalise’ the way that we think about earned and unearned income, that is to say, the relation between money, work and leisure. In many of today’s societies it is still taken for granted that most adults will — ideally — spend the majority of their time working, and that this is what they prefer to do. Likewise, any departure from the standard five-day working week model tends to be viewed sceptically, despite the fact that fewer and fewer people live lives that correspond to it in practice. But is the freedom not work necessarily morally and economically suspect? Or from another angle, is the disparagement of work necessarily a form of social snobbery — as critics accused Keynes of expressing when he predicted that far less work would be economically necessary by 2030 due to rising levels of productivity, and celebrated a future in which our grandchildren would be free to toil less and enjoy more (Keynes, 1930/1972). What sustains the high moral value that is placed on work whenever the case is made against UBI? Aren’t we just caught up in echoes of Weber’s Protestant Ethic (Weber, 1905/2011)?

THEME 2 concerns UBI and the monetary system. As I have already noted, the case against UBI — even amongst those who are sympathetic to it in principle — is almost always framed in terms of a zero-sum calculation. In other words, once UBI is costed out, various means of paying for it are explored, including tax rises, reduced welfare costs (including efficiency gains once means-testing is abandoned), and so on. Almost without exception, the argument assumes that all nations are like households, or currency users whose spending must be funded from the outside, specifically by taxes and borrowing. How can any serious discussion of UBI take place in the absence of a more sophisticated and nuanced understanding of the monetary system? What are the prospects for establishing some form of UBI in countries where the government is a currency is-

suer, compared to where it is a currency *user*? And in either context, what kinds of monetary reforms would be necessary in order for UBI to be made workable?

These sets of question come together in the analysis of one of the most prominent advocates of Modern Monetary Theory, Stephanie Kelton, who argues not for UBI but rather for a job guarantee, wherein government acts as ‘employer of last resort’. Kelton supports the job guarantee both because it respects the importance of work to our social identity and sense of belonging (THEME 1), and because it offers built-in checks against inflation (THEME 2). According to Kelton, a basic income that is set at a level that enables its recipients to meet their needs on an annual basis — worth, say, \$30,000 per year in the US — is likely to set off a massive inflationary problem. The only way to offset this problem would be to cut back on existing welfare programmes (which speaks to the libertarian case for UBI). Kelton also argues that a universal basic income, because it is paid to everyone regardless of income, is likely to exacerbate wealth inequality: UBI recipients who do not need to spend it are most likely to invest it. By contrast, the job guarantee addresses income solely in terms of those who need it most, i.e. the unemployed. She also adds that the job guarantee is much more in line with ‘American values’ than UBI.*

While there is quite a substantial literature on the implications of MMT for a job guarantee, relatively little has been said — in academic papers, and more generally — about what the heterodox theory of money might specifically mean for UBI. This is work that remains to be done, but we are unlikely to find answers that apply consistently to the very different economic, social, political and cultural contexts in which UBI might work. One major criti-

* See her interview on this topic from 2019, <https://www.youtube.com/watch?v=5TLch3HIzDY>.

cism that is sometimes made of MMT is that it only really applies to a handful of countries, and mainly to the US.* In that spirit, it is surely impossible to reach hard and fast conclusions about the feasibility of UBI if our assumptions are based only on the wealthiest currency issuers. What I find intriguing, however, is that when UBI does come up in discussions of MMT, it is often dismissed not because of monetary theory, but more often because of the *moral* virtues that are attached to work. As a Gower Initiative for Modern Monetary Studies blog on this subject puts it: “Those advocating a UBI should take a cue from children who when asked what they want to do in life come up with ideas like being a nurse, fireman, teacher, doctor, writer or artist. Invariably they don’t usually want to sit at home and do nothing!”.** Contrast this with the following observation by David Graeber, author of *Bullshit Jobs*: “So if a job guarantee was based on, ‘I’m trained as a chemist, find me a job as a chemist’. Well, sure, nobody would object. Yet somehow that doesn’t seem to be what they are talking about. They fantasize that once work becomes completely automated, workers of the world will just sit around getting drunk, playing darts and fighting all day. Because they don’t trust people. Because they have no imagination about what people are like”.** The difference between these two positions raises far-reaching questions about our moral and emotional attachments to money, because what people may be expressing when they express doubts about UBI is less a positive value they place on work, than an instinctive moral repulsion they feel towards the idea of ‘mo-

* See for example “Is Modern Monetary Theory useful for developing countries?” on *Open Democracy*, 25 August 2020, <https://www.opendemocracy.net/en/oureconomy/modern-monetary-theory-useful-developing-countries/>.

** See <https://gimms.org.uk/fact-sheets/universal-basic-income/>

*** See <https://medium.com/@ClaireConnelly/can-a-universal-basic-income-rid-the-world-of-bullshit-jobs-fc82d778b5f8>

ney for nothing'. So, the debate between UBI and the job guarantee should not be framed *only* in terms of inflation. The job guarantee runs up against serious questioning from the 'bullshit jobs' perspective, which concerns the kinds of work likely to be on offer under such a scheme.*

It remains to be asked whether UBI can be approached, and indeed justified, using the perspective of MMT in terms of its impact on the monetary system itself (THEME 2). As Kelton makes clear, once we move beyond the assumption that national economies are analogous to households—an assumption which breaks down in cases where states are monetary producers—it no longer makes sense to frame the problem of whether UBI is affordable solely in terms of taxation and borrowing. The problem, in other words, is no long merely a question of where to find the money needed to fund UBI, because in principle the finding can come straight from government spending. The issue, rather, is how to fund UBI while keeping a check on inflation. But another debate here is between various alternatives to the monetary system as it now operates. It is worth emphasising that MMT is an alternative monetary *perspective* that does not necessarily lead to structural reform, but rather to a different way of thinking about and managing the budget. Specifi-

* Besides questions about what kinds of work would be offered under a job guarantee scheme—for example, whether jobs created under such a system would be appropriate to the skills and geographical location of those who need them—there is the additional concern about their environmental impact (Crocker, 2020: 38), although there is a large body of thought arguing that these could indeed be 'green jobs' (see Hickel, 2021). Having said this, UBI is arguably more consistent with the concept of the circular economy than the job guarantee. Even if jobs created under the guarantee are all 'green', they will inevitably involve at least some level of emissions and depletion of resources. By contrast, UBI disrupts the connection between work and consumption. As such, it might help to break the incessant cycle of production, consumption and waste that is so damaging to the environment.

cally, MMT teaches us, first, not to get fixated on the idea that a job guarantee needs to be ‘funded’, e.g. from taxation and borrowing, and second, how to think about the consequences of a job guarantee for inflation. MMT is not the only alternative perspective on money, however. Another is sovereign money as advocated by Joseph Huber (2017) — a prominent voice in favour of *Vollgeld* in the 2018 Swiss Referendum on proposals to give the Swiss National Bank monopoly powers over money creation — and the International Movement for Monetary Reform (IMMR) and Positive Money in the UK. This is specifically oriented to monetary *reform*, which essentially consists of taking money creation powers away from private banks. This movement was also behind the ‘QE for the People’ campaign, which looks like a template for UBI insofar as it entails paying money directly to all citizens.* Geoff Crocker’s work brings these two sets of debates together, first, by arguing in favour of UBI (versus a job guarantee), and second, by arguing in favour of sovereign money. He then proposes ‘funding’ UBI using sovereign money.** I want to spend the remainder of this section discussing Crocker’s arguments because they are unusual in making such a strong and direct link between UBI and the way that we understand — and, indeed, manage — the monetary system.

Sovereign money is sometimes conflated with full reserve or 100% banking. By contrast to the fractional reserve system in which private banks are able to create money

* See Rachel Oliver, “Could the Bank of England Create Money to Pay into the Economy as Basic Income?”, <https://positive-money.org/2017/08/could-the-bank-of-england-create-money-to-pay-into-the-economy-as-a-basic-income/>.

** By contrast, Positive Money (for example) does not support the funding of UBI out of sovereign money, precisely on the grounds that it would lead to inflation. The organization did support ‘QE for the People’, but only as a temporary measure following the 2008 crisis.

in the form of loans that are added to customer accounts in the form of deposits, with full reserve or 100% banking, banks are permitted only to fulfil a strict intermediary role, lending out no more funds than they currently have in the form of customer deposits. According to Joseph Huber (2017: 179), while 100% banking and sovereign money share a common lineage — that can be traced back to Chartalism via the Chicago Plan as conceived by Irving Fischer and colleagues in the wake of the Great Depression (see Douglas et. al. 1939) — they are not identical arrangements for creating money. The key difference lies with the relationship between money and *credit*. Whereas the Chicago Plan proposals assumed that there are two kinds of money in circulation — bank money (which is a form of credit) that circulates among the general public, and ‘high powered’ central bank money (which is debt-free, like cash) that circulates between banks — the sovereign money proposal allows only for a single monetary circuit consisting of money issued by the state, usually via the central bank.* This difference is crucial to the way that UBI would work in such a system (Crocker, 2020: 39), although unlike Huber, Crocker does not advocate for a full-fledged state monopoly over money creation, but merely argues that sovereign money is more widely used as the basis for UBI. He does not argue for a complete system of sovereign money because that would involve the state in credit allocation, which it is not best equipped to do. He also argues that it would be ‘draconian’ to prevent consumers

* It is conceivable that central bank digital currencies (CBDCs) could operate along these lines, although reports on the topic published by the BIS and Bank of England make it clear that a mixed system is more likely, wherein CBDCs circulate alongside bank money (see BIS, 2020, 2021; Bank of England, 2020). Huber is undecided whether sovereign money should be debt-free (2017: 166–7). Intriguingly, central banks are undecided as to whether CBDCs should be interest-bearing.

from borrowing at their own discretion, even if this means “maxing their credit cards” (2020: 93). On the other hand, leaving credit allocation up to the banks has its dangers too — e. g. of encouraging asset bubbles as the banks chase profitable loans — so it makes sense to regulate bank lending more strictly (2020: 62).

Crocker’s proposal for a UBI funded via debt-free sovereign money, which is based on UK economic data, hinges on the view that the post-war regime for economic management has entered a crisis phase in which households are increasingly reliant on debt to meet their basic needs.* The reason for this reliance is the growing shortfall between household earnings and expenditure, mainly due to technology-driven rises in productivity which have left wages lagging behind: “technology has inexorably reduced the wage content of output, so that output GDP has grown more than real wages” (Crocker, 2020: 26).** As a consequence, the need for unearned income — mainly in the form of pensions, welfare benefits, dividends and consumer credit — has increased, pushing both households and government further and further into debt. According to Crocker, because it replaces household debt, basic income can be integral to demand management in a high technology economy, filling the unearned income gap without pushing households into debt. He presents this as an extension of Keynesianism: “Basic income is a form of Keynesian demand management, necessary in advanced technology economies in which the wage component of output declines” (2020: 82). As an interpretation of the economic conditions leading up to the 2008 finan-

* A broadly similar analysis has been put forward by Crouch (2009), who argues that debt has overtaken welfare as a system of demand management — he calls this ‘privatized Keynesianism’.

** He adds: “rising inequality and the bifurcation of the labour market to a small number of high-skill high-income jobs with a much larger number of low-skill low-income jobs, is a cause of this deficient aggregate demand” (2020: 71).

cial crisis, Crocker's position departs from the predominant view (e. g. Turner, 2016; Wolf, 2015) that excessive household borrowing was the root cause. According to Crocker, it was not borrowing *per se* that was problematic; if anything, high levels of borrowing were necessary because of the shortfall in unearned income (and therefore in aggregate demand). That shortfall itself was the root cause. Excessive borrowing was its symptom and consequence. For this reason, greater regulation of credit creation will not provide the solution that commentators such as Turner and Wolf envisage. Rather, more fundamental change is required, which in Crocker's view can only be achieved by a combination of UBI with sovereign money.

Once the economic case for UBI gets framed in terms of aggregate demand and unearned income, it stands to reason that it should not be revenue neutral. Alternative sources of funding all have specific disadvantages if one follows this reasoning through. These include raising income tax (which also fails to address the problem of aggregate demand) or new wealth taxes (which are also complex, politically difficult and irregular). Likewise, reduced welfare programmes—which libertarians envisage when making the case for UBI—goes against the underlying principles of social justice on which the social case for UBI depends. And because basic income in this form would be funded by debt-free sovereign money, government debt, too, would be reduced. This system need not lead to high inflation if levels of basic income and sovereign money remain bounded by the constraints of the real output of the economy (Crocker, 2020: 45).*

* Huber, too, argues that under a sovereign money system, money creation should be constrained by real GDP output. "The basic benchmark for extending and perpetually readjusting the stock of money would be the growth potential of the economy at full capacity, also taking into account interest rates, inflation as well as asset inflation," he argues (2017: 6, see also 26, 29).

There is an important additional point to be made in this context about household debt. Crocker's argument that a UBI funded by sovereign money would not necessarily lead to inflation hinges on the view that household borrowing as made up a significant part of the shortfall in aggregate demand, or what he calls unearned income. UBI is meant to replace this debt, which means that money that was previously created by private banks as debt is now issued — in the form of debt-free sovereign money — directly to households as UBI. The accounting identity between household debt and UBI raises questions at the practical level, of course. Household debt is not evenly distributed, whereas UBI is intended to be paid to all adults in equal amounts. And insofar as UBI is meant to replace household debt, its introduction implies the need for credit controls of some kind if inflation is to be avoided. Conceptually, there is an important distinction that needs to be addressed, because whereas private bank money gets destroyed as debts are repaid, this would not be the case with debt-free sovereign money.*

Concluding remarks

Despite the increasingly widespread discussion of UBI and its advocacy right across the political spectrum both inside and outside academia, the debate almost always stops short of any serious interrogation of our prevailing image of money. This is a major problem that needs to be fixed. Such an interrogation of UBI from the perspective of money needs to address not only how questions about the affordability of UBI have been framed, but the widespread moral suspi-

* To ensure that UBI does actually lead to an increase in aggregate demand, it would also be necessary to make sure that it gets spent. Crocker envisages a system whereby unspent income is destroyed at the end of each year (2020: 92).

cions that are attached to the idea that UBI simply represents ‘money for nothing’. In order to advance our conception of the potential of UBI, we therefore need to delve more deeply into our understanding of, and indeed our feelings about, the nature of money. I have sought to do so in this paper, first by considering the ‘moral’ case against UBI which contrasts it with the job guarantee (as favoured by advocates of MMT); and second, by exploring the potential impact of UBI on the monetary system, especially concerns that it would be inflationary. While those who argue in favour of the job guarantee from the perspective of MMT tend to agree that UBI is inherently inflationary, one further perspective—which shares some common ground with MMT—is worth considering because it advocates UBI alongside fundamental reforms to the monetary and banking system. This is the perspective of ‘sovereign money’. Although there has only been enough space to outline the main arguments associated with such a position here, I hope to have shown that these are worth exploring in more depth. This is not least because they add nuance to one of the most common but flawed arguments against UBI, which is that it cannot be funded out of taxation and borrowing. Once we reappraise our understanding of money creation in light of insights made possible by MMT and adopt the endogenous theory of money, this analysis can be evaluated in a more sophisticated and empirically rigorous way. The case for UBI funded by sovereign money is especially intriguing in this light, because it calls for wholesale reform of the monetary system alongside the institution of UBI.

References

- Bank for International Settlements. (2020). Central bank digital currencies: foundational principles and core features. <https://www.bis.org/publ/othp33.htm>.

- Bank for International Settlements. (2021). Central bank digital currencies: executive summary. <https://www.bis.org/publ/othp42.htm>.
- Bank of England. (2020). Central Bank Digital Currency: Opportunities, challenges and design. <https://www.bankofengland.co.uk/paper/2020/central-bank-digital-currency-opportunities-challenges-and-design-discussion-paper>.
- Barkan E. (2017). *The Guilt of Nations: Restitution and Negotiating Historical Injustices*. New York, NY—London: W. W. Norton and Company.
- Crocker G. (2020). *Basic income and Sovereign Money: The Alternative to Economic Crisis and Austerity Policy*. Basingstoke: Palgrave Macmillan.
- Crouch C. (2009). Privatised Keynesianism: An Unacknowledged Policy Regime. *British Journal of Politics and International Relations*. Vol. 11. No. 3. P. 382–99.
- Douglas P. H. et. al. (1939). *A Program for Monetary Reform*. https://web.archive.org/web/20121103110209/http://home.comcast.net/~zthustra/pdf/a_program_for_monetary_reform.pdf.
- Friedman M. (1962). *Capitalism and Freedom*. Chicago: University of Chicago Press.
- Fromm E. (1955/1991). *The Sane Society*. London: Routledge.
- Fromm E. (1976). *To Have Or To Be? The Nature of the Psyche*. New York, NY: Harper and Row.
- Graeber D. (2018). *Bullshit Jobs: A Theory*. New York, NY: Simon and Shuster.
- Hegel G. W. F. (1820/1991). *Elements of the Philosophy of Right*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Hickel J. (2021). Stimulus Is an Environmental Disaster Waiting to Happen. *Foreign Policy*. 23 February 2021. <https://foreignpolicy.com/2021/02/23/stimulus-is-an-environmental-disaster-waiting-to-happen/>.
- Huber J. (2017). *Sovereign Money*. Basingstoke: Palgrave Macmillan.
- Kelton S. (2020). *The Deficit Myth: Modern Monetary Theory and How to Build a Better Economy*. London: John Murray.
- Keynes J. M. (1930/1972). Economic Possibilities for our Grandchildren. In *Essays in Persuasion, The Collected Writings*. Vol. 9. London: Macmillan. P. 321–332.
- King M. L. Jnr. (1967). *Where Do We Go From Here: Chaos or Community?* Boston: Beacon Press.
- Leontief W. and Duchin F. (1986). *The Future Impact of Automation on Workers*. Oxford: Oxford University Press.
- Malthus T. R. (1798/1976). *An Essay on the Principle of Population*. New York, NY: Norton.

- Meade J. (1948). *Planning and the Price Mechanism: The Liberal-Socialist Solution*. London: Allen and Unwin.
- More T. (1516/2012). *Utopia*. Harmondsworth: Penguin Classics.
- Paine T. (1796/1974). Agrarian Justice / Foner P. (Ed.) *The Life and Major Writings of Thomas Paine*. New York, NY: Citadel Press. P. 241–458.
- Piketty T. (2017). *Capital in the Twenty-First Century*. Cambridge, Mass.: The Belknap Press of Harvard University Press.
- Piketty T. (2020). *Capital and Ideology*. Cambridge, Mass.: The Belknap Press of Harvard University Press.
- Russell B. (1932/1976). In Praise of Idleness. In Russell, B. *In Praise of Idleness and Other Essays*. London: Unwin Paperbacks. P. 11–25.
- Simmel G. (1908/2004). *The Philosophy of Money*. London: Routledge.
- Spence T. (1797/2004). The Rights of Infants / Cunliffe J., Erreygers G. (Eds) *The Origins of Universal Grants: An Anthology of Historical Writings on Basic Capital and Basic Income*. Basingstoke: Palgrave Macmillan. P. 81–91.
- Standing G. (2017). *Basic Income: And How We Can Make It Happen*. Harmondsworth: Pelican.
- Tocqueville A. de. (1835/1997). *Memoir on Pauperism*. London: Civitas.
- Turner A. (2016). *Between Debt and the Devil*. Princeton: Princeton University Press.
- University College London Institute for Global Prosperity. (2017). *Social Prosperity for the Future: A Proposal for Universal Basic Services*. https://www.ucl.ac.uk/bartlett/igp/sites/bartlett/files/universal_basic_services_-_the_institute_for_global_prosperity_.pdf
- Van Parijs P. (1995). *Real Freedom for All: What (If Anything) Can Justify Capitalism?* Oxford: Oxford University Press.
- Van Parijs P. and Vanderborght, Y. (2017). *Basic Income: A Radical Proposal for a Free Society and a Sane Economy*. Cambridge, Mass.: Harvard University Press.
- Warren D. T. (2017). Basic Income in a Just Society. *Boston Review*. 15 May 2017. <https://bostonreview.net/forum/basic-income-just-society/dorian-t-warren-reparations-and-basic-income>
- Weber M. (1905/2011). *The Protestant Ethic and the Spirit of Capitalism*. Oxford: Oxford University Press.
- Wolf M. (2015). *The Shifts and the Shocks*. Harmondsworth: Penguin.

УНИВЕРСАЛЬНЫЙ БАЗОВЫЙ ДОХОД И ТЕОРИЯ ДЕНЕГ

Найджел Додд (e-mail: n.b.dodd@lse.ac.uk). PhD, профессор социологии Лондонской школы экономики (Лондон, Великобритания).

Хотя философия и практика всеобщего базового дохода (universal basic income, UBI) заставляют задаться фундаментальными вопросами о природе денег, эти вопросы редко поднимаются при обсуждении данной идеи. Большинство участников дискуссий сосредоточены на таких темах, как равенство, бедность и будущее работы, но не уделяют особого внимания денежным аспектам UBI, за исключением того, что подвергают сомнению его с моральной точки зрения как «деньги ни за что» и спрашивают, как это можно оплатить. В этой статье предпринята попытка устранить этот недостаток, рассматривая UBI через призму теории денег: например, как производятся и регулируются деньги, какое значение мы придаем деньгам в связи с работой и пожертвованиями, роль денег в борьбе с бедностью, их статус как «общественного богатства» и их потенциал как средства репараций. Особое внимание в статье уделяется UBI, который финансируется за счет «суверенных денег».

Ключевые слова: деньги; базовый доход; гарантия занятости; современная денежная теория; суверенные деньги; неравенство; технологическая безработица; благосостояние.

JEL: B52, D64, E12, I38, Z13.

Криптоутопии наступают: идеологии криптовалюты в России и Южной Корее*

Крис Мондэй

Крис Мондэй, доцент, Университет Донгсо (Пусан, Республика Корея).

Радикальные либертарианские мыслители считают подерживаемые государством фиатные (необеспеченные) деньги оковами, ставящими человечество в зависимость от воли государства. Основанная на технологии «блокчейн» валюта биткоин была создана, чтобы разорвать эту зависимость, привязав сбережения и операции к стоимости, совершенно неподвластной государственным манипуляциям. В настоящей статье представлен анализ того, как различные мыслители в России и Южной Корее развивали эту утопическую идею. В первом параграфе статьи рассматриваются причины, по которым биткоин считается угрозой новому либертарианскому порядку капитализма под управлением Федеральной резервной системы. В следующем параграфе содержится обзор российских анархистских корней биткоина. Третий параграф представляет Айн Рэнд в качестве интеллектуальной наследницы этой анархистской традиции. Следующий параграф обращает внимание на связи между Айн Рэнд и создателем биткоина Сатоси Накамото. В пятом параграфе представлено развитие крипто-анархистской идеологии в российском обществе. В заключительном параграфе показано, как эта криптоутопия получила свое распространение в Южной Корее.

Ключевые слова: биткоин; криптовалюта; идеология; Айн Рэнд; Россия; Южная Корея.

JEL: B59, B31, B20.

* Перевод с английского языка подготовлен Ириной Дягилевой. Печатается с сокращениями.

Введение

Радикальные либертарианские мыслители считают поддерживаемые государством фиатные (необеспеченные) деньги оковами, ставящими человечество в зависимость от воли государства. Основанная на технологии «блокчейн» валюта биткоин была создана, чтобы разорвать эту зависимость, привязав сбережения и операции к стоимости, совершенно неподвластной государственным манипуляциям. В настоящей статье представлен анализ того, как различные мыслители в России и Южной Корее развивали эту утопическую идею.

На первый взгляд, Россия и Южная Корея имеют совершенно разные интеллектуальные традиции. Однако видные деятели обеих стран постулировали одинаковое идеальное государство, где в центре стоит семья, а государство отходит на задний план. Компетентные специалисты XIX века, такие как социолог Фредерик Ле Пле, утверждали, что основой российского общества и российской экономики была крестьянская семья [Мондэй 1999; 2007]. Российские народники считали, что Россия может пойти по непроторенному пути, ограничив роль государства, а российские анархисты хотели полностью избавиться от государства. Экономист Александр Чаянов видел будущее России за объединением домашних хозяйств в кооперативы [Monday 2015]. Русские марксисты, такие как Давид Аксельрод и Лев Клейнборт, полагали, что пролетариат упразднит государство и станет сознательным и самоуправляемым [Мондэй 2008]. Вдохновленные трудами Александра Герцена, Льва Толстого и Максима Горького, и марксисты, и народники увязывали упразднение государства с процветанием гения и творческого духа. Олицетворением

этого пиршества духа стали работы американского философа российского происхождения Айн Рэнд — ведущей фигуры в современном либертарианстве.

Айн Рэнд ставила в центр своей общественной мысли деньги. На ее взгляд, слабые, не способные на подлинно самостоятельную человеческую жизнь, сплачивались для создания господствующей государственно-центричной идеологии. В сердцевине этого проекта находится контроль государства за деньгами: если богатые «эгоисты» отказываются платить налоги, то их богатство легко может быть уничтожено без их согласия. Рэнд, таким образом, утверждала, что только возвращение к золотому стандарту способно создать систему, где смелые и отважные обретут свободу для того, чтобы быть продуктивными. Для сторонников Рэнд проблема заключается в том, что возвращение к золотому стандарту потребует взаимодействия с «выщелачивающей» политической системой, которую они презирают. Биткоин обеспечил «создателям» возможность, прямо как из романа Рэнд «Атлант расправил плечи», сплотиться и самим создать рыночную утопию с неуязвимыми правами собственности.

Корейское общество, считающееся самым конфуцианским в мире, ставит во главу угла семью. Домашнее хозяйство устанавливает правила и играет роль полицейского, судьи, учителя, тогда как государство рассматривается как чужеродное, навязанное извне китайцами, японцами или американцами. В этом смысле определяющее значение имеет мыслитель-анархист Син Чхэхо (1880–1936). Он настаивал, что корейцы — чистая раса с 5000-летней историей (*минджок*), которая всегда находилась в оппозиции к государству (*гукга*). Чтобы сохранить национальное самосознание, корейцы должны идти своим путем.

Биткоин, выводящий из игры центральное правительство, был воспринят современными корейскими

и российскими мыслителями как способ актуализировать философские концепции Айн Рэнд, Чаянова и Син Чхэхо. В настоящей статье анализируются идеи различных современных мыслителей-утопистов из России и Кореи, помещенные в культурный контекст.

Настоящая статья представляет собой исследование идеологий криптовалюты. Сначала я объясню, почему некоторые воспринимают криптовалюту как угрозу для экспансионистских либеральных проектов, особенно для современной денежной теории (СДТ). Ряд выдающихся аналитиков даже считают биткоин злодейским инструментом, созданным для подрыва американской демократии. Далее в настоящей статье будут приведены доводы в пользу того, что биткоин действительно связан с российской интеллектуальной традицией анархизма, отрицающего семью и государство. Фундаментальная российская философия *поступка* лежит в основе интеллектуальной привлекательности биткоина. В следующих параграфах рассматривается Айн Рэнд (Алиса Зиновьевна Розенбаум) как ведущий философ российского происхождения, ставший путеводной звездой для биткоина как социального движения. Его создатель Сатоси Накамото брал пример с главного героя романа «Атлант расправил плечи» Джона Голта. В пятом параграфе рассматриваются идеологи современной российской криптоутопии, в частности либертарианский мыслитель Михаил Светов. Последний параграф анализирует причины превращения биткоина в главный компонент криптоутопии Южной Кореи, коренящиеся в ее субкультуре сетевых игр.

Используемый в статье метод исследования опирается на подробный анализ интеллектуальной истории. Это направление исследования ориентируется на концепцию публичной сферы (*Öffentlichkeit*) Юргена Хабермаса. По мнению немецкого теоретика, «публичная сфера» была пространством, в котором частные

индивидуумы из высших слоев общества, обладавшие образованием и ресурсами для чтения и временем для размышлений, объединялись для того, чтобы участвовать в разумной дискуссии [Habermas 1989]. Так, исследователи обнаружили, что такие интеллектуальные доктрины, как физиократия и классический либерализм, возникли не столько в умах отдельных великих мыслителей, Кенэ или Адама Смита, а, скорее, стали порождением бесчисленных социальных контактов в конкретных институтах, таких как кофейни [Fox-Genovese 1976; Jacob 1991; Bond 2021]. Аналогичным образом дело обстоит с немецким и русским камерализмом, который вырос из практики университетов и государственной бюрократии [Мондэй 2004]. Идеология биткоина точно так же не является результатом заговора каких-то темных сил, а, скорее, развивается спонтанно через сетевые форумы в России и компьютерные клубы (*bbang*) в Корее.

1. Кого пугает биткоин?

Криптовалюта как порождение экстремизма и угроза для либеральной утопии СДТ

Деньги всегда были больше, чем просто еще одним товаром, и больше, чем товаром, используемым для измерения всех прочих товаров. Поскольку деньги связывают между собой стоимость всех вещей, материальных и нематериальных, они считаются важнейшей моральной основой любого человеческого общества. Акты, подрывавшие общественное доверие к валюте, во многих культурах, даже среди квакеров Пенсильвании, заслуживали смертной казни. Чеканщики монет, как указывал Джон Локк в 1696 году, не только забирали себе часть серебра, но и подрывали общественное доверие к государству, тем самым превращая хищение

в измену и поэтому заслуживая смертного приговора. «Данте Алигьери считал мошенничество и предательство — предательство общественного доверия — приносящими обществу больше вреда, чем простое насилие» [Baldwin 2021, p. 85]. В Соединенных Штатах самым тяжким преступлением считается убийство президента (под запретом даже праздная болтовня на эту тему), но до 2003 года Секретная служба США, помимо защиты президента, занималась борьбой с фальшивомонетчиками. Таким образом, становится понятно, почему биткоин считается угрозой для существования современного общества.

Биткоин и другие криптовалюты не просто обеспечивают альтернативу доллару наподобие золота. Ввиду того что биткоин обещает анонимные обмены, неподконтрольные Казначейству и Федеральной резервной системе, криптовалюта угрожает самой основе современного государства*. Проблема биткоина стоит особенно остро из-за раздутой роли ФРС в регулировании и поддержке постиндустриальной экономики.

К 1980-м годам монетаристская доктрина о том, что Федеральная резервная система должна играть главную роль в предотвращении кризисов, стала расхожим мнением: национальную экономику можно регулировать, контролируя денежную массу (M_1 и M_2). Милтон Фридман считал, что Федеральной резервной системой должен управлять компьютер, использующий уравнения для уравнивания безработицы и инфляции** [Friedman 1999]. В самом деле, правило Тейлора предлагало конкретные, простые формулы для регулирования процентной ставки и денежной массы.

* Как указал Мишель Фуко, потребность в контроле и ощущение постоянной подконтрольности — это способы интернализации современными людьми парадигмы управления современного государства.

** Milton F. *Mr. Market*. <https://www.hoover.org/research/mr-market>.

В 1990-е годы казалось, что «новая экономика» действительно уменьшила вероятность глубокого экономического кризиса. Тем не менее выяснилось, что во времена чрезвычайных волнений, исключительных по своей редкости событий, которые, как представляется, случаются все чаще, от четко определенных правил денежной массы приходится отказываться. Финансовый кризис 2007–2008 годов и вызванный пандемией COVID-19 кризис 2020 года показали, что во время чрезвычайных ситуаций способность ФРС создавать деньги может успокоить рынки и предотвратить серьезный экономический спад. В 2008 году ситуацию можно было охарактеризовать так: «На ФРС уповаем»* [Wessel 2009; Monday 2013]. Председатель ФРС Бен Бернанке использовал свои полномочия для неограниченного кредитования счетов, тем самым создавая деньги для спасения не только банков, но и инвестиционных учреждений, отрасли ипотечного кредитования, авиатранспортного сообщения и автомобилестроения. ФРС, начавшая этот процесс в декабре 2008 года, увеличила свои авуары облигаций на 3,7 трлн долларов США, нарастив валюту баланса до 4,5 трлн долларов США. Вскоре вновь произошел «исключительный по своей редкости» кризис. В 2020 году ФРС увеличила валюту баланса до 8 трлн долларов США с целью стабилизации рынков. Эти меры оказали воздействие на реальную экономику: отношение расходов правительства США к ВВП выросло до 35,74%.

Эта политика вмешательства в кредитно-денежную сферу стала возможной благодаря высокому спро-

* Ср.: In God We Trust (с англ. — «На Бога уповаем») — официальный девиз США. Впервые был использован в 1864 году при чеканке монет нового образца, а в 1956 году стал национальным. Фраза печатается на оборотной стороне ныне выпускаемых долларовых банкнот (Прим. пер.).

су на облигации США как на уникальный и, по-видимому, незаменимый актив. Во время ипотечного кризиса 2007 года, когда казалось, что вся американская финансовая система потерпит крах, курс доллара в действительности повысился, а цены на облигации упали. Поскольку доллар является самым надежным средством сбережения и наиболее ликвидным активом для операций, он считается незаменимым активом: кривая спроса на доллары, как кажется некоторым, бесконечно эластична.

В самом деле, по мнению сторонников современной денежной теории, из-за того, что люди вынуждены использовать доллары для уплаты налогов, Соединенные Штаты обладают практически неограниченной способностью эмитировать доллары без вспышки инфляции. В кругу благоприятных возможностей чем больше государственный сектор, тем сильнее потребность в долларах и, следовательно, выше спрос на доллары. В связи с этим некоторые либералы полагают, что Конгрессу США следует узурпировать операции Федеральной резервной системы. Используя полномочия ФРС на денежную эмиссию, конгресс мог бы увеличить государственные расходы для обновления инфраструктуры страны, обеспечения универсальной системы здравоохранения, урегулирования пенсионного кризиса, гарантирования базового дохода для всех американцев, трудоустройства всех американцев и предоставления средств на масштабный переход к зеленой энергии. Все это требует расходов в разы больше, чем весь ВВП США [Kelton 2020]. Эти масштабные расходы в соответствии с СДТ фактически усилят потребность в долларах.

Биткоин нарушает эти грандиозные планы современной денежной теории. В отличие от золота, биткоин предлагает реальную альтернативу долларам. Биткоин создает возможность «выхода» из долларо-

вой самофинансируемой системы. По мнению Альберта Хиршмана, экономические агенты, сталкиваясь со снижением стоимости, вместо того чтобы протестовать, могут просто покинуть систему [Hirschman 1970]. Например, российские крестьяне вместо выполнения барщинной повинности (уплаты *оброка*) могли бы уехать в Сибирь... или в Калифорнию. Биткоин дает возможность выхода из-за своей анонимности. Агенты получают доходы в такой разновидности валюты, которая избегает налогообложения. Уже в 2020 году криптовалюта внесла значительный вклад в растущий феномен уклонения от уплаты налогов, по оценкам превышающий триллион долларов США*.

Чувствуя опасность, многие левоцентристские аналитики рассматривают биткоин как инструмент реакционных сил, призванный подорвать демократические проекты. С точки зрения многих либералов, биткоин как идеология стал порождением экстремизма. Биткоин продвигали одиозные фигуры, зачастую приверженцы антисемитизма, которые предупреждали, что банковские элиты коррумпируют Запад. В частности, Дж. Эдвард Гриффин, конспиролог, получивший известность в 1950-е годы и занимающий ведущее место в Обществе Джона Берча**, сейчас рассказывает о биткоине в своем сетевом университете Red Pill***. По словам Гриффина,

* «Уклонение от уплаты налогов обходится США в 1 трлн долларов США в год, — заявил глава Налоговой службы США». *New York Times* <https://www.nytimes.com/2021/04/13/business/irs-tax-gap.html>

** Общество Джона Берча (*англ.* John Birch Society) — ультраправая политическая группа в США, стоящая на платформе антикоммунизма, ограничения влияния государства, конституционной республики и личных свобод (*Прим. пер.*).

*** Red pill — с *англ.* пилюля правды, синоним свободомыслия и избавления от предрассудков и стереотипов, дословно — красная таблетка. Этот термин заимствован из сюжета фильма «Матрица» (1999), где главному герою Нео предлагают

биткоин дает возможность противостоять международной элите, контролирующей ФРС*. Все чаще биткоин становится приманкой в программах «конспирологических игр». Как в любой секте, криптопредприниматели играют на чувствах уязвимых, одиноких людей. Например, рекламное объявление «Как разбогатеть при помощи биткоина» соседствует с роликами на YouTube, посвященными тому, «как знакомиться с девушками». Так, в 2005 году Стив Бэннон стал вице-президентом компании Internet Gaming Entertainment (IGE), возглавляемой Бруком Пирсом, бывшим киноактером, известным своими детскими и подростковыми ролями. Компания первой стала привлекать одиноких молодых людей к инвестициям в криптовалюту.

Компания ставит г-ну Бэннону в заслугу то, что он вошел в доверие к неудовлетворенным жизнью молодым людям, объединившимся в сети во круг видеоигр, которые стали опорой движения альтернативных правых**.

Наблюдается опасная тенденция: некоторые либеральные аналитики боятся, что биткоин помогает финансировать квазигосударственные, тайные операции, проводимые теневым легионом правофланговой верхушки. В 1970-е и 1980-е годы Общество Джона Берча стало популярно у недовольных сотрудников спец-

выбор между красной и синей таблеткой. Синяя таблетка позволит остаться в искусственно созданной реальности Матрицы, то есть продолжать жить в иллюзиях, тогда как красная таблетка приведет к бегству из Матрицы в реальный мир, то есть в «правдивую реальность» (*Прим. пер.*).

* “G. Edward Griffin, Author & Founder of Red Pill University | Blockchain Interviews” Feb 6, 2021 <https://www.youtube.com/watch?v=DnZzkelN6g8>

** “Stephen Bannon Buys Into Bitcoin” *New York Times*. www.nytimes.com/2018/06/14/technology/steve-bannon-bitcoin.html

служб и разведки, которые имели отношение к скандалу Иран-контрас* и прочим попыткам «секретного правительства» вести необъявленные войны по всему миру, пользуясь услугами наркоторговцев и профессиональных убийц, прячась за компаниями-оболочками и анонимными банковскими счетами**. На недавнем заседании Eagle Forum*** Джон Синглауб, один из основателей ЦРУ и организаторов операций Иран-контрас, вручил награду последователю Трампа и теоретику конспирологии Майклу Флинну****. Сотрудники спецслужб продолжают поддерживать свои агентурные сети и пытаются осуществлять неофициальное финансирование. Ходят слухи, что, помимо Общества Джона Берча и его правопреемника Кью-Анон*****,

* Иран-контрас (англ. Iran-Contra affair, также известен как «Ирангейт») — крупный политический скандал в США во второй половине 1980-х гг. Разгорелся в конце 1986 г., когда стало известно, что отдельные члены администрации США организовали тайные поставки вооружения в Иран, нарушая тем самым оружейное эмбарго против этой страны. Дальнейшее расследование показало, что деньги, полученные от продажи оружия, шли на финансирование никарагуанских повстанцев-контрас в обход запрета конгресса на их финансирование (Прим. пер.).

** Iran Contra. Christic Institute Archives. <https://christicinstitute.org/iran-contra/>

*** Консервативное общественное объединение, основанное Филлис Шлэфли (Прим. пер.).

**** “Service to America Award to General Michael Flynn” SEPTEMBER 14, 2018 <https://www.c-span.org/video/?451354-1/service-america-award-general-michael-flynn>

***** Кью-Анон (*QAnon*) — распространенная в США теория заговора, наиболее популярная во времена президентства Дональда Трампа. Последователи Кью-Анон убеждены в том, что Соединенными Штатами (или даже всем миром) правит некая тайная и могущественная клика сатанистов-педофилов, включающая в себя лидеров Демократической партии, бизнесменов, голливудских актеров, королевские семьи и других знаменитостей. Трамп являлся централь-

многие из этих сотрудников секретных военных служб связаны с католическими организациями правого толка и Суверенным Мальтийским орденом*. Бэннона часто подозревают в связях с консервативными фракциями в Ватикане**. Мальта, сотрясаемая чередой коррупционных скандалов, рассматривается как прибежище биткоина***.

Либералы опасаются, что Стив Бэннон стал одним из главных зачинщиков этой *психологической войны* в Соединенных Штатах, воспользовавшись способностью биткоина обеспечивать тайное финансирование****.

ным положительным героем Кью-Анон. Пока он занимал пост президента США, сторонники Кью-Анон раз за разом ожидали от него неких решительных действий — массовых чисток, арестов и пр. (*Прим. пер.*).

* Seymour Hersh. General Army brass connected to Knights of Malta and right-wing Catholic groups. (<https://www.rawstory.com/2011/01/highranking-members-military-part-knights-malta-opus-dei-reporter-claims/>)

** “Steve Bannon drafting curriculum for right-wing Catholic institute in Italy” SEPTEMBER 14, 2018 <https://www.reuters.com/article/us-eu-politics-bannon-catholics-idUSKCNLU176>

*** “Crypto billions moved through Malta amid ‘lax oversight’” June 20, 2021 <https://timesofmalta.com/articles/view/crypto-billions-moved-through-malta-amid-lax-oversight.880637> <https://www.cbsnews.com/news/inside-the-corruption-allegations-plaguing-malta-60-minutes-2019-06-23/>

**** «У криптовалют большое будущее, — сообщил Бэннон CNBC в пятницу. — В перспективе они могут стать очень важным компонентом, особенно в этом глобальном популистском восстании». Как владелец биткоинов, Бэннон заявил, что он него потребовалось «достаточно прозорливости, достаточно смелости, чтобы скупать их, пока их стоимость неуклонно снижалась». <https://www.cnbc.com/2019/08/02/steve-bannon-goes-against-trump-on-bitcoin-and-cryptocurrencies.html>.

Патрик Берн, еще один ключевой советник Трампа и учредитель America Project для «проверки» итогов выборов 2020 года, считает, что во время американских выборов следует использовать технологию «блокчейн». (<https://www.forbes.com/sites/billybambrough/2021/06/10/former-trump->

Биткоин, как полагают некоторые, помогает оказывать финансовую поддержку таким психологическим операциям, как теория заговора Кью-Анон — современный аналог Общества Джона Берча, а также другим экстремистским группировкам*. Биткоин, возможно, помогает финансировать такие организации, как Cambridge Analytica, которая занимается дезинформационными кампаниями. (Некоторые утверждают, что акция Occupy Wall Street была операцией в психологической войне.) Биткоин может быть задействован в привлечении денежных средств для секретных операций частных военных компаний во главе с «Блэкуотер» Эрика Принса, что напоминает операции эпохи Синглауба**. Типичным инструментом секретной психологической войны является организация Project Veritas, частично финансируемая Эриком Принсом***.

advisor-calls-for-a-radical-overhaul-of-the-us-voting-system-using-blockchain/?sh=260bccdo2d9a)

* «The Oath Keepers, Proud Boys и прочие организации расистской и антииммигрантской направленности получили внезапный куш благодаря платформе доставки потокового видео DLive, криптовалютам и прочим методам привлечения финансирования». <https://www.theguardian.com/world/2021/mar/10/us-far-right-extremists-millions-social-cryptocurrency>

** Эрик Принс призвал использовать биткоин для поддержки армий наемников в Венесуэле. <https://bitcoinist.com/venezuela-pro-bitcoin-opposition-may-use-maduros-sanctioned-funds-to-oust-him/>

*** «Летом 2018 года организация Project Veritas обеспечила средства для аренды роскошного особняка в Джорджтауне — удобного места для свиданий агентов-женщин с федеральными служащими ФБР, Государственного департамента и Министерства юстиции наряду с прочими агентствами. В сентябре 2018 года организация Project Veritas обнародовала серию видеороликов под названием «Разоблачение глубинного государства» (Deep State Unmasked). В одном из документальных свидетельств упоминается «Ричард» — вероятно, Ричард Седдон, бывший агент МИ-6. Г-н Седдон был завербован в Project Veritas в 2016 году Эриком Принсом, во-

Наибольшее коварство заключается в том, что биткоин не только помогает финансировать психологические операции, но и сам является в некотором смысле злонамеренной *психологической операцией*, призванной дезориентировать общество. Реакционные силы, как предупреждают некоторые, используют биткоин в своего рода «войне 5d», где война ведется по другим правилам. По мнению некоторых, за многими такими негласными попытками могут стоять Китай и Россия, которые используют биткоин как тайный канал влияния. Действительно, Китай и Россия превратились в мировых лидеров в области майнинга биткоинов: их майнеры развертывают огромные фермы компьютерных серверов, потребляющие много элек-

енным подрядчиком и братом Бетси Девос, которая была министром образования в администрации Трампа. В 2017 году г-н Седдон обучал агентов Project Veritas на семейном ранчо г-на Принса в Вайоминге. Он помогал контролировать увеличение численности персонала и часто проводил собеседования с кандидатами в аэропорту Коди, штат Вайоминг, неподалеку от ранчо Принса. Г-н Седдон, проживающий в Вайоминге, покинул Project Veritas в середине 2018 года, чтобы вести свой собственный политический шпионаж в Вайоминге и Колорадо, направленный против демократов и республиканцев, считавшихся недостаточно преданными г-ну Трампу. Эта операция финансировалась, по крайней мере частично, Сьюзан Гор, состоятельным членом консервативной партии и наследницей империи Gore-Tex, по словам людей, осведомленных о ее роли. Он учредил консервативную организацию под названием Pillar of Law Institute, президентом которой является г-н Барр, юрист Project Veritas. Г-н О'Киф любит говорить о нем как о журналисте-рыцаре, изображающем пороки, преследующем либеральные группировки и политиков-демократов. Он хвастался в СМИ, что создает «новую великую разведслужбу». Агенты г-на О'Кифа работают под чужими именами и используют скрытую съемку, чтобы поймать в ловушку ничего не подозревающие мишени». "Project Veritas and the Line Between Journalism and Political Spying" <https://www.nytimes.com/2021/11/11/us/politics/project-veritas-journalism-political-spying.html>

троэнергии, для чеканки новых монет. Утверждают даже, что под псевдонимом Сатоси Накамото скрывается сотрудник российской службы разведки, что напоминает историю с Гучцифером*. Как отмечалось, у Соединенных Штатов нет реального средства против биткоина, который в конечном итоге может быть использован для дестабилизации всей финансовой системы Запада [De Filippi, Loveluck 2016; DuPont 2017]**.

Хотя биткоин и обладает некоторыми опасными характеристиками, многие либеральные теоретики, как представляется, заменили одну теорию заговора другой. Биткоин не является частью масштабного заговора правых***. В следующем параграфе мы показываем, как биткоин связан с определенными идеологическими установками.

2. Биткоинизм как идеология: анархизм, отрицающий семью и государство

Анархистская теория развивалась во многих странах, в том числе в России. Во многом это было обусловлено географическими факторами: обширные леса и степи

* Хакер по прозвищу Guccifer 2.0, взявший на себя ответственность за взлом ящиков электронной почты предвыборного штаба экс-госсекретаря Хиллари Клинтон (*Прим. пер.*).

** См. также: David Troy & Recluse, "Cults, Special Operators, Cryptos, and Grifters." The Farm <https://poddtoppen.se/podcast/1504006250/the-farm/cults-special-operators-cryptos-and-grifters-w-david-troy-recluse>; "The Secret History of Cryptocurrency: John Brisson, Clay Vandiver & Recluse" Aug. 09.2021 <https://podcastaddict.com/episode/126852475>

*** «Масштабный заговор правых» (vast right-wing conspiracy) — термин, придуманный супругой экс-президента Билла Клинтона в период скандала вокруг его отношений с Моникой Левински: Хиллари Клинтон утверждала, что именно этим заговором были обусловлены нападки на ее мужа (*Прим. пер.*).

мешали созданию иерархического города-крепости. Так, археологи обнаружили существование на территории Древней Руси городов размером с города Месопотамии, но эти города представляли собой децентрализованные племенные общины (family-state).

Самые ранние из них появились около 4100 лет до н. э. В отличие от месопотамских городов, располагавшихся на территории современных Сирии и Ирака, которые первоначально формировались вокруг храмов, а затем и вокруг царских дворцов, города Древней Руси представляли собой удивительные попытки децентрализованной урбанизации. Эти поселения имели планировку в виде кольца или серии колец, образованных домами, среди которых не было ни первых, ни последних, и разделялись на зоны с общественными зданиями для общих собраний.

Данные о военных действиях или появлении социальной элиты практически отсутствуют. Сложная организация этих ранних городов проявлялась в политических стратегиях, которые использовались для предотвращения подобных явлений. Проведенный археологами тщательный анализ показывает, как через процессы принятия решений на местном уровне в домашних хозяйствах и на собраниях соседей, поддерживались социальные свободы жителей, без необходимости централизованного контроля или управления «сверху-вниз» [Graeber, Wengrow 2021].

Западный человек не мыслит жизни без того, чтобы смотреть «глазами государства»*. В России же всегда наблюдалась нехватка институтов, унаследованных из римского права, равно как и общественных инсти-

* Автор отсылает к известной книге американского антрополога Джеймса Скотта Seeing Like a State. В русском переводе книга называется «Благими намерениями государства» (Прим. пер.).

тутов европейского города [Pipes 1974]. Русские считают, что ценности создаются работой — работой семьи и добровольных объединений. Государство, напротив, способствует появлению *нахлебников*: бюрократия рассматривается как *клещи*.

Эти популярные взгляды нашли свое место в интеллектуальной традиции России. Фредерик Ле Пле, основатель современной социологии, который работал в царской России, придерживался консервативного мировоззрения: общество должно опираться на семью, без значительного вмешательства государства. Оплотом общества должна служить «родовая семья» (*familie souche*), которая осуществляет производство, обмен и потребление без использования денег. В семейных бюджетах Ле Пле товары и услуги циркулируют между семьями и *артелями* на основе бартера и традиции, а не посредством денег [Мондэй 1999; 2004]. Александр Герцен и Бакунин боролись за так называемое безгосударственное общество, основанное на свободном объединении крестьянских хозяйств. Эта концепция привлекала и самого Карла Маркса. Писатель Лев Толстой прославлял русскую семью как естественную, нравственную основу общества и говорил о нежеланном вмешательстве и разрушительной силе государства. Александр Чаянов доказывал, что кооперативное движение могло бы объединить крестьян и небольшие предприятия в новую систему, отрицающую государство. Сам Ленин в таких работах, как «партизанская война», оказался под влиянием анархистского мышления*. Хотя

* Ленин писал: «Какие основные требования должен предъявить всякий марксист к рассмотрению вопроса о формах борьбы? Во-первых, марксизм отличается от всех примитивных форм социализма тем, что он не связывает движения с какой-либо одной определенной формой борьбы. Он признает самые различные формы борьбы, причем не «выдумывает» их, а лишь обобщает, организует, придает

в советской литературе утверждалось, что «легальный марксизм достиг победы над народничеством», в реальности между анархистами, синдикалистами, народниками, меньшевиками-марксистами и тред-юнионистами образовался консенсус. Не имеющий руководителя рабочий класс вместе с крестьянскими общинами и кооперативами образует безгосударственное общество. Чайнов в 1920-е годы предсказывал, что памятник Кропоткину будет стоять рядом с памятником Ленину.

Короткий экскурс в основные течения русской интеллектуальной жизни можно получить, ознакомившись со взглядами русских революционеров в Соединенных Штатах — центре вынужденной эмиграции. Дж. Эдгар Хувер поручил специальному агенту Анатолью Родау внедриться в группы русских революционеров. В его подробных отчетах подчеркивается огромная поддержка, которой пользовался Кропоткин, и лишь мимоходом упоминаются Троцкий и Ленин как второстепенные фигуры*. Революционер Джон Рид был тред-юнионистом, а не большевиком. Эмма Гольдман поддерживала свободную любовь и анархию [Falk 1990]. В первой популярной антисоветской книге — «Мое разочарование в России» (1923) — она утверждала, что большевики предали дело революции**. И в этом смысле она стала предвестницей и примером для подражания для Айн Рэнд.

сознательность тем формам борьбы революционных классов, которые возникают сами собою в ходе движения». Партизанская война (1906). <https://leninism.su/works/52-tom-14/2873-partizanskaya-vojna.htm>

* Rodau A. (1919). The Bolsheviki Movement in America: Union of Russian Workers-Anarchists-Communists, First Branch of Socialists-Bolsheviki: Summary Report. US Department of Justice, Bureau of Investigation, report of Aug. 5, <https://archive.org/details/190805RodauReportonrussianradicalism>.

** См.: «Похороны П. А. Кропоткина» (1921) (Funeral of Kropotkin) на Youtube. <https://www.youtube.com/watch?v=9pBpSR4zJaY>

Важной составляющей русского мировоззрения является понятие *поступка* — благородного жеста (*beau geste*). Типичный русский герой пребывает в мире, не имея ярко выраженной индивидуальности. В духе экзистенциализма личность героя формирует драматическое действие (*поступок*), зачастую не имеющее практических последствий. В романе Пушкина «Евгений Онегин» центральное действие вращается вокруг выбора партнеров по танцам на балу. Раскольников Достоевского, его решения в ломбарде, имеют глубокие метафизические последствия. Русский народник Николай Михайловский связывал анархическую, основанную на крестьянстве, экономику с развитием подлинной личности. Впоследствии философ Михаил Бахтин предрекает, что философия *поступка* станет центральной темой русской философии [Бахтин 1985]. Для экзистенциального *поступка* значение имеет намерение и возможность сформировать нравственный универсум. Практическое воздействие, экономика не столь важны. Подлинного героя заботит создание цельной, нравственной личности, а не приобретение *мещанских* благ. Для Онегина и Раскольникова чисто экономические соображения (в западном смысле) не существуют. В третьем параграфе показано, что для Айн Рэнд деньги связаны с нравственным *поступком*, а не с гедонистическим материализмом.

3. Кто такой Джон Голт? Айн Рэнд как русский философ

В настоящем параграфе утверждается, что Айн Рэнд работала в русле русской традиции анархизма и экзистенциального *поступка**. Рэнд настаивает на том,

* См. биографический очерк о жизни Рэнд в России и СССР [Sciabarra 2013].

что приобретение денег — это благородное деяние, добродетель Эгоизма. Но все же герои Рэнд, в лучшей русской традиции, на самом деле не заинтересованы в обогащении, они скорее мазохисты, а не гедонисты. Эти мученики-идеалисты заинтересованы в деньгах как в чем-то трансцендентном, как в пути для самопреобразования. Таким образом, Джон Голт и Говард Рорк являются истинными продуктами русского ума — самоотверженными, но при этом эгоистичными.

В романе Айн Рэнд «Атлант расправил плечи» главный герой Джон Голт — гений, человек, способный к самовозрождению и к возрождению всего общества. Это напоминает литературные персонажи Раскольников, Онегина, Базарова и Печорина. Голт изобретает новаторский метод создания энергии — открытие которой перевернет общество. Но на Голта ополчаются лодыри, нахлебники и правительство. И вновь в русской традиции, как Онегин и Печорин, Голт исчезает и становится человеком-загадкой.

Голт обращается к истинным героям общества с манифестом. Они должны выковать новую мораль, совершив символические действия. Они должны жить для себя, а не для государства. Они должны крепко дружить и страстно любить друг друга. Один из героев мелодраматично восклицает: «Секс — наиболее эгоистичное из всех человеческих деяний!» Высмеиваемая на Западе, эта идея противостояния государству личными действиями занимает центральное место в российском анархизме и играет ключевую роль в философии Гольдман. Это перекликается с вызывающим поведением Онегина.

Рэнд через своих героев призывает человечество не только формировать прочные привязанности, но и противостоять государству. Квинтэссенция человека — это человек производящий (*Homo Faber*). Государство посредством налогообложения причи-

няет человеку моральный вред. Налогообложение безнравственно — оно не имеет отношения к экономике. В утопии Рэнд государство должно исчезнуть, а полиция и армия стать частными. А пока героям следует бросить символический вызов государству, объявив забастовку, — своего рода «выход» по Хиршману.

Герои проповедуют «добродетель эгоизма», но в действительности они не стремятся к преуспеванию или сибаритству. Вместо этого в истинно русской традиции, они страдают от порицания своих идей — *униженные и оскорбленные*. Эти герои пекутся о собственной морали и о морали своих друзей и близких. Они, по иронии, глубоко альтруистичны. По мнению Рэнд, следует быть нравственным, а не просто блюсти свои интересы. И поэтому Айн Рэнд — не Милтон Фридман, она не склонна давать практические советы о том, как преуспеть. Скорее, как Толстой и Достоевский, Рэнд дает руководство для жизни. Множество друзей автора этой статьи стали объективистами по Айн Рэнд, пожертвовав многим для того, чтобы не поступаться своими идеалами.

Центральное место в идеальной утопии Джона Голта занимают деньги, а не только *поступок*.

...Если вы хотите делать или хранить деньги, они потребуют от вас высших добродетелей. Люди, не имеющие отваги, гордости или самоуважения, люди, не имеющие морального права на деньги и не желающие защищать их, как они защищают свою жизнь, люди, которые просят прощения за то, что они богаты, недолго останутся богатыми. Они — настоящая приманка для толп мародеров, толпящихся у подножия горы и пытающихся вскарабкаться на нее при первом возникновении страха у человека, который виновато просит прощения за то, что он обладает богатством. Они поспешат освободить его от сей вины,

а заодно и от жизни... И вот тогда вы увидите, как поднимутся люди двойных стандартов, те, кто живет по принципу силы, но рассчитывает на тех, кто живет, создавая деньги, которых они грабят, попутчики добродетели. В нравственном обществе они — преступники, и законы написаны для того, чтобы защитить вас от них. Но когда общество создает «преступников-по-праву» и «грабителей-по-закону», которые используют силу, чтобы завладеть деньгами беззащитных жертв, тогда деньги становятся мстителем своих создателей. Такие грабители уверены в своей безопасности, когда грабят беззащитных людей, закон их не разоружит. Но их добыча становится магнитом для других грабителей, которые отбирают ее. Начинается гонка не среди лучших производителей, а среди самых отъявленных воругов. Когда сила становится главным законом, убийца одерживает верх над карманным воришкой. И тогда общество исчезает во мраке руин и кровавой бойни. Вы хотите узнать, близок ли этот день? Следите за деньгами. Деньги — барометр общественной добродетели. Когда вы видите, что торговля ведется не по согласию, а по принуждению, когда для того, чтобы производить, вы должны получать разрешение от тех людей, кто ничего не производит, когда деньги уплывают к дельцам не за товары, а за преимущества, когда вы видите, что люди становятся богаче за взятку или по протекции, а не за работу, и ваши законы защищают не вас от них, а их — от вас, когда коррупция приносит доход, а честность становится самопожертвованием, знайте, что ваше общество обречено <...> Когда бы разрушители ни появились среди людей, они начинают с разрушения денег, потому что деньги — защита людей и база их нравственного существования. Разрушители завладевают золотом, оставляя его хозяевам кипы обесцененных бумаг. Они убивают все объ-

ективные стандарты и отдают людей под деспотичную власть тех, кто произвольно устанавливает ценности. Золото было материальной ценностью, эквивалентом произведенного богатства. Бумага — закладная расписка за несуществующие ценности, обеспеченная лишь угрозами расправы с теми, кто откажется созидать. Бумага — это чек, выписанный легальными гражданами на счет, который им не принадлежит, на счет добродетели жертв* [Рэнд 2016, с. 424].

Для Айн Рэнд деньги связаны с нравственностью и верностью себе. Денежная операция — это подлинный *поступок*, с серьезными метафизическими последствиями. Как и действия Онегина и Раскольникова, операции с деньгами определяют ваше истинное лицо. В следующем параграфе мы поговорим о создателе биткоина, Сатоси Накамото, как об архетипическом русском герое — одновременно эгоистичном и жертвенном.

4. Сатоси Накамото как Джон Голт

У биткоина было много предшественников. Компания Pizza Hut в 1994 году стала пионером в области онлайн-продаж и заговорила об электронных расчетах. Несколько раз появлялись проекты виртуальной валюты. DigiCash в 1989 году, возможно, стала первой цифровой валютой. В 1998 году Ник Сабо представил свое цифровое золото (Bit Gold). Адам Бэк разработал Hashcash. Одна из действующих цифровых валют была разработана в Кении компанией Safaricom в 2007 году. Кенийцы торговали минутами сотовой

* Речь Франциско д'Анкония о деньгах из романа Айн Рэнд «Атлант расправил плечи» (1957).

связи в форме виртуальной валюты. Отличие биткоина состояло в том, что он предлагал не просто новый товар, а новый образ жизни.

Приняв на себя роль рэндовского Джона Голта, Сатоси Накамото превратил попытки безналичных платежей в целостную мировоззренческую картину*. Как и Онегин с Голтом, Сатоси — таинственный гений. О нем практически ничего не известно. Как и Голт, он навсегда покидает страну. Он призывает создать мир, движимый своекорыстными потребностями, но сам он бескорыстен. Это *поступок*, экзистенциальный *жест*, а не просто стремление к материальному выигрышу или стяжательство. Сатоси не буржуазный *мещанин*.

Сатоси не просто создает модную игрушку: он призывает изменить образ жизни — Прометей, избавившийся от оков, освободившийся от пут государства. Биткоином в идеале будут обмениваться непосредственно работники и сообщества. Работа будет обмениваться на работу без посредничества государства. Биткоин, таким образом, оживляет анархистскую мечту Герцена, Бакунина, Михайловского, Гольдман, Джона Рида, Кропоткина и Чаянова. Как и в случае с Джоном Голтом, подлинные герои, создатели, могут покинуть безнравственную систему насилия и принуждения и войти в новый Иерусалим, основанный на честности и достоинстве.

Вспомним слова Сатоси Накамото:

Да, мы не найдем решения политических проблем в криптографии, но мы можем за несколько лет выиграть большую битву в гонке вооружений и захватить новую территорию свободы. Прави-

* Отмечалось, что наперсник Накамото Хэл Финни (которого некоторые считают истинным создателем биткоина) был поклонником Айн Рэнд [Columbia 2016, p. 10].

тельства умеют сечь головы у централизованных сетей типа Напстера, но настоящие децентрализованные сети, как Гнутелла и Тор, кажется, им не доступны. Система биткоина оказывается полезной и ценной для общества, и поэтому операторы узлов чувствуют, что они своими усилиями вносят полезный вклад в мировое существование (подобно различным проектам общественного компьютеринга @Home/, где люди жертвовали свои компьютеры на благое дело). И в этом случае, как мне кажется, простого альтруизма достаточно для поддержания нормальной работы сети. Биткоин, если мы сможем правильно его объяснить, созвучен с либертарианской точкой зрения*.

Сама архитектура биткоина является выражением идеалов Айн Рэнд. Майнеры, производящие основную часть хеширования, доказательства выполнения работы, имеют решающий голос. Они определяют, добавить ли в цепочку новое звено. Как в крестьянской общине, биткоин не является эгалитарным, а зависит от героев, вкладывающих в него реальный труд. Но майнеры не всегда получают денежную компенсацию. Это будет особенно актуально, когда будут добыты все биткоины. Как и у Рэнд, эта нравственная система, основанная на деньгах, в конечном итоге зависит от чувства морального долга, от *поступка*.

5. Российская криптоутопия

В современной России биткоин нашел плодородную почву. Эта новая идеология биткоина популярна среди простых людей, а не является частью поддерживаем-

* <https://satoshi.nakamotoinstitute.org/emails/cryptography/4/#section-39.1-47.168>

мого государством, сконструированного социального движения. Основанную на криптовалюте идеологию подпитывают неформальные субкультуры.

Российское правительство никогда официально не запрещало биткоин, но выносило предупреждения тем, кто им торгует. В России конкуренция с рублем в качестве «денежного субститута» считается правонарушением. Тем не менее Россия занимает восемнадцатое место в мировом индексе принятия криптовалют (Global Crypto Adoption Index), составляемом информационным агентством Chainalysis*.

Биткоин, как мы показали в параграфе 3, связан с либертарианством Айн Рэнд, которая имеет в России многочисленных сторонников. Среди поборников российской криптоутопии можно упомянуть российских анархистов, которые вполне в духе российской либертарианско-анархистской традиции призывают к уменьшению роли государства с одновременным увеличением роли семьи. Концепция анархистского, базирующегося на семье общества напоминает идеи Ле Пле, Кропоткина и Чаянова. Подобная утопия, как считают анархисты, становится возможной благодаря биткоину.

Религиозные секты в России создают еще один стихийный стимул для анархизма [Эткинд 1998]. Благодаря биткоину подобные изолированные общины могут теперь торговать друг с другом и хранить свои сбережения, обходясь без государственных банков. Это перекликается с мыслью французского теоретика Жака Эллюля, который считал, что Иисус был не только социалистом, но и анархистом. Для Эллюля анархизм — это наиболее полная и серьезная форма социализма [Ellul 1991].

* <https://blog.chainalysis.com/reports/2021-global-crypto-adoption-index>

6. Корейская криптоутопия. Что означает *존버?*

В настоящей статье доказываемся, что криптоидеология — это стихийное движение, основанное на идее племенной общины, традиционной для России и большей части Азии. Как финансовый инструмент, криптовалюта прочно укоренилась в Южной Корее: по одной из оценок, в 2020 году из 51,2 миллиона криптотрейдеров мира пять миллионов проживали в Южной Корее. В этом заключительном параграфе рассматривается принятие культуры биткоина широкими массами южнокорейского населения.

Корейское правительство считает, что «биткоин — страшная вещь (정부 입장에서 비트코인은 두려운 존재다)». Это вызвано тем, что Южная Корея опирается на модель развития типа «рука помощи», где государство играет активную роль в управлении экономикой и в определении победителей и проигравших [Chang 2007]. В частности, государственная денежно-кредитная политика и манипулирование обменным курсом имеют решающее значение для передачи богатства государственным чоболам*. Так, администрация Ли Мен Бака манипулировала курсовой политикой для поддержки крупных компаний-экспортеров. Но подобные манипуляции обменным курсом станут затруднительны, когда значительная часть активов будет инвестирована не в корейскую вону, а в криптовалюту. «Таким образом, криптовалюту можно рассматривать как попытку исключить правительство из денежно-кредитной политики». Можно считать, что биткоин отражает тенденции к либерализму и анархизму с целью избавления от государствен-

* Чобол — финансово-промышленная группа в Южной Корее (Прим. пер.).

ного регулирования. Чой Йонг-кван, президент R2P Association, предупреждает: «Некоторые либертарианские группировки (правого толка) вовлечены в оборот биткоина, но и неоанархистские группировки также в нем участвуют» (비트코인 이용엔 일부 자유지상주의(우파) 그룹이 포함되어 있지만 네오 ана키스트 그룹도 참여를)*.

Биткоин особенно важен для Южной Кореи из-за особой роли, которую играют деньги в Азии. Деньги служат не только средством обмена и накопления, но и способом поддерживать семейные отношения в рыночной экономике. Деньги — это путь к соединению старых и молодых поколений семьи. С антропологической точки зрения, обмен зачастую носит неденежный характер (например, обмен услугами в пределах семьи). Часто денежные обмены приводят к образованию неденежных отношений. Модели обмена регулируются нравственными законами, особенно в Азии. От детей в Азии ожидается, что они будут выполнять значительную часть работы по уходу безвозмездно, поскольку это считается моральным долгом детей. Эндрю Б. Кипнис, специалист по Азии, утверждает:

Даже если мы ограничимся обсуждением деятельности по обмену наличными деньгами, мы можем наблюдать другие социальные, нравственные или правовые основы, структурирующие порядок осуществления обмена. Дарение денег, которое имело место, когда семьи племянников и племянниц господина Вонга посетили домашний алтарь семьи Вонгов перед похоронами господина Вонга, сопряжено с иными ожиданиями, нежели оплата услуг похоронного бюро. Дарение денег восстанавливает родственные отношения между семьями дарителей и получателей. Выпла-

* 조세회피처 대신 비트코인? 국가 금융통화 정책도 무력화 2014.01.25
<http://www.mediatoday.co.kr/news/articleView.html?idxno=114341>

та денежных средств похоронному бюро, напротив, не устанавливает родственных отношений между похоронным бюро и семьей, проводящей похороны. Отражая различные виды социальных отношений, деньги могут представлять собой ренту, деньги на выпивку, выигрыш в лотерею, денежный подарок, деньги для внуков и т. д. Это так же верно применительно к современным деньгам, как было верно применительно к так называемым традиционным валютам, валютам специального назначения, таким как раковины каури в Новой Гвинее. Это одинаково верно и применительно к официальной экономике государственного налогообложения и бухгалтерского учета, и применительно к неофициальной экономике домашних хозяйств или уличных торговцев. Но помимо относительной универсальности категоризации денег, обычно существуют и формы оригинальной морали, новаторского толкования правил или творческого бухгалтерского учета, которые позволяют использовать деньги одного вида как деньги другого вида <...> два разных вида денежного обмена также сопряжены с разными наборами моральных ожиданий» [Kipnis 2021, p. 71–72].

Итак, деньги в Азии обладают своими собственными уникальными характеристиками, основанными на логике межсемейных подарков. Дарение создает особую разновидность инфляции. Кроме того, дарение считается семейным делом: разные члены семьи никогда не делают два подарка. Если одна семья делает подарок другой семье, то ожидается, что эта семья должна сделать в ответ подарок на более крупную сумму, когда представится такая возможность. Возвращение той же суммы приведет к прекращению отношений между семьями. Таким образом, переход к биткойну будет иметь не только значимые экономические

последствия, но и окажет серьезное этическое воздействие.

Неслучайно официальные новостные СМИ Южной Кореи демонизируют биткоин как антисоциальный и безнравственный. В вечерних новостях регулярно рассказывают о нестабильности и волатильности биткоина. В обзорах новостей предупреждают о том, что эти колебания могут дестабилизировать рынки. В других сводках новостей сообщают об использовании биткоина в качестве средства финансирования оборота наркотиков (запрещенного в Южной Корее) и торговли секс-услугами. В частности, печально известные порновидео Nbang стали возможными благодаря незаконным платежам в биткоинах. Короче говоря, с точки зрения государства, биткоин расшатывает моральные устои общества*.

Несмотря на эту демонизацию (а возможно, и благодаря ей), биткоин завладел умами корейской молодежи. Студенты автора инвестируют в биткоин и усердно следят за его взлетами и падениями. Значительная часть новой биткоин-культуры связана с видеоиграми. Для корейских подростков инвестирование в биткоин — это своего рода героическая авантюра.

Большую часть корейской биткоин-философии можно выразить неологизмом «чжон-бо» (존버), который, по-видимому, появился в среде профессиональных геймеров. В Южной Корее видеоигры считаются одним из главных видов спорта и серьезной профессией. Хотя никто доподлинно не знает, как именно родилась эта фраза, по-видимому, она впервые была произнесена профессиональным геймером 딸돌돌이, который призывал игроков своей команды держаться и не отступать. Во время игры часто поднималась тема колебаний стоимости биткоина. Вместо

* https://www.koreatimes.co.kr/www/biz/2021/04/175_307487.html

того чтобы паниковать, геймеры твердили друг другу, что нужно сохранять спокойствие и отвагу. «Мне не стыдно за фразу о биткойне. Это слово, которое появилось при выражении мнения о биткойне, когда мода на биткойн переживала нелегкие времена», — заявил один из геймеров*. Таким образом, инвестирование в биткойн — это подвиг, он определяет личность и бросает вызов культурным нормам. Чжон-бо (존버) — это *поступок* по-корейски. Чжон-бо прославляют корейские звезды хип-хопа**.

* * *

Подведем итоги. В настоящей статье показано, что кажущееся частным и тривиальным решение о том, в какой форме получать заработную плату и как ее инвестировать, оказывает огромное воздействие на сплоченность общества. Даже в современном, либеральном мире око общественной морали неотрывно следит за мельчайшими подробностями повседневной жизни. Частные прегрешения превращаются в публичные преступления. Питер Болдуин считает: «В коллективистской системе, управляемой священнослужителями (теократия) или диктатором (автократия), действие индивидуума — например, частное идолопоклонничество или присвоение имущества, которое по определению является коллективной ответственностью, — может нарушать общественный порядок. Но идею чисто индивидуальных прегрешений

* «일단은 존버하고 있긴 한데 그래도 불안하네요.» <https://www.youtube.com/watch?v=loyt13PEOEU>; 이것이 여돌 에이프릴의 ‘존버’ 뜻 풀이?! | 레전드 클럽 Ep 4-6 (APEX 레전드) <https://www.youtube.com/watch?v=bgLVlu-33lo> at 439

** (MC MONG) 존버. Oct 25, 2019 <https://www.youtube.com/watch?v=i6o5IRlbwAo>

пресекают и в светских и политически либеральных обществах. Они тоже насаждают общие этические нормы. Граждане имеют право самостоятельно принимать те решения, которые ранее были публично одобрены и санкционированы. Моральные устои, возможно, изменились и смягчились. Но основой любого общества, даже современного, являются незыблемые моральные заповеди» [Baldwin 2021, p. 85]. Возможно, утопический мир биткойна действительно вывел ряд наших операций из-под общественного контроля, но переход к электронной валюте неизбежно породит надзорный капитализм [Zuboff 2019]. Как и в случае с другими анархистско-утопическими проектами, нам нужно следить за тем, чтобы переход к электронной валюте не привел нас на еще одну «Дорогу к рабству»*.

Литература

- Бахтин М. М. (1986). К философии поступка // *Философия и социология науки и техники. Ежегодник 1985*. Москва: Наука. С. 80–160.
- Рэнд А. (2016). *Атлант расправил плечи*. Москва: Альпина публицерз.
- Мондэй К. (1999). Ле Пле в России // *Вопросы статистики*. № 12. С. 65–82.
- Мондэй К. (2004). *Экономическое мировоззрение бюрократической элиты Российской империи Николаевской эпохи*: диссертация на соискание ученой степени кандидата экономических наук. Санкт-Петербургский государственный университет.
- Мондэй К. (2007). Победоносцев и Школа Ле-Плэ // *Константин Петрович Победоносцев: мыслитель, ученый, человек: материалы Международной юбилейной научной конференции, посвя-*

* «Дорога к рабству» (англ. *The Road to Serfdom*, 1944) — книга нобелевского лауреата по экономике Фридриха фон Хайека, которая считается одним из основополагающих трудов по классическому либерализму (*Прим. пер.*).

- ценной 180-летию со дня рождения и 100-летию со дня кончины К. П. Победоносцева. Санкт-Петербург, 2007. С. 29–37.
- Мондэй К. (2008). Копыльский марксист: Л. Н. Клейнборг // *Белорусский сборник*. 2008. № 4. С. 79–103.
- Эткинд А. (1998). *Хлыст. Секты, литература и революция*. Москва: Новое литературное обозрение.
- Baldwin P. (2021). *Command and persuade: crime, law, and the state across history*. Cambridge, Massachusetts: MIT Press.
- Bond E. A. (2021). *The Writing Public Participatory Knowledge Production in Enlightenment and Revolutionary France*. Ithaca: Cornell University Press.
- Chang H.-J. (2007). *Bad Samaritans: The Myth of Free Trade and the Secret History of Capitalism*. London: Bloomsbury Press.
- Davidson, J. D., Rees-Mogg W. (1997). *The Sovereign Individual: How to Survive and Thrive During the Collapse of the Welfare State*. New York, NY: Simon & Schuster.
- De Filippi P., Loveluck B. (2016). The invisible politics of Bitcoin: governance crisis of a decentralized infrastructure // *Internet Policy Review. Journal on Internet Regulation*. Vol. 5. № 3. P. 1–28.
- DuPont Q. (2017). “The Politics of Bitcoin: Software as Right-wing Extremism,” by David Golumbia // *Journal of Cultural Economy*. Vol. 10. No. 5. P. 474–476.
- Ellul J. (1991). *Anarchy and Christianity*. Eugene: Wipf and Stock Publishers.
- Falk C. (1990). *Love, Anarchy, and Emma Goldman*. New Brunswick: Rutgers University Press.
- Fox-Genovese E. (1976). *The Origins of Physiocracy: Economic Revolution and Social Order in Eighteenth-Century France*. Ithaca: Cornell University Press.
- Golumbia D. (2016). *The Politics of Bitcoin. Software as Right-Wing Extremism*. Minneapolis: University of Minnesota Press.
- Graeber D., Wengrow D. (2021). *The Dawn of Everything: A New History of Humanity*. New York: Farrar, Straus and Giroux.
- Habermas J. (1989). *The Structural Transformation of the Public Sphere: An Inquiry into a category of Bourgeois Society*. Cambridge: Polity.
- Hirschman A. (1970). *Exit, Voice, and Loyalty*. Cambridge, MA: Harvard University Press.
- Jacob M. (1991). *Living the Enlightenment: Freemasonry and Politics in Eighteenth-Century Europe*. New York, NY: Oxford University Press.
- Kelton S. (2020). *The Deficit Myth: Modern Monetary Theory and the Birth of the People’s Economy*. New York, NY: PublicAffairs.
- Kipnis A. (2021). *Funeral of Mr Wang. Life, Death, and Ghosts in Urbanizing China*. Berkeley: University of California Press.

- Monday C. (2013). Reforming America with a Russian map: How the Russian transition influenced contemporary economics // *Korean Slavic Studies*. Vol. 29. No. 4. P. 29–63.
- Monday C. (2015). An Intellectual's Revolt against the Sun: Alexander Chayanov and Abram Bragin's Albidum // *Russian History*. Vol. 42. No. 3. P. 304–342.
- Pipes R. (1974). *Russia Under the Old Regime*. New York, NY: Scribner.
- Sciabarra C. M. (2013). *Ayn Rand: The Russian Radical*. University Park: Penn State University Press.
- Wessel D. (2009). *In Fed We Trust: Ben Bernanke's War on the Great Panic*. New York, NY: Scribe.
- Zuboff S. (2019). *The Age of Surveillance Capitalism: The Fight for a Human Future at the New Frontier of Power*. London: Profile Books.

CRYPTO-UTOPIAS ON THE MARCH:
IDEOLOGIES OF CRYPTO-CURRENCY
IN RUSSIA AND SOUTH KOREA

CHRIS MONDAY. Associate Professor, Dongseo University (Busan, Republic of Korea).

Radical libertarian thinkers regard state-sponsored fiat money as manacles which bind humanity to the will of the state. The block-chain currency Bitcoin was developed as a means to break that bondage by basing savings and transactions on a value which would be completely independent of state manipulation. This paper analyzes how various thinkers in Russia and South Korea have developed this utopian vision. The paper's first section describes why Bitcoin is seen as a threat to the new liberal order of Federal Reserve-managed capitalism. The next section outlines Bitcoin's Russian anarchist roots. The third section frames Ayn Rand as an intellectual heir of this anarchist tradition. The following section highlights the ties between Ayn Rand and Bitcoin's creator, Satoshi Nakamoto. The fifth section shows how crypto-anarchist ideology has grown in Russian society. The concluding section demonstrates how this crypto-utopia has spread to South Korea.

KEYWORDS: bitcoin; cryptocurrency; ideology; Ayn Rand; Russia; South Korea.

JEL: B59, B31, B20.

«Война с наличностью» и ее цена

Андрей Заостровцев

ЗАОСТРОВЦЕВ АНДРЕЙ ПАВЛОВИЧ (e-mail: zao-and@yandex.ru), кандидат экономических наук, профессор Национального исследовательского университета Высшая школа экономики, старший научный сотрудник Международного центра социально-экономических исследований «Леонтьевский центр» (Санкт-Петербург, Россия).

В статье анализируются истоки, направления и причины так называемой войны с наличностью. Показываются ее многочисленные издержки. Утверждается, что главными заинтересованными сторонами в вытеснении наличных денег как средств платежа и накопления являются, во-первых, заинтересованные в ужесточении контроля за гражданами государства, во-вторых, современная банковская система, ориентированная на легкодоступные деньги и отрицательные процентные ставки. Рассматривается аргументация Кеннета Рогоффа как ведущего экономиста, выступающего за постепенное вытеснение наличных денег безналичными расчетами. Приводятся возражения его оппонентов, опровергающих влияние оборота крупных купюр на уровень криминальности. В итоге в статье выявляются сильные стороны наличных денег, представляющие их преимущества перед безналичным обращением on-line. Делается вывод о том, что вопрос о соотношении безналичных и наличных денежных средств должен определяться на основе свободного выбора потребителей, без принуждения в пользу первых и искусственного ограничения вторых.

Ключевые слова: наличные деньги; война с наличностью; наличные и теневая экономика; Кеннет Рогофф; издержки ограничения наличного обращения; преимущества наличных денег; свободный выбор формы денег.

JEL: E14, E26, E41.

В XXI веке государства резко активизировали внедрение мер по вытеснению наличного денежного обращения под различными «благородными» предложениями: от удобства самих пользователей денег до борьбы с терроризмом. Ряд экономистов поддерживают эту политику и агитируют за ее продолжение и развитие. Самый известный из них — Кеннет Рогофф — написал в 2016 году книгу с громким названием — «Проклятие наличности» [Rogoff 2016; Рогофф 2018]. Несмотря на то что в той же работе он верно замечает: «Величайшая угроза для ценности валюты — это, часто, само государство» [Ibid., p. 19].

В связи с развернувшейся пандемией COVID-19 вопрос о наличном денежном обращении обрел новую актуальность. В частности, заслуживает внимания обсуждение проблемы, состоявшееся на страницах журнала Института Катона (США), где была опубликована статья Рогоффа (в соавторстве с Джессикой Скаццо) [Rogoff, Scazzero 2021]. В ней развиваются положения, призванные продемонстрировать общественные потери от наличных денег. Там же предоставлено слово оппонентам данной точки зрения [Beretta, Neuberger 2021; Anthony 2021]. Немного ранее, еще в доковидную эпоху, в том же издании вышли ряд статей по той же проблеме, в которых критиковалась «война с наличностью» [White 2018; Michel 2018; Lastrapes 2018].

На практике война с наличностью ведется по четырем направлениям:

1. Принудительный обмен старых банкнот на новые и изъятие из обращения банкнот с высоким номиналом.

В плане обмена банкнот наиболее «выдающиеся» результаты из развитых стран демонстрирует Швейцария. В этой стране начиная с 1907 года прошли девять серий замены национальных денежных знаков (1907, 1911, 1918, 1938, 1956, 1976, 1984, 1995, 2016). Выпущенные

до 1976 года банкноты недействительны. Банкноты образца 1976 года все еще можно обменять на действующие. В 1984 году новые банкноты были подготовлены, но в обращение они не поступили. Обращаются банкноты 8-й серии (1995), но 9-я серия уже наготове. Проходит реформа в 2021 году. Действующие банкноты потеряют статус легального платежного средства, и обменять их на новые можно будет только в Национальном банке Швейцарии. При этом сохраняется банкнота номиналом в 1000 (!) швейцарских франков. Такие шаги могут доставить неудобства главным образом зарубежным держателям швейцарской наличности.

На фоне довольно гладких швейцарских замен обращающихся денежных знаков выделяется своей жесткостью аналогичное мероприятие в Индии в 2016 году. В стране за одну ночь были запрещены банкноты номиналом 500 и 1000 рупий (7,5 долларов и 15 долларов на момент обмена), которые составляли в то время 86% наличной денежной массы. 90% работников в Индии заняты в неформальном секторе, и такая мера поставила экономику на грань хаоса. В результате Индия испытала падение темпов роста ВВП (до 5,7% в годовом выражении в I квартале 2017 года, хотя на протяжении предыдущих трех кварталов он составлял от 7,0% до 7,9%). Что же касается заявленных целей (борьба с коррупцией и искоренение нелегальной деятельности), то они не были достигнуты. Отмечается, что предпринятые шаги не повысили и собираемость налогов, поскольку в наличности хранится не более 6% незадекларированного богатства [Chakravorti 2017].

В Индии обмен старых купюр на купюры нового образца проходил порционно (изначально в день на человека менялись суммы, эквивалентные 30 долларам). Это разрушило многие личные и бизнес-планы. Не говоря уже о колоссальных потерях времени в очередях. Ожидание растягивалось на месяцы. Вме-

сте с тем этот жестокий натуральный эксперимент показал полную несостоятельность в деле достижения поставленных целей. Предполагалось, что значительная часть купюр старого образца не будет предъявлена к обмену, поскольку, мол, их держатели из числа налоговых уклонистов и «теневиков» не решатся это сделать из-за опасения «засветиться». На самом деле 99% стоимости, представленной в выходящих из обращения банкнотах, была в итоге предъявлена к обмену на денежные знаки нового образца [White 2018, p. 483].

В 2016 году Европейский центральный банк (ЕЦБ) прекратил выпуск банкнот номиналом в 500 евро. Отметим, что это почти вдвое меньше, чем 1000 швейцарских франков. Исследователи пришли к следующему выводу:

хотя банкноты в 500 евро крупнее, чем большинство ранее обращавшихся, теневая экономика (как процент ВВП) сократилась. Аналогично эта банкнота не вносит существенный вклад в уклонение от налогов и отмывание денег или же ее влияние может быть компенсировано обычным, более строгим денежным регулированием <...> В обоих случаях мы не можем подтвердить заявленную связь между крупными банкнотами и теневой экономикой [Beretta, Neuberger 2021, p. 602].

2. Законодательные потолки на наличные платежи.

В июле 2021 года Европейская комиссия издала директиву против отмывания денег (Anti-Money Laundering Directive), в которой среди прочих мер предусматривается ограничение совершения сделки с наличной суммой 10 тысяч евро*. Надо сказать, что в большин-

* См.: European Union, 2021. *Action Plan for Comprehensive Union Policy on Preventing Money Laundering and Terrorism Financing.*

стве стран Евросоюза уже давно практикуют более жесткие ограничения [Швандар, Анисимова 2015]. И с тех пор тенденция к дальнейшему ужесточению только усиливается. Весь вопрос в том, насколько эта мера помогает бороться с нелегальной активностью и уклонением от налогов.

В статье Фридриха Шнайдера эта проблема была всесторонне проанализирована. Содержащиеся в ней выводы не позволяют увязать наличный оборот с незаконной деятельностью. Автор, прежде всего, указывает на то обстоятельство, что данные по использованию наличности криминалом очень неточные и трудно интерпретируемые. Во-вторых, сокращение оборота наличности и даже его полная замена на безналичный сократит теневую экономику, но не устранил ее. По расчетам экономиста, если полностью убрать наличные деньги из экономики (сценарий реально неосуществимый), то теневая экономика сократится на 20%, коррупция — на 18%, криминальная деятельность на 10%. В-третьих, обращается внимание на наличие других инструментов накопления и трансфера нелегально полученных активов. Называются транспортировка физических ценностей, фальшивые идентичности, подставные фирмы, криминальные посредники и т. д. И, наконец, все новые анонимные инструменты (криптовалюты и пр.) [Schneider 2017]. «Сокращение наличных денег мало что даст, когда преступники уже используют разнообразный портфель платежных технологий...» [Dalinghaus 2017].

В то же время ограничение наличного оборота государством, искусственное «подталкивание» к пользованию безналичными расчетами ужимает гражданские свободы. «Использование наличных означает

https://ec.europa.eu/info/publications/200507-anti-money-laundering-terrorism-financing-action-plan_en.

свободу, независимость и самореализацию гражданина...». В результате «граждане не должны принуждаться государственной властью к отказу от пользования наличностью. Они должны быть свободны в выборе платежного инструмента» [Ibid.]. С таким пониманием связи права на операции с наличностью и гражданских свобод придется далее встретиться неоднократно.

3. Требования о декларировании валюты на границе в случае превышения законодательно установленного минимума.

В США и Евросоюзе фигурирует одна и та же цифра — 10 000 (долларов и евро соответственно). В Китае эта цифра 5000 долларов. В Швейцарии такого рода ограничений нет [White 2018, p. 481]. Очевидно, что никаких страшных последствий для экономики отсутствие такого рода ограничений не влечет.

4. Требования к банкам об информировании при операциях с наличными деньгами граждан (внесении и изъятии депозитов, обмене валюты), отказе в так называемых сомнительных операциях с ними и блокировках счетов.

Банковский комплаенс — отдельная тема. Тем не менее он непосредственно связан с проблемой оборота наличных. Вот типичные вопросы из анкеты, которую должны заполнять клиенты европейских банков («Знай своего клиента»).

«Планируете ли вы совершать операции с наличностью (вносить депозиты, снимать наличность со счета)?»

В случае положительного ответа («да») надо уточнить ежемесячный объем оборота наличных. Затем требуется указать цель операций с наличными.

И, наконец: «Если ваш первый депозит на ваш счет будет больше 15 000 евро или эквивалентной суммы в другой валюте, то укажите источник средств».

Этот перечень вопросов в особых комментариях не нуждается. Они более всего похожи на те, что задают на допросе подозреваемому в преступлениях. Презумпция невиновности полностью игнорируется. Это свидетельствует, что права собственности на наличные деньги размываются (они «не совсем ваши»). Надо еще оправдываться за владение ими, сам факт которого подозрителен. Все эти вопросы можно свести к одному: «А зачем вам деньги?»

Казалось бы, в таком случае деньги на банковских счетах должны были быть свободны от подозрений. Однако это не так. Ограничения операций с безналичными деньгами тоже поражают, если допустить наличия полноценного права собственности на эти активы и все той же презумпции невиновности. Например, в той же анкете требуется указать ежемесячные суммы переводов. В результате такое обращение с клиентами банков есть одна из причин, по которой люди держат накопления в наличной форме, «под матрасом»*. Особо эта форма накопления усиливается во времена потрясений. Как и спрос на обращающиеся наличные. Пандемия COVID-19 — не исключение.

2020-й — это год, который действительно подчеркивает, что банкноты и монеты могут стать — особенно в беспокойные экономические времена — «якорем стабильности». Это не удивительно, так как их осязаемость является незаменимой характеристикой [Beretta, Neuberger 2021, p. 611].

* Это подтверждает тот факт, что 80% всей бумажной долларовой массы представлены 100-долларовыми банкнотами. Они редко используются в расчетах потребителей. Аналогичная картина наблюдается и в других странах. В Австралии 50- и 100-долларовые банкноты составляют около 94% стоимости бумажных денег [Rogoff, Scazzero 2021, p. 581, 576].

Каковы же аргументы противников и сторонников ограничения функционирования наличных денег? Обратимся к упоминавшейся выше статье Рогоффа и Скаццери. Авторы констатируют, что в США доминирует тенденция к снижению роли наличных денег. В 2019 году на бумажные деньги приходилось 29% от числа всех потребительских транзакций, но в стоимостном выражении они занимали 6% (по сравнению с 40% и 14% в 2012 году соответственно). В период ковида количество обращающихся долларов заметно выросло: с 1,8 триллионов в январе 2020 года до 2,1 триллионов в декабре того же года [Rogoff, Scazzero 2021, p. 571]. Однако, согласно их мнению, это не есть опровержение того, что мир идет к безналичному или гораздо менее связанному с наличными будущему.

В статье выдвигаются два заслуживающих внимания соображения. Первое касается возможности замены обращающейся наличности государственным долгом. Спрос на бумажные деньги обусловлен снижением процентных ставок и высокими налогами. В то же время правительства развитых стран, которые извлекают выгоду из эмиссии денег, могли бы извлекать не меньшую выгоду по причине заимствований под очень низкий процент. Некоторые правительства занимают под отрицательные процентные ставки, а в таком случае реальные выгоды выпуска бумажных денег вместо долга очень малы или даже отрицательны. Проблему же авторы статьи видят в том, что конвертирование бумажных денег в 10-летние облигации повысит отношение долга к ВВП примерно на 7%. Поэтому важно уточнить, как оно скажется на процентных ставках, включая ставки на ранее выпущенные долговые обязательства.

Присутствует в статье и второе направление рассуждений, связанное с доходом от сеньоража, который правительство получает по причине того, что зна-

чительная доля наличных сосредоточена в теневой экономике в силу преимущества анонимности. Далее предполагается, что вместо замены бумажных денег облигациями правительство создаст цифровую валюту центрального банка (central bank digital currency — CBDC) и предлагает ее всем в обмен на бумажные деньги. Авторы реалистично допускают, что спрос на лишенные анонимности CBDC будет существенно меньше спроса на бумажные деньги (примерно на 80%). И при этом, учитывая очень низкие процентные ставки, эта опция даст весьма незначительную экономию. В то же время допускается, что правительство и общество смогут выиграть от сокращения уклонения от налогов и преступности.

Рогофф и Скаццero описывают ситуацию с помощью следующей формулы:

$$\mu \left(\frac{i_{t-1} M_{t-1}}{P_t Y_t} \right) - \alpha,$$

где выражение в скобках — сеньораж в процентах от ВВП ($i_{t-1} M_{t-1}$ — процентный доход, который должен был бы быть выплачен, если бы изначальный запас денег был конвертирован в долг; $P_t Y_t$ — номинальный доход);

$0 < \mu < 1$ — доля спроса на деньги (наличность), которая исчезнет, в случае если деньги (типа CBDC) не будут анонимными.

α — издержки правительства, вытекающие из поощрения наличными уклонения от налогов и криминальности.

Согласно приведенным в статье расчетам, исчисленный таким способом сеньораж в США (если взять процентную ставку по десятилетним казначейским обязательствам) в период с 2010 по 2020 год включительно

находился в интервале от 0,08 до 0,23% ВВП. Далее утверждается, что выраженный вышеприведенной формулой доход консолидированного правительства от анонимной валюты, вероятно, существенно отрицательная величина и являлся таковым десятилетия. «Это означает, что консолидированное правительство, эмитируя бумажные деньги, длительное время теряло доход, а не получало прибыль» [Ibid, p. 589].

Критический взгляд на такого рода теорию может быть основан, прежде всего, на том, что ее авторы приписывают потери доходов правительства (α) уклонению от уплаты налогов и криминальной деятельности, которые, якобы стимулируются существованием наличной валюты. И вывод из этого может быть только однозначным: необходимо вытеснить ее из экономики. Однако подобная «криминализация наличности» ничем не доказывается, а просто провозглашается вроде как самоочевидный факт. Как мы видели выше, даже полный отказ от наличной валюты не приведет к искоренению ни теневой экономики, ни уклонения от налогов, ни криминальности. Поэтому неоправданно вешать их полные издержки на сам факт ее наличия, как это делают Рогофф и Скаццero. Беретта и Нойбергер в полемике с ними говорят о мифе, приписывающем наличности содействие теневой экономике [Beretta, Neuberger 2021, p. 602].

Против рассуждений Рогоффа и Скаццero выдвигаются и теоретические соображения относительно неверной интерпретации ими денег как общественно-го долга с низкой процентной ставкой.

Деньги являются неподлежащим выкупу обязательством банковской системы (IOU) по отношению к экономике в целом, тогда как долг должен быть возвращен специальным агентом (например, государством, которое должно быть неза-

висимым от центробанка, и наоборот) к выгоде других (например, инвесторов, купивших эти облигации) [Ibid, p. 601].

В статье Уайта дается наиболее обстоятельная критика «войны с наличностью». Он начинает ее с раскрытия ее целей.

Главная цель — это переместить транзакции на кредитные карты и банковские счета, которые оставляют электронный след для правоохранительных и налоговых властей. Второй целью является повысить издержки хранения наличных с тем, чтобы позволить центральному банку опустить номинальные процентные ставки ниже нуля [White 2018, p. 477].

Особо в работе подчеркивается порочная логика борцов с наличностью. Ее суть можно выразить следующей фразой: «Преступники используют крупные купюры; так что любой их использующий может оказаться преступником» [Ibid, p. 478]. Нельзя не признать, что крупные купюры удобно использовать в нелегальной деятельности и их вытеснение может нанести ей определенный урон. Однако одновременно не меньший, а возможно, и больший ущерб будет нанесен всем непричастным к этой деятельности пользователям. Это можно сравнить с неразумным ведением войны с наркотиками, когда ради ограничения доступа наркозависимых к наркотическим веществам из легальной продажи в аптеках исключаются полезные всем прочим лекарства.

Об одном из неудобств в форме разрушения финансовой приватности уже шла речь выше. Традиционным аргументом противников наличности является заявление о том, что честным людям бояться финансовой открытости их частных сделок нет смысла. Го-

сударство будет использовать информацию только против нарушителей законов. Однако ту же логику можно применить и ко многим иной приватной информации (медицинским диагнозам, например). Приватность в финансовой сфере, последовательно разрушаемая государствами под предлогами борьбы с разными ужасами (слово «терроризм» постоянно фигурирует в многочисленных официальных документах), ценна для человека сама по себе.

Кроме данного морального вреда от потери «прайвеси» (privacy) в сфере личных финансов, есть и чисто материальные издержки. Вытеснение из наличности налагает не введенный законодательно налог на держателей денег и не дает им выхода из ситуации, когда центробанки решают проводить политику отрицательных процентных ставок. Банки, таким образом, фактически превращаются в платные хранилища денег, но не столь надежные. Деньги клиента оказываются в ловушке, особенно с учетом того факта, что многие банки ограничивают выдачу наличных со счета и берут за эту операцию немалые отчисления. Зачастую транзакционные издержки перевода денежных средств со счета на счет (особенно когда речь идет о переводах из одной страны в другую) превышают аналогичные транзакционные издержки операций с наличностью. Особо велики затраты нервной энергии клиента банка, когда речь идет о переводе значимых для него крупных сумм. Деньги исчезают из поля зрения на несколько дней, и он все это время не в курсе, пройдет эта операция успешно или нет. Банковский комплаенс отбрасывает отрасль на столетия назад, в то время как современные технические возможности позволяют совершать переводы мгновенно. Можно вспомнить и о явно завышенных платежах за посреднические услуги банков при переводе средств (даже когда всю работу реально выполняет клиент в онлайн-банкинге). Оборот наличных денег не всегда сопрово-

ждается для их владельца более высокими издержками по сравнению с электронными платежами.

Для авторитарных режимов электронный безналичный оборот предоставляет идеальное средство контроля поведения масс и принуждения их к лояльности. Достаточно упомянуть формирующуюся систему так называемого социального рейтинга в КНР. Через нее контролируется не только политическое поведение, но и бытовое. Вредные, по мнению властей, покупки могут понизить этот рейтинг. Ориентируясь на его значение, возможно ограничить или даже заблокировать покупки авиа- и железнодорожных билетов, индивидуальных транспортных средств и т. п. В мире известны практики контроля и преследования людей за финансирование неугодных властям и никак не связанных с терроризмом организаций (религиозных, общественных и пр.), блокировки индивидуальных счетов и ограничения на использование хранящихся на них денежных средств без соответствующих судебных решений (в сущности, за мирную демонстрацию негативного отношения к действующей власти и/или ее представителям в той или иной форме). Диджитализация денег и их оборота становится мощным инструментом становления цифрового тоталитаризма.

Не будет преувеличением сказать, что «война с личностью» есть, по сути дела, война с людьми, в результате которой:

1. Подрывается приватность личных финансов и открываются произвольные возможности преследования за «преступления без жертвы» (операции с личными как таковые).
2. Держатели денег облагаются законодательно не утвержденным налогом, поскольку их право пользоваться не облагаемым налогом средством обращения ограничивается.

3. Наносится вред торгующему за наличные малому бизнесу и повышаются транзакционные издержки для покупателей (преимущественно бедных и малообразованных) его продукции.

В то же время наличность обладает целым рядом неоспоримых преимуществ.

1. Наличность демократична и инклюзивна.
Наличность доступна всем и каждому, без каких-либо барьеров, независимо от социального статуса, финансового положения и кредитоспособности. Она не требует отчислений и регистрации для получения, расходования и накопления.
2. Наличность защищает приватность и свободу выбора.
Наличность — самый простой и надежный способ сохранить приватность, когда цифровые и мобильные платежи оставляют след. Ее отмена будет означать нарушение прав граждан на свободу выбора и информационное самоопределение.
3. Наличность — это безопасность!
Нет более безопасной формы платежа, чем передача наличности. Шансы получить фальшивую банкноту мизерны по сравнению с шансами стать жертвой мошенничества с банковскими картами и разного рода киберпреступлений. Потери потребителей от сетевых преступлений с безналичными деньгами год от года растут. Если кто-то получает доступ к паролям, то человек рискует потерять все и сразу. Не исключены и аварии онлайн-систем с невозможностью последующего восстановления информации.
4. Наличность — универсальна.
В мире еще хватает не подключенных к банковским системам людей, для которых наличность — единственное доступное средство платежа. Она нередко выбирается как средство ежедневных платежей

не только в развивающихся, но и в развитых странах. В США в 2019 г. 26% всех транзакций совершалось с помощью наличности [Rogoff, Scazzero 2021, p. 578].

5. Наличность психологически комфортна.

Человечество много веков пользовалось осязаемыми формами денег. И для современного человека присутствие «денег в руках» создает ощущение спокойствия, повышает уверенность. В то же время деньги on-line практически всегда создают чувство беспокойства, ощущение отчужденности от них. Как можно было убедиться из вышесказанного, этот дискомфорт не просто пережиток, наследие исторической памяти, но он имеет под собой и вполне реальные основания в наши дни.

6. Наличность лучше контролирует расходы.

В случае виртуальных платежей с помощью карт, смартфонов и персональных компьютеров расходы воспринимаются как нечто абстрактное и в результате хуже контролируются, чем когда оплата совершается осязаемыми деньгами. Дело здесь не в недостатке информации (напротив, она хорошо отражается на экранах), а в отсутствии осязаемости. «Деньги из кармана» тратятся более рационально и экономно.

7. Наличные — это экономично.

На первый взгляд, все наоборот: государство несет расходы на выпуск бумажных денег, операции с ними требуют пересчета, доставки и хранения с охраной, затрат на утилизацию старых банкнот и т. д. Однако все эти расходы меркнут перед расходами на обеспечение кибербезопасности. И далее они будут только расти. Происходит своеобразная борьба снаряда и брони: хакеры изобретают новые способы и инструменты мошенничества, службы безопасности — новые методы противостояния им. Да и сама организация транзакций on-line не так дешева, как это может показаться простому пользователю.

8. В кризисных ситуациях люди обращаются к наличным деньгам. Спрос на них растет. Пандемия COVID-19 — не исключение. Несмотря на организованную кампанию по дискредитации наличных как якобы переносчика заразы, спрос на них вырос, в особенности как на средство сбережения [Beretta, Neuberger 2021].

В целом можно заключить, что государство не должно вмешиваться в соревнование между наличными и безналичными деньгами, подталкивая всячески потребителей к пользованию последними и, напротив, усложняя операции с первыми. Чаще всего эта политика проводится как в интересах самого государства (что совсем не тождественно интересам многих людей), так и в интересах влиятельных частных игроков. Вопрос должен решаться на основе свободной оценки преимуществ и недостатков форм денег самими их пользователями.

Литература

- Рогофф К. (2018). *Проклятие наличности*. Москва: Издательство Института Гайдара, 2018.
- Швандар К., Анисимова А. (2015). Зарубежный опыт развития безналичных платежей: практика и результаты // *Финансовый журнал*. 2015. № 1. С. 91–98.
- Anthony N. (2021). The Covid-19 Coin Shortage: Causes, Responses and Lessons // *Cato Journal*. 2021. Vol. 41. No. 3. P. 620–635.
- Beretta E., Neuberger D. (2021). The War on Cash: Institutional Hostility and Covid-19 // *Cato Journal*. 2021. Vol. 41. No. 3. P. 593–620.
- Chakravorti B. (2017). *Demonetisation: A Year after India Killed Cash, Here's What We Can Learn*. Brookings Institution (November 7).
- Dallinghouse U. (2017) *Keeping Cash: Assessing the Arguments about Cash and Crime. White Paper. Institute for Money, Technology and Financial Inclusion*. https://www.imtfi.uci.edu/files/images/2017/Keeping_Cash_Whitepaper_download_PDF_US_Letter_Size.pdf.

- Lastrapes W. (2018). The Costs and Benefits of Eliminating Currency // *Cato Journal*. 2018. Vol. 38. No. 2. P. 503–519.
- Michel N. (2018). Special Interest Politics Could Save Cash or Kill It // *Cato Journal*. 2018. Vol. 38. No. 2. P. 489–502.
- Rogoff K. (2016). *The Curse of Cash*. Princeton, N.J.: Princeton University Press.
- Rogoff K., Scazzero J. (2021). Covid Cash // *Cato Journal*. 2021. Vol. 41. No. 3. P. 571–592.
- Schneider F. (2017). *Restricting or Abolishing Cash: An Effective Instrument for Fighting the Shadow Economy, Crime and Terrorism?* <https://www.econstor.eu/bitstream/10419/162914/1/Schneider.pdf>.
- White L. (2018). The Curse of the War on Cash // *Cato Journal*. 2018. Vol. 38. No. 2. P. 477–487.

«WAR ON CASH» AND ITS COSTS

ANDREY ZAOSTROVTSEV (e-mail: zao-and@yandex.ru). National Research University “Higher School of Economics” (St. Petersburg, Russia).

The article analyzes the origins, trends and causes of the so-called «war on cash». Its numerous costs are shown. It is argued that the main stakeholders in ousting cash as a means of payment and accumulation are, firstly, those interested in tightening control of the state over the citizens, and secondly, the modern banking system focused on easily accessible money and negative interest rates. The article examines the argumentation of Kenneth Rogoff as a leading economist advocating the gradual replacement of cash by non-cash payments. The objections of his opponents, refuting the influence of the turnover of large banknotes on the level of criminality, are given. As a result, the article reveals the strengths of cash, representing their advantages over non-cash on-line circulation. It is concluded that the question of the ratio of non-cash and cash should be determined on the basis of the free choice of consumers, without forcing the benefit of the former and artificial limitation of the latter.

KEYWORDS: cash; war on cash; cash and shadow economy; Kenneth Rogoff; costs of limiting cash circulation; advantages of cash; free choice of the form of money.

JEL: E14, E26, E41.

Деньги и процент
в истории



Этика процента: взгляд средневекового монаха (на примере трудов Франсеска Эшимениса)

Екатерина Гущина

Гущина Екатерина Элиазаровна (e-mail: eguschina@eu.spb.ru), кандидат филологических наук, научный сотрудник факультета экономики, АНООВО «Европейский университет в Санкт-Петербурге» (Санкт-Петербург, Россия).

В статье анализируются взгляды Франсеска Эшимениса на ссудный процент. Как францисканский теолог, он представляет себе общество, в котором каждый индивид, следуя принципам христианской морали, живет для достижения общего блага и общественной пользы. С этой точки зрения экономическое поведение особенно важно. Ростовщические практики представляли для Эшимениса пример смешения экономической необходимости и морального императива. Он рассматривает ростовщичество как проявление греха алчности, в котором повинны и ростовщик, и заемщик. Признавая экономическую необходимость кредита, Эшименис стремился дать пример правильного морального экономического поведения, исключавшего ростовщичество.

Ключевые слова: экономическая этика; схоластика; ростовщичество; кредит; Средние века.

JEL: B1, B31, Z12.

Введение

Хотя размышления средневековых теологов о проценте кажутся нам очень далекими, рефлексия общества над событиями кризиса 2008/09 годов и послед-

ствиями для него эпидемии COVID-19 неожиданно нас сближают. В контексте этико-экономических дискуссий средневековые соображения на эту тему утрачивают чисто исторический интерес и становятся актуальными. Как отмечает Томаш Седлачек в книге 2012 года «Экономика добра и зла», сегодня необходимо ответить на важные вопросы: «Что мы на самом деле творим? Можем ли мы (из этических соображений) делать все, что нам (с технической точки зрения) позволено? И в чем же цель экономики? Так как сегодня экономика превратилась в ключевую дисциплину, объясняющую и меняющую мир, настало время задать все эти вопросы. <...> Современный экономический мейнстрим полностью игнорирует этику. Вопросы добра и зла преобладали в классических дискуссиях, сегодня же просто говорить о них считается ересью. <...> Я утверждаю, что пришло время переосмыслить наш экономический подход, так как именно сейчас, во время долгового кризиса, у людей появился интерес к этим вопросам и они готовы прислушиваться» [Седлачек 2016, с. 28–29]. Возникновение новой рефлексии экономической морали в связи с текущей ситуацией делает размышления таких людей, как Эшименис, абсолютно актуальными.

Франсеск Эшименис (1330–1409) происходил из богатой семьи торговцев, имевших тесные связи с королевской семьей Арагонской Короны*. В раннем

* В эпоху Эшимениса власть графов-королей Барселоны неуклонно росла на западном побережье Средиземного моря и доминировала в важных частях Иберийского полуострова, от Алаканта до Руссильона. Присутствие Короны распространяется на Балеарские острова и даже на остров Сардиния. В конце XIV в. она получила господство над островом Сицилия. Другими базами политического и особенно экономического присутствия арагонской короны являлись греческие территории в восточной части Средиземного моря —

возрасте он вступил в орден францисканцев, получил обширное академическое образование и в итоге стал магистром богословия в Тулузском университете в 1374 году. Эшименис много путешествовал, одно время жил в Барселоне, где был политическим советником королевской семьи, однако с 1383 года обосновался в Валенсии. Там он стал советником валенсийского правительства, где францисканец стремился уменьшить постоянное напряжение между гражданскими и церковными властями Валенсии. Он был хорошо знаком со всеми проблемами своего времени — как теологическими и политическими, так и социальными, и экономическими. О важности фигуры Эшимениса для жизни каталонского общества свидетельствует тот факт, что в XV веке (то есть спустя примерно столетие после смерти) по количеству экземпляров в библиотеках Валенсии его труды уступали только Библии. Они были хорошо известны и за пределами Арагонской Короны.

Развитие средневековой экономической мысли тесно связано с экономическим и коммерческим развитием конкретных европейских регионов — Северной Италии, Южной Франции, Каталонии и Валенсии. Влияние работ Эшимениса является свидетельством распространения в Средиземноморье францисканских идей, посвященных экономической морали, и их адаптации в различных географических регионах. Отметим сразу, что Эшименис писал свои труды на каталанском языке. Это объясняется тем, что динамика развития коммерческой

герцогство Неопатрия, остров Эгина и Афины. Кроме того, у Короны есть коммерческие базы на южном берегу Средиземного моря, состоящие, в частности, из некоторых тунисских островов и торговых форпостов на африканском побережье, от Бужи до Александрии.

и экономической жизни в Каталонии и Валенсии поставили перед ним задачу донести экономическую мораль до членов городской общины доступным способом, то есть используя родной язык. Эшименис представляет себе общество, в котором каждый индивид, следуя принципам христианской морали, живет для достижения общего блага и общественной пользы. Чтобы достичь этого, францисканский монах разрабатывает целую педагогическую систему, охватывающую различные стороны социальной и индивидуальной жизни членов городской общины. Его цель — добиться коллективно полезного поведения, направленного на общее благо. С этой точки зрения экономическое поведение особенно важно.

Взгляды Церкви на ростовщичество в XII–XIV веках

Говоря о городской экономике, невозможно обойти вниманием краеугольный ее камень — кредит. Мы знаем, что кредит является стимулом и непременным условием экономического развития и создания новых активов, увеличения богатства. Однако мы также знаем, что христианство всегда рассматривало ростовщичество как аморальное поведение и непростительный грех, который открыто нарушает божественный Закон. Следовательно, практикующие его лишаются права на спасение. Как сказал еще в V веке папа Лев I Великий, *Fenus pecuniae, funus est animae**. Быстрый рост денежного обращения в конце XII века заставил задуматься о ростовщичестве еще больше. Церковь в это время

* «Ростовщическая прибыль — погибель души» (*лат.*) Лев Великий. Трактаты: *Sancti Leonis Magni Tractatus. Tractatus XVII — pars 3*. URL: <https://frcoulter.com/Leo/latin/tractatus17.html>

ведет с ростовщиками настоящую войну*. Монах-августинец Жак де Витри (1180–1240) писал, что ростовщиков породил сам дьявол, так как они не участвуют в человеческом труде и потому их ждет адское пламя: «Ибо количество денег, которые они получили как процент, соответствует количеству дров, посланному в ад, чтобы их сжигать» [Ле Гофф 2015, с. 90].

Ростовщичество в теологической трактовке — грех против природного закона. Среди схоластов первым на это указал Генрих Гентский (1217–1293)**. В 1276 году он определил ростовщичество как экономическую деятельность, цель которой состоит в получении выгоды с помощью монеты, то есть через предоставление в долг денежной суммы с тем, чтобы через некоторое время получить одолженное плюс добавленную сумму [Brines i Garcia 2004, p. 379]. Моральное богословие озабочено внедрением идеала христианской жизни в повседневную жизнь мирян. В этом контексте фигура ростовщика занимает стратегическое место, структурно идентичное тому, которое священнослужитель, пораженный грехом симонии, занимал ранее. Если симония заняла первое место среди *церковных* грехов, то ростовщичество теперь становится по преимуществу *социальным* грехом.

Однако экономическая реальность вынудила Церковь к постепенному признанию коммерческой и торговой деятельности и одновременно изменила ее точку зрения на кредитные операции. Например, святой Рамон де Пеньяфорт (1175–1275), который имел славу одного из лучших канонистов своего времени, до-

* Сначала через свод канонического права *Decretum Gratiani* (ок. 1140), затем — в решениях Третьего Латеранского собора (1179) и декреталях папы Григория IX (1234).

** Бельгийский теолог и философ-схоласт, *doctor solemnis*. Преподавал в Парижском университете (1276–1292).

пускает определенные случаи ссуды в своей *Summa de Poenitentia* [Brines i Garcia 2004, p. 380]. Вероятно, это связано с тем, что он был тесно связан с экономически активной Северной Италией, где процветали Генуя, Венеция, Флоренция, Пиза и т. д.

Признание права на существование кредитных операций сосуществует с категорическим их отрицанием. Так, Валенсийский синод 1296 года принимает три очень жестких конституции против ростовщичества: две относятся к мирянам и одна — к духовенству. Было постановлено, что всякий, кто обнаружен в городе и диоцезе Валенсии за занятием ростовщичеством, будет сразу отлучен от церкви и его нельзя хоронить по церковному обряду, пока он, «насколько позволяют возможности, не удовлетворит полностью тех, кому полагается возмещение». А бенедиктинский монах Андре Диас де Эскобар (1348–1448) — доктор теологии, автор многочисленных сводов правил для исповедников — писал: «Поскольку ростовщичество — это своего рода кража, если кто-то занимается ростовщичеством, он или она не могут быть допущены к приобщению Тела Христа» [цит. по: Arquero Sallero 2015].

Единой, консолидированной точки зрения на ростовщические практики не существовало. Во-первых, нормативное введение морали в экономику постоянно сталкивалось с исторической реальностью. Во-вторых, церковная казуистика вокруг процента привела к двойственному дискурсу, обличающему ростовщичество/кредит и одновременно поощряющему потребление ради экономического роста. Сами богословы меняли свое отношение к нему в течение жизни, как это было и у Эшимениса. Взгляды каталонского богослова проходят сложную эволюцию и в конце концов он выступает за жесткое ограничение и практически запрет ростовщичества.

Ростовщичество в Трактате о проценте

Первым трактатом Эшимениса на данный момент считается *Tractat d'Usura*^{*}, который обнаружил и атрибутировал каталонский медиевист Жузеп Эрнандо [Hernando 1983]. Он также установил приблизительную дату сочинения — около 1374 года. К сожалению, найденный текст содержит только 14 глав из 28, из которых состояла работа (как указано в содержании). Тем не менее мы можем сказать, что этот небольшой трактат, хотя и неполный, представляет собой очень важное для анализа произведение. Это не только хронологически наиболее ранняя работа, в которой богослов обсуждает этот экономический вопрос, но одновременно и наиболее обстоятельная.

Эшименис начинает с того, что рассматривает «что есть процент» и определяет, что «*usura éstot guany temporal, lo qual l'om qui presta ateny per pati precedent e per següent força*»^{**} [El «Tractat d'usura» 1985, p. 32]. Это «всякая временная выгода», поскольку: «говорим временная, дабы не путать ее с духовной, каковая не запрещена никому» [Ibidem]. Ростовщик ссужает деньги на время и получает материальную выгоду — деньгами или услугами, которые заемщик вынужден оказывать кредитору. Затем Эшименис обозначает, что предметом ростовщичество может быть «все, что имеет ценность или денежное достоинство, например, золото, серебро или какая-либо одежда, или услуги» [Ibid, p. 33]. Ростовщичество для него греховно *per se*. Тут Эшименис следует за Фомой Аквинским, который

* «Трактат о проценте» (кат.).

** «Ростовщичество есть всякий заработок за время, которое тот, кто одалживает, получает по заключенному договору или последующей силой» (кат.).

утверждает то же самое в своем анализе греха алчности [Фома Аквинский 2011, с. 764].

В пятой главе, которая, как мы уже указывали, является смысловым центром трактата о проценте, Эшименис объясняет причины запрета ростовщичества:

Первая: потому что ростовщичество противоречит законам природы... Вторая основная причина, по которой ростовщичество запрещено, это противоречит божественному закону <...> Третья основная причина, почему ростовщичество запрещено: потому что ростовщичество запрещено любым правом [El «Tractat d'usura» 1985, p. 48–51].

Далее Эшименис изучает аргументы тех, кто отрицает универсальность церковного запрета на ростовщичество. Он излагает пять возражений против запрета ростовщичества:

Некоторые приводят следующие доводы, чтобы доказать, что ростовщичество не является грехом. Первый из них: Бог обещает во «Второзаконии» 15.6 «ты будешь давать займы многим народам», следовательно, это не является грехом против завета Бога. Второй: ибо говорит ростовщик: «Разве я не могу дать ссуду, которую я одолжил словно серебряный сосуд, который я оцениваю в определенную цену, без греха, поскольку нет никакой разницы между сосудом и денежной суммой». Третий таков: тот, кто возвращает кредит, может дать его тому, кому он хочет его дать. Итак, если он милостиво обещает помочь Пере, из этого следует, что Пере может справедливо то взять. Четвертый: тот, кто получает ссуду, по закону природы обязан отдать прибавку на капитал, значит кредитор может безгрешно получить ее... Пятый: поскольку никто не обязан давать ссуду другому, из этого

следует, что, если он таки дает ссуду, то с чистой совестью он может получить прибавку к капиталу [Ibid, p. 56–60].

После этого Эшименис переходит к разбору различных, как бы мы сейчас сказали, «кейсов» из экономической практики своего времени, объясняя, почему он считает их допустимыми. В центре внимания Эшимениса в связи с ростовщическими отношениями находятся специфические средневековые практики долгосрочной ренты — такие, как *censals morts* и *violaris*. *Censals morts* — это право получать периодическую ренту из дохода от конкретного ресурса (обычно недвижимости), а *violaris* — право получать из дохода от конкретного ресурса ренту в течение всей жизни кредитора. Они широко использовались в экономической деятельности Средних веков и были распространенным способом приобретения капитала, то есть такого рода сделки были самой популярной формой инвестиционного кредита на местном уровне.

Censals morts и *violaris* возникли из феодальной практики взимания ренты с недвижимого имущества. Так появилась продажа недвижимости в обмен на выплату наследственной ренты, а также форма договора, по которому третье лицо (например, кредитор) имело право на получение доли дохода от конкретного ресурса (обычно — недвижимости), либо — на периодическую ренту (наследственную или на одну, две или три жизни). Аннуитетная система была идеальным способом увеличения прибавочной стоимости недвижимости во времена роста городов. Эти практики вызывали большое недовольство среди философов-моралистов, пока в 1425 году папа Мартин V не издал буллу *Regimini*, в которой регулировалась процентная ставка для подобного рода сделок.

Аргументы Эшимениса в пользу *sensals morts* и *violaris* заключаются в трех пунктах. Во-первых, эти контракты не являются кредитами или ростовщическими контрактами (при условии, однако, что договор заключен без мошенничества и обмана). Во-вторых, это подлинные контракты купли-продажи. В-третьих, они используются Церковью. Таким образом, Эшименис признает законность *sensals morts* и *violaris*, но это не означает, что они ему, как моралисту, нравятся или что он считает их полезными для экономической деятельности. Доказательством этого является тот факт, что в более поздних работах его позиция ужесточается — вплоть до открытого осуждения. В главе 34 *El Regiment de la Cosa Pública* он пишет, что ради процветания торговли следует «запретить *sensals morts* и *violaris*». А когда он обличает валенсийский нобелитат, то, как пример неподобающего поведения, приводит практику *sensals morts* и *violaris*.

В конце XIV века происходит общее ухудшение экономической ситуации, оказавшее серьезное влияние на Арагонскую Корону. И практика инвестирования в *sensals morts* и *violaris* как способ сохранения капитала получила еще более широкое распространение. Эшименис осуждает эту практику, поскольку, по его выражению, они мешали хорошему «пищеварению» столь необходимой коммерческой деятельности. Эшимениса беспокоила моральная сторона таких сделок.

Ту же двойственность мы находим и у Висента Ферре. С одной стороны, Ферре признавал допустимость подобных практик, если процентная ставка не превышает 5%. Тогда такого рода сделки, как он говорит, определяются «не стремлением к богатству, но лишь необходимостью поддержания своего дома» [цит. по: Brines i García 2004, p. 395]. С другой — гневно обли-

чал, сетуя, что уже невозможно найти даже полена, не обремененного *sensals morts* и *violaris*, люди через них ввергнуты в долги и бедность и что «общины больше не могут нести это бремя» [цит. по: *Ibidem*].

Как указывает исследователь Рамон Пучадес, Висент Ферре «обличал их [практики *sensals morts* и *violaris*], обращаясь к обычным прихожанам, однако не перед социоэкономической элитой» [*Puchades i Battaller 1999, p. 101*]. Так же поступал и Эшименис. Вспомним, что в Валенсии он выступал как своего рода посредник между городскими властями и Церковью. С одной стороны — он был членом нищенствующего ордена и выражал его идеалы. С другой — сам выходец из богатой торговой семьи — был носителем мировоззрения коммерческих кругов. Многие исследователи отмечают стремление Эшимениса к «золотой середине».

Из дошедшего до нас листа «Содержание» мы знаем, что Эшименис собирался с 12-й по 25-ю главу трактата посвятить обсуждению вопроса о кредитных процентах. И хотя у нас нет полного текста, но есть отрывок, где ученый францисканец обсуждает практику *mogubells* (проценты по заемному капиталу). Развитие экономики привело к увеличению потребности в заемных деньгах и постоянной нехватке ликвидных ресурсов. Это укрепило основу для развития различных форм кредита. Помимо отсрочки платежа и возможных взаимозачетов, потребительский кредит предоставлялся также в форме обычных ссуд под проценты. Даже церковный запрет на ростовщичество не привел к исчезновению этой формы кредита. Более того, предоставление потребительских кредитов (как и использование ссуды в инвестиционных целях) было очень популярно. Однако, хотя экономические условия требовали кредита, простая ссуда под проценты все еще вызвала моральное осуждение.

Таким образом, значительная часть «Трактата о проценте» посвящена анализу существовавших коммерческих практик и соотносению их с требованиями христианской морали.

Ростовщичество в контексте жизни христианина

Эшименис не ограничился обсуждением коммерческих практик с моральной точки зрения в своем первом трактате. Он на протяжении всей жизни анализировал с моральной точки зрения современные ему экономические обычаи с целью их гармонизации с требованиями христианства. Именно этому посвящен его *Opus Magnum* — трактат *Crestià**. Он задумывался как энциклопедический труд, состоящий из тринадцати книг, в которых будут подробно описаны основы христианской жизни. Однако Эшименису удалось написать только четыре (*Primer, Segon, Terç* и *Dotzè***) из тринадцати задуманных.

В *Al Segon* мы находим осуждение ростовщичества в главе 100. Там, описывая различные искушения, которым подвергает человека дьявол, он пишет, что коли он [дьявол] видит торговца, имеющего сильное желание заработать, то соблазняет его прибегнуть к ростовщичеству, мошенничеству и хитростям. В *Terç* в главе 782 присутствует тонкое осуждение этой деятельности. Теолог дает читателю такой совет: «Лучше продать то, что принадлежит тебе, чем подчиняться ростовщикам» [цит. по: *Vrines i Garcia 2004, p. 271*]. Хотя этот совет является частью серии советов по улучшению деловой активности и поэтому Эшименис не за-

* «Христианин» (*кат.*).

** Первая, Вторая, Третья и Двенадцатая (*кат.*).

трагивает здесь моральных соображений, мы должны отметить его неодобрение идеи заимствования, которое ведет к подчинению, закабалению и утрате свободы действий. В главе 879 он приводит такие доводы против ростовщичества: «Просить ростовщические ссуды означает залезть в долги, и это особенно вредно для городов и крупных лордов» [цит. по: *Ibid.*, p. 384].

В Dotzè в главе 841 он подчеркивает, что ростовщичество — это дело евреев и прочих неверных. В данном случае речь идет не только о традиционном антисемитизме, но и идее, что ростовщичество чуждо самой сути христианской веры. В этом он следует за своим старшим современником, валенсийцем Арнау де Виланова*, чьи воззрения повлияли на Эшимениса. Среди дел, которые следует совершить ради евангельской истины и христианской веры, Виланова призывает «извергнуть ростовщиков, как иноверцев, так и христиан, ибо они творят беззакония и обманывают малый народ» [цит. по: *Ibid.*, p. 389]. Он пишет:

Христиане погрязли в делах дьявола — и духовенство, и просто верующие и горожане. Они погрязли в алчности, наживаются и приумножают богатство всеми беспорядочными способами, каковые есть ростовщичество, обман, симония, грабеж и убийство, и во всех других пороках, чтобы поддерживать это тщеславие и излишек [цит. по: *Ibid.*, p. 389].

Тема ростовщичества обсуждается Эшименисом и в других работах. Так, в *El Regiment de la Cosa Pública*** он открыто осуждает ростовщичество и в гла-

* Доктор теологии, права, философии и медицины, советник короля Арагона Пере III Великого, профессор университетов в Монпелье, Барселоне и Париже.

** «Управление Общим Делом» (*кат.*).

ве 34 пишет о своем неприятии финансовых операций, которые относит к ростовщичеству: «Итак, ради благоприятного развития торговли как древние, так и современные мудрецы говорили, что следует запретить арендные платежи и платежи за пользование капиталом»*. А в главе 85, ссылаясь на Евангелие от Матфея, говорит, что жители городов должны одалживать и помогать друг другу в случае необходимости, ничего не прося взамен.

В *Libre de les Dones*** Эшименис в главе 26 критикует тех мужчин, которые ради того, чтобы ублажать женщин, воруют или прибегают к ростовщичеству. Мы видим, что он сравнивает ростовщичество с криминальной деятельностью — воровством. А в главе 249 отмечает, что презренным занятиям предаются карманники, сводники, мошенники, игроки, распутники, ростовщики, скоморохи и тому подобные люди.

В *Vita Christi**** (глава 53 части 7) Эшименис однозначно высказывает свое отношение к практике процента:

Господь говорит у Луки 6, что, кто даст займы, тот не потеряет денег, а получит большой заем в раю. А тот, кто дает займы, чтобы получить что-то сверх капитала, совершает грех ростовщичества и обязательно получит по делам своим [цит. по: *Ibid.*, p. 387].

* Eiximenis, Francesc. *Regiment de la cosa publica* (= *Crestiá*, XII part. 3). URL: <https://bivaldi.gva.es/es/consulta/registro.cmd?id=333>

** «Книга для Женщин» (*кат.*). Eiximenis, Francesc. *Libre de les dones*. Alacant: Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes, 2010. URL: <https://www.cervantesvirtual.com/obra/libre-de-les-dones--1/>

*** «Жизнь Христа» (*лат.*). Eiximenis, Francesc; Talavera, Hernando de. *Vita Christi*. URL: <https://data.cervantesvirtual.com/manifestation/1054151>

В главе 37, размышляя над изгнанием торговцев из Храма, он пишет, что это необходимо, «чтобы избежать всякой симонии, ростовщичества и нечестных дел в доме Божьем». Более того, «те, кто одалживал, но не брал сверх одолженного деньгами, а брал некоторые подарки и услуги, которые также были ростовщичеством» [цит. по: *Ibidem*].

Ростовщичество как алчность

В первую очередь Эшименис рассматривает ростовщичество как проявление греха алчности — в той части своей христианской энциклопедии, которая получила название *Terç del Crestià*. Франсеск Эшименис считал деньги даром от Бога, которым его земной «хозяин» может распоряжаться только в соответствии с божественными принципами. Поэтому в *Tractat de avaricia**, который входит в состав *Terç del Crestià* (главы 746–792), Эшименис оценивает запрет ростовщичества с учетом отношения к нему в рамках христианской морали и его воздействия на общество.

«Трактат об алчности» начинается с описания концепции алчности в целом. Затем более подробно рассматриваются некоторые виды жадности, в том числе — ростовщичество. Трактую грех ростовщичества, Эшименис следует за своим предшественником — монахом-францисканцем Пьером Оливи (1248/49–1298), который говорит о том, что ростовщичество развращает человека и уничтожает его душу, ибо является источником беззакония, безделья и праздности. Ростовщик охвачен чрезмерной любовью к земной жизни, что заставляет отвергнуть жизнь вечную. Эшименис предлагает говорить об алчности как о бес-

* «Трактат об алчности» (*кат.*).

порядочном желании владеть мирскими благами, накапливать и удерживать их.

Для того чтобы выделить ростовщичество как отдельный вид алчности, Эшименис сначала дает ему определение. Он говорит, что ростовщичество есть выгода времени, которую лицо, предоставляющее ссуду, получает посредством ранее выраженного, явно или скрытого соглашения, заключенного свободно или принудительно. Под явным ростовщическим соглашением им понимается договор, который обеспечивает заемщику процент. В то время как скрытый договор представляет собой по форме не ссуду, а продажу или аренду, в которой скрыта процентная ссуда. В обоих случаях кредитор в нем нарушает заповедь *mutuum dantes**, поэтому вслед за Ансельмом Кентерберийским (1033–1109) и его последователями Эшименис требует от ростовщиков компенсацию заемщикам за украденные блага: кредитор должен вернуть то, что он заработал сверх капитала, поскольку даже намерение получить такую выгоду делает его истинным ростовщиком в глазах Бога.

В особую группу Эшименис выделяет договоры, связанные с морскими перевозками. Тут он разделяет позицию Фомы Аквинского и схоласта-францисканца Александра Гэльского (1185/86–1245) о факторе риска. В данном случае богословы опираются на другую максиму из Евангелия от Луки — каждый «достоин награды за труды свои» (Лк. 10:7). Прибыль от полезной деятельности купца может быть оправдана его трудом и издержками. Под трудом теологи понимают транспортировку грузов; хранение и заботу; а также — что было привнесено канонистами XIII века — принятие на себя риска. Эшименис также считает, что тот, кто желает получить прибыль от торгового предприя-

* Лк. 6:35 и *Decretum Gratiani*, С. II.

тия, но при этом не принимает на себя риск, становится ростовщиком. Если же в договоре присутствуют неопределенность и риск (либо другая подобная ситуация), это не является ростовщицеством.

Однако разве кредитор не находится изначально в ситуации неопределенности? Ведь всегда существует риск невозврата. Такого риска, согласно Эшименису, недостаточно. Тот, кто получает прибыль, должен владеть объектом, подверженным риску, и пользоваться им. Когда в торговле риск не влияет на лицо, предоставившее товары или деньги, это ростовщицество. Кредитор может рассчитывать на получение суммы, превышающей кредит, для защиты себя от ущерба. В таком случае для должника устанавливается штраф, который тот должен выплатить, если не вернет деньги в заранее установленный срок. При этом кредитор не должен желать заемщику просрочки, но должен рассчитывать получить свой капитал назад в срок. Тут Эшименис вступает на весьма топкую почву, поскольку, пишет он, если в контракте был установлен штраф за неуплату, то он может быть взыскан только в том случае, если будет доказано, что кредитор верит и надеется, что получатель ссуды отдаст долг вовремя и не подпадет под штрафные санкции.

Человек, не впадая в грех ростовщицества, может получить больше, чем размер ссуды, когда должник слишком долго платит кредитору, поэтому кредитор терпит убытки, теряя свою прибыль. В этом случае кредитор может потребовать проценты за полученный ущерб. Утраченная возможность представляет собой ущерб для кредитора, поэтому справедливо запросить эквивалент потери прибыли. В этом францисканский монах следует за Пьером Оливи, который также допускал *lucrum cessans* — доход на упущенные инвестиции.

Следующий случай приемлемой ссудной операции Эшименис описывает так. Пусть вы хотите купить

что-то на свои деньги, но к вам приходит человек, нуждающийся в вашем капитале. Если вы отказываетесь от своей торговой операции и передаете деньги заемщику, то есть уступаете ему в аренду, то тут ростовщичество отсутствует, поскольку вы движимы благочестием и исходите из нужды того, кому даете деньги. И в итоге вы получаете проценты не через ссуду, а через продажу использования денег, то есть выгода возникает не из-за интереса к наживе. В этом случае Эшименис использует тонкое различие между арендой и ссудой, введенное болонским канонистом Гугуччио (?–1210) в своей «Сумме» в 1188 году.

Не является ростовщичеством и сохранение покупательной способности кредитной суммы. Эшименис приводит такой пример [El «Tractat d>usura» 1985, p. 67]. Например, Пере одолжит По десять фунтов, однако По обязуется вернуть соответствующие заему меры зерна или вина в зависимости от того, сколько стоят десять фунтов в момент расчета по кредиту. В данном случае не нарушается правило «справедливой цены». В данном случае францисканский богослов опирается на мнение схоласта и Учителя Церкви Альберта Великого (1193–1280), который определил, что цена справедлива, если она равна ценности товаров, проданных соответственно оценке рынка в данный момент времени. Эшименис также следует за францисканским теологом Александром Бонини (1270–1314), который признавал уместность *lucrum cessans*, поскольку в промежуток между началом и концом сделки ценность денег меняется.

Ростовщичество с правовой точки зрения

Как мы знаем, средневековые авторы рассматривали проблемы совершенно иначе, чем современные экономисты. У средневековых авторов «экономическая

теория» была частью моральной философии. Их анализ в основном ограничивается проверкой действительности ряда договоров: некоторые из них законны, некоторые — незаконны, а некоторые — сомнительны. Другими словами, средневековые авторы придерживаются точки зрения не экономистов, а моралистов и/или юристов. Они не видели, что проценты являются фактором, неизбежно присутствующим во всех контрактах, требующих капиталовложений.

По сути, критерий допустимости/недопустимости договора является этическим: двигало человеком благочестие или жадность. Ростовщичеством Эшименис считает даже само намерение заработать на ссуде и размышляет о ссуде с точки зрения справедливости. Он исходит из того, что в основе запрета ростовщичества лежит концепция справедливости*, из которой вытекает необходимость равенства перед законом**, и идея любви***. Таким образом Эшименис синтезирует доминиканскую богословскую мысль (на основе справедливости/*aequitas*) и францисканскую (на основе любви/*caritas*), объединяя теологию Фомы Аквинского и Дунса Скота.

Центральной частью «Трактата о проценте» является пятая глава, в которой Эшименис излагает причины запрета ростовщичества. Как на основополагающую он указывает на требования естественного закона: «ростовщичество противоречит закону природы» [El «Tractat d'usura» 1985, p. 51]. Из этого естественного запрета проистекают другие запреты ростовщической деятельности: запрет божественного права**** (Ветхий и Новый Завет) и запрет позитивного права***** (каноническое право и гражданское право).

* *aequitas* (лат.).

** *aequalitas* (лат.).

*** *caritas* (лат.).

**** Право, установленное Божьей волей.

***** Право, установленное волей законодателя.

Эшименис говорит, что только вещи, подпадающие под определение либо числа (такие как деньги или письменное обязательство оплатить свой или чужой долг), либо веса (как золото и серебро), либо меры (как пшеница или масло) могут быть объектом применения процента. Иными словами, это расходные предметы, в которых использование неотделимо от полноты юридически признанных прав владения, поэтому уступка их использования означает уступку права собственности. Отсюда, согласно Эшименису, следует, что причиной запрета ростовщичества является природа денег (почти исключительный объект кредита или ссуды в позднем Средневековье). Цель денег — не что иное, как способствовать обмену, а не умножать себя до бесконечности. Это не производительный товар, как земля или поле: *Nummus non parit nummos**, гласит знаменитая максима Фомы Аквинского. Деньги должны служить мерилем стоимости вещей, следовательно, деньги не могут быть предметом договора аренды или договора купли-продажи.

Использование денег связано с их потреблением или отчуждением. Деньги нельзя оценить независимо от содержания: их использование не может рассматриваться отдельно от материала. То есть если кредитор за ссуженные деньги получает нечто большее, чем исходный капитал, то он получает это не дав ничего взамен, что является беззаконием. В товарах длительного пользования — например, в недвижимости — предмет и использование различимы и отделимы. Следовательно, его можно сохранить как собственность, отказавшись от его использования и получив за него цену, что и происходит в договоре, называемом рентой. Это не относится к деньгам: тот, кто уступает их использование, также уступает и свою соб-

* «Деньги не рожают деньги» (лат.).

ственность. Следовательно, кредитор может рассчитывать только на то, что ему вернут именно ту сумму, которую он передал или ссудил. Если же он получает что-то сверх того, то он получает его даром, то есть присваивает то, что ему не принадлежит, а это противоречит принципу коммутативной (обмениваемой) справедливости*. Тогда этот человек занимается ростовщичеством и является ростовщиком. Только возмещая несправедливо полученный излишек, ростовщик восстанавливает равенство, требуемое естественным правом**.

Вторая причина, логически связанная с предыдущей, как указывает Эшименис, находится в концепции *mutuum****, установленной римским правом: *quod de meo fit tuum* (это договор, который предполагает передачу права собственности). Вот почему у заемщика есть все факторы производительности: собственность и деятельность. Следовательно, заслуга в производстве принадлежит заемщику, а не кредитору. Что касается кредитора, он лишен оснований требовать компенсации за предоставленную ссуду.

* Схоласты следовали строгим требованиям в сфере экономики: необходимо соблюдать принцип справедливости. Так, Фома Аквинский исходил из того, что цель купли/продажи — выгода обеих сторон. В случае когда одна сторона оказывается в большем выигрыше, чем другая, обмен несправедлив. Неравный экономический обмен приводит к серьезным моральным последствиям и губит душу человека. Именно поэтому в «Сумме теологии» Аквинат пишет, что ради спасения души человеку следует возместить то, что он получил от кого-то несправедливым образом. Поэтому ростовщичество для него — предельное проявление несправедливости, поскольку оно приводит к неравенству, которое противоположно справедливости.

** Тот же Аквинат указывает, что деньги, полученные через ростовщичество, приобретены несправедливо и должны быть возвращены под угрозой утраты спасения.

*** «взаимности» (лат.).

Отсюда третья причина запрета ростовщичества как противоречащего справедливости, требуемой естественным правом: труд. Заемщик — единственный, кто может заявить о деятельности, которая влечет за собой компенсацию. Кредитор не может получить компенсацию, так как тогда деньги работали бы вместо него. И если бы это было так, как говорит Франсеск Эшименис, не было бы равенства естественной справедливости.

Вдобавок есть четвертая причина: существует естественная обязанность помочь нуждающемуся, что подразумевает бесплатную ссуду. Как указывает Жак Эрс, в средневековом обществе существовал особый вид займа, так называемый — *Gratis et amore Dei*, то есть безвозмездный заем [Эрс, 2014, с. 75]. Он считался богоугодным делом. Его рассматривали как обмен услугами, укреплявший социальные связи и приносивший кредитору уважение со стороны родственников и соседей. Тут мы видим прямую отсылку к антропологии дара, в которой дарение рассматривается как средство укрепления социума. В данной практике деньги давали в долг ради сохранения доброго имени и доверия при ведении дел. Эрс приводит пример из бухгалтерской книги флорентийца Джованни Келлини. Тот не был ни менялой, ни ростовщиком, однако охотно оказывал услуги ближним, попавшим в затруднительное положение: родственникам, друзьям, соседям. В своей бухгалтерской книге он старательно отмечает все эти случаи, подробно описывая, и нигде нет речи о процентах или каком-либо возмещении. Например,

Антонио, клирик собора, занял у него золотой флорин, чтобы купить два бочонка вина. Через восемь дней тот вернул лиру, а оставшаяся часть долга была ему прощена «из любви к Богу и потому, что он очень беден» [Там же, с. 83].

В-пятых, учитывая характер договора *mutuum*, именно на заемщика ложится ответственность за возврат кредита. Риск всегда лежит на заемщике. Следовательно, получение кредитором выгоды противоречит, по мнению Франсеска Эшимениса, принципу равенства и естественной справедливости.

Шестая причина заключается в том, что ростовщик вынуждает платить ему проценты, пользуясь нуждой заемщика, что также противоречит естественной справедливости и нарушает принцип равных условий.

Подводя итог, Эшименис заключает:

Ростовщичество противоречит законам природы. <...> По всем этим причинам в целом представляется, что ростовщичество является злым и опасным преступлением и осуждено нашим Господом Богом и его величайшими заместителями — папами <...>. Его не сочтет законным ни одно благочестивое дело» [El «Tractat d'usura», 1985, p. 93].

Взгляды Эшимениса в контексте работ других авторов

Взгляды Эшимениса на ростовщичество очень близки к тем, что проповедовал его современник, монах-доминиканец, богослов и проповедник Висент Ферре (1350–1419). Тот, в частности, был сторонником беспроцентной ссуды нуждающимся:

Телесное благочестие заключается в том, что те, у кого есть временные блага, дают их другим, кто не имеет их, или по крайней мере дают в долг без прибыли, это иногда стоит дороже, чем сама ссуда. Итак, если бы бедному крестьянину, терпящему нужду, кто-то дал реал, а другой — X фло-

ринов без процента, кто проявил бы больше милосердия? Тот, кто дал займы [цит. по: Brines i Garcia, 2004, p. 388].

В другой проповеди он сурово обличает жестокость ростовщиков:

А ростовщики, когда приходит к ним бедная вдова просить денег, говорят: «Дам вам нужную сумму, а вы мне за это — флорин или два сверх того». Творить такое — истинная жестокость [цит. по: Ibidem].

Ростовщик повинен в грехе алчности:

Алчность: когда дьявол советует кому-то творить ростовщичество, чтобы иметь почести, хорошую еду, хорошее питье, хороший выезд, столовое серебро [цит. по: Ibidem].

Он также осуждает практику скрытого процента, описывая такой разговор:

«Сеньор, дайте мне в долг X флоринов, потому что я нуждаюсь». — «С удовольствием». Поступить так — значит проявить милосердие. Но что следует затем? Ростовщик говорит: «Но смотри, когда придем к нотариусу, то скажи, что взял у меня в долг XII флоринов». Поступать так — жестоко [цит. по: Ibidem].

Висент Ферре приводит и такой пример из ростовщической практики:

Потом придет другой: «Сеньор, мне необходимо 100 флоринов, одолжи их мне». — «С удовольствием. Но у тебя ведь есть стадо, а потому, когда придет время, ты продашь мне шерсть дешевле, чем она того стоит на рынке». И это есть путь к вечной муке [цит. по: Ibidem].

Ростовщичество остается ростовщичеством, как бы человек ни пытался схитрить:

Некоторые люди видят, что ростовщичество — это прибыль, но и великий грех, потому они осторожны. Когда кто-нибудь приходит, чтобы взять ссуду, то говорят ему: «Я не стал бы давать займы; но мне есть что у тебя купить, и то, что стоит X флоринов, продай мне за VI». Видите, как они хотят быть в безопасности с одной стороны и упасть с другой [цит. по: Ibid, p. 389].

Висент Ферре ставит знак равенства между ростовщичеством и жадностью и создает образ ростовщика как вечного грешника:

когда приходит день, жадный думает о богатстве и работает, дабы приспособиться и заработать, а ночью ему снится, что все, что у него есть, украдено, потому он трясется от страха и не может спать <...> ростовщик же хочет, чтобы его деньги приносили процент как в день воскресный, так и в будний. И потому жадный человек никогда не имеет отдыха: днем работает, ночью же не может спать, ибо одолевают его мысли [цит. по: Ibidem].

В другой проповеди богослов говорит, что тот, кто озабочен увеличением богатства, заключением сделок и ростом процентов, обретает не счастье, а вечную муку:

Когда душа покинет тело, то предстанет пред Господом и скажет ему Иисус Христос: «О ничтожный человек! Дьяволы, возьмите его и заточите прямоком в ад» [цит. по: Ibidem].

Таким образом, святой Винсент представляет ростовщика, отягощенного несправедливо заработанным земным богатством, как самую ничтожнейшую душу,

какая только может предстать перед Иисусом Христом в Судный день.

Франсеск Эшименис разделяет взгляды Висента Ферре на ростовщические практики. Но он исходит из того, что человек может избежать греха (либо искупить его), если будет избегать невежества. Город и его возможности способны дать даже самому обычному человеку знание, которое позволит ему проложить путь к добродетели и мудрости. В трактате *Doctrina compendiosa*^{*}, написанном в форме диалога горожан-валенсийцев и монаха-францисканца на социальную и политическую тематику, Эшименис объясняет, что Бог даровал человеку способность здравого смысла и знания, поэтому следует наставлять людей, чтобы они могли справиться с грехом. Как отмечает исследователь Вилану Туррано, Эшименис придает своим трактатам педагогическую направленность с намерением рехристианизировать средневековое городское общество, отягощенное множеством грехов, среди которых выделяются обжорство, похоть и безделье, с которыми необходимо ожесточенно бороться [Vilanou Torrano, 2012, p. 145]. На этом фоне особенно важно, что Эшименис писал на каталанском языке, чтобы его могли понять все, даже те, кто не имеет хорошего образования.

Такой подход определяется тем, что он одновременно принадлежал к двум мирам: интеллектуальному (церковного богословия) и городскому. Он разделяет взгляды того, что мы сегодня назвали бы средним классом. Применительно ко времени Эшимениса, это социальная группа, состоящая из образованных горожан (юристов, нотариусов и торговцев), которая находится между «высшим классом» (состоящим из дворян) и «низшим классом», состоя-

* «Сводная доктрина» (лат.).

щим из ремесленников (и которые благодаря торговле могут подняться в обществе).

Эшименис, размышляя о городском устройстве, отмечает, что торговое сословие занимает положение никоим образом не маргинальное. Торговля и купцы, говорит он в «Христианине» (гл. 389), являются общественными делами. И заслуга торговцев зависит не только от вклада, который они вносят в жизнь общества, но и от мужества, с которым они принимают невзгоды, «и большие потери, которые они часто несут, с которыми справляются лучше других людей, потому что они уже привыкли к ним, и из-за большого беспокойства, с которым они постоянно живут»*.

Эшименис защищает коммерческую жизнь, поскольку города становятся нервными узлами торговых операций на море и на суше в ущерб сельской и крестьянской жизни, которая выступает, по его мнению, как одна из причин человеческой злобы. Крестьяне отличаются грубостью и жестокостью, неспособностью к учтивости и вежливости. Более того: они бунтуют, они сварливы, они не слушают и кричат из-за того, что им не нравится. В общем, крестьяне — люди рабские и бессовестные, мало склонные к разуму. Поэтому торговцы должны быть защищены, а монархи должны следить за тем, чтобы корабли доходили до порта и защищать их от опасностей и атак корсаров. Ибо без купцов — напоминает Эшименис — города приходят в упадок, князья становятся тиранами, молодежь погибает, а бедняки плачут.

В то время как торговцы заслуживают благоприятного обращения, барышники и перекупщики должны быть объявлены вне закона, так как они ведут себя извращенно, желая наступления плохих времен, когда

* Eiximenis Francesc Regiment de la cosa publica (= Crestiá, XII part. 3). URL: <https://bivaldi.gva.es/es/consulta/registro.cmd?id=333>

не хватает всего, что приводит к росту цен на продукты, особенно на зерно. Это обязывает правителей действовать против них, применяя законы и санкции. Точно так же ростовщики, и в целом все те, кто покусается на общественные дела, являющиеся величайшим достоянием города, должны контролироваться и подвергаться наказанию.

Дошедшие до нас рассуждения Эшимениса показывают, что богослов противопоставляет алчность благотворительности. Он превозносит бедность, которую трактует в францисканском духе, опираясь на то место в Евангелии от Матфея, где Иисус говорит: «Если хочешь быть совершенным, пойди продай имение твое и раздай нищим; и будешь иметь сокровище на небесах» (Мф. 19:21).

Заключение

Трактаты Эшимениса являются частью тенденции, которая началась в XII веке и продолжается на протяжении всего средневекового периода: забота о направлении поведения верующих в отношении того, что следует делать или чего избегать. Отец Марти из Барселоны* оставил нам описание работы Эшимениса, в котором кратко излагается смысл «Трактата о проценте»:

Эшименис был доволен тем, что представлял доктрину церкви как здоровую пищу, демократизировал средневековую идеологию и демонстрировал ее практичность среди нашего народа. Он был не возвышен духом, а практичен; он был не мыслителем, а конденсатором мысли других

* Marti de Barcelona (Jaume Bagunyà i Casanovas) (1895–1936) — каталонский историк, специалист по теологическому наследию Франсеска Эшимениса, член Ордена капуцинов.

людей, обогащенным своим многолетним опытом и разумом предков; Эшименис вкладывает в него целый необычный поток собственных наблюдений» [Цит. по: Hernando 1983, p. 248].

Эшименис не стремится сгенерировать оригинальную экономическую мысль, а, скорее, синтезирует и упрощает экономические моральные взгляды, выработанные ранее, чтобы адаптировать их к конкретному географическому району — Арагонской Короне.

На первый взгляд, Эшименис выступает как хороший компилятор, который свободно пользовался имеющимися в его распоряжении произведениями*. Однако Жузеп Эрнандо отмечает:

Оригинален ли Эшименис в доктринальном подходе к проблеме ростовщичества? Мы считаем, что ответ должен быть положительным. Во-первых, потому что он настаивает на естественном праве и естественной справедливости как на основе запрета ростовщичества. Во-вторых, потому что он имеет в виду Каталонию своего времени. Он сохраняет и разоблачает общую доктрину ростовщичества, принимая во внимание среду, в которой она живет [Ibid., p. 266].

Именно поэтому в трактате разбираются конкретные экономические практики, применяющиеся в Арагон-

* В трактате Эшименис часто употребляет такие выражения, как «ученые доктора соглашаются», «некоторые теологи соглашаются». Исследователям (в первую очередь — Эрнандо [Hernando 1983]) удалось идентифицировать авторов, явно цитируемых им: Рамон де Пеньяфорт (*Summa de Paenitentia*), Гостензис, Гоффредо да Трани (*Summa*), Дюран де Сен Пурсен (комментарии к «Сентенциям» Петра Ломбардского), а также других, которых он не называет: Дунс Скотт, Александр Бонини, Бонавентура, Гералдус Одонис, Альберт Великий, Энрико де Суза, Фома Аквинский и Бернат де Пучеркос.

ской Короне, — различные виды ренты и проценты по кредитам. Так же важно и то, что экономические практики богослов разбирает на практических примерах, которые хорошо знакомы читателю. Ему было важно написать своего рода руководство по установлению правильных экономических отношений, легкодоступное для всех сограждан, занятых в экономической сфере.

Эшименис исходил из того, что экономическое поведение членов сообщества должно быть доведено до максимальной коллективной полезности. Экономические действия членов сообщества должны служить общественной пользе, поэтому он ставил перед собой цель распространить правильные знания о круговороте товаров и денег, через который достигается общее благо. Как отмечает Сильван Пирон, «существует два разных уровня морали: правосудие, которое должно соблюдаться в гражданских контрактах, и — нравственность, которая управляет человеческими отношениями вне юридических обязательств. С одной стороны, — экономические явления, основанные на договорных отношениях, с другой — человеческие отношения, которые не могут регулироваться иначе, чем личной моралью. В повседневной жизни эти сферы на самом деле неразделимы» [Piron 2006, p. 22]. Ростовщические практики являли именно такой пример смешения экономической необходимости и морального императива. Интерес Эшимениса к ростовщичеству определялся намерением теолога описать пример морального экономического поведения членам каталонского сообщества. И осуждение теолога направлено не только на самих ростовщиков, но и на тех, кто прибегает к их услугам. Брать в долг у ростовщиков людей вынуждает не нищета, а стремление к чрезмерному потреблению. Описывая такую модель поведения,

Т. Седлачек обозначает ее как «ненужные нам вещи мы покупаем на отсутствующие у нас деньги» [Седлачек 2016, с. 377]. В итоге человек и через него общество, становится зависимым от своих долгов. Казалось бы — это современная проблема, однако, как мы видим, она беспокоила уже средневекового монаха.

Литература

- Ле Гофф Ж. (2015). *Средневековье и деньги. Очерк исторической антропологии*. Санкт-Петербург: Евразия.
- Седлачек Т. (2016). *Экономика добра и зла: в поисках смысла экономики от Гильгамеша до Уолл-стрит*. Москва: Ад Маргинем Пресс.
- Фома Аквинский (2011). *Сумма теологии*. Киев: Ника-Центр.
- Эрс Ж. (2014). *Рождение капитализма в Средние века: менялы, ростовщики и крупные финансисты*. Санкт-Петербург: Евразия.
- Arguero Caballero G. (2015). *Si dio "a usura pública o secretamente": aproximación a la usura en los manuales de confesores de la Castilla bajomedieval*. Núm. 36–37: Baetica, VARIA. P. 157–179.
- Brines i Garcia L. (2004). *La Filosofia Social i Política de Francesc Eiximenis*. Sevilla: Novaedició. Grupo nacional de editors, P. 1–653.
- El "Tractat d'usura" de Francesc Eiximenis* /éd. Josep Hernando i Delgado (1985) Barcelona: Biblioteca Balmesiana. P. 1–96.
- Hernando J. (1983). Una obra desconeguda de Francesc Eiximenis: El "Tractat d'Usura" // *Acta Historica et Archaeologica Mediaevalia*. No. 4. P. 129–147.
- Piron S. (2006). *I paradossi della teoria dell'usura nel medioevo*. Milano: Associazione per lo sviluppo degli studi di banca e borsa, Università cattolica del Sacro Cuore, Facoltà di scienze bancarie, finanziarie e assicurative. P. 9–25.
- Puchades i Bataller R. (1999). *Als ulls de Déu, als ulls dels homes: Estereotips morals i percepció social d'algunes figures professionals en la societat medieval valenciana*. València: Universitat de València.
- Vilanou Torrano C. (2012). El humanismo de Eiximenis: saber, ciudad y cortesía // *Historia de la educación: Revista interuniversitaria*. No. 31. P. 35–163.

ETHICS OF INTEREST RATE: MEDIEVAL MONK'S
APPROACH (AN EXAMPLE OF FRANCESC
EIXIMENIS'S WORKS)

ЕКАТЕРИНА ГУСЧИНА (e-mail: eguschin@eu.spb.ru). European University at Saint Petersburg (Saint Petersburg, Russia).

The paper analysis views of Francesc Eiximenis on interest rates on loans. As a Franciscan theologian he considers a society in which each and every individual follows Christian moral principles and thus lives for the common good and social benefit. In this paradigm individual behaviour in economic sphere is of special importance. Usurious practices were considered by Eiximenis as an example of a mix between economic necessity and moral imperative. He considers usury as a manifestation of a sin of greed demonstrated by both the usurer and the borrower. While admitting economic necessity of credit, Eiximenis strived to provide an example of a correct moral economic behavior that excluded usury.

KEYWORDS: economic ethics; scholasticism; usury; credit; Middle Ages.

JEL: B1, B31, Z12.

Джон Локк

о деньгах и проценте*

Данила Расков

РАСКОВ ДАНИЛА ЕВГЕНЬЕВИЧ (e-mail: danila.raskov@gmail.com), кандидат экономических наук, Хельсинкский колледжиум перспективных исследований, Хельсинкский университет (Хельсинки, Финляндия).

Статья посвящена разбору наследия Джона Локка (1632–1704) в части его взглядов на деньги и процент. Предметом рассмотрения является как вклад Локка в понимание денег и процента, так и контекст полемики. Контекст дебатов в парламенте дает лучшее понимание аргументов Локка о сути процента и денег, о желательности не менять стандарт и не уменьшать содержание серебра в монете, а также не стремиться регулировать ставку процента в сторону понижения. Наибольшее внимание уделено памфлету «Некоторые соображения о последствиях понижения процентной ставки и повышения ценности денег» 1691 года, на который впоследствии опирались Ричард Кантильон, Адам Смит и Карл Маркс. Локк выступает против регулирования процентной ставки, поскольку ее движение должно определяться не регулятором, а спросом и предложением на рынке денег. В статье делается вывод о том, что в работах Локка прослеживается общий для того периода переход от теологических и моральных аргументов к вопросам национальных интересов и экономической целесообразности. Сопоставление текстов тех лет по вопросу денег и процента с памфлетами Локка показало, что позиция Локка в этих дискуссиях не отличалась такой прогрессивностью, как в политической философии. Тем не менее эти трактаты о проценте (interest) послужили лучшему понима-

* Впервые опубликовано в: Расков Д. (2019). Джон Локк о деньгах и проценте // *Этика процента: Джон Локк и Иеремия Бен-там о природе ссудного процента и его регулировании*. Москва—Челябинск: Социум. С. 21–47.

нию того, что искусственное регулирование ставки процента не идет на пользу экономике.

Ключевые слова: процент; деньги; Локк; Чайлд; Бэкон; Кулпепер; регулирование.

JEL: B1, B31.

В биографии, написанной Роджером Вулхаузом, где жизнь Джона Локка (1632–1704) хронологически расписана с точностью по дням и местам пребывания, не раз упоминается емкая характеристика Локка как «человека разностороннего ума» (a man of versatile mind). В данной статье основное внимание будет уделено лишь одной стороне наследия Локка — его взглядам на деньги и процент. Задача состоит в том, чтобы, с одной стороны, раскрыть вклад Локка в понимание денег и процента, с другой — показать контекст полемики, изнутри которой и следует понимать этот текст, призванный изменить мнение парламентариев о сути процента и денег, о желательности не менять стандарт и не уменьшать содержание серебра в монете, как и не стремиться регулировать ставку процента в сторону понижения.

Локк стал известен благодаря трем трактатам — «Опыт о человеческом понимании», «Два трактата о правлении», «Послание о толерантности», которые он опубликовал после своего возвращения из политической ссылки в Голландию в 1689 году, когда Уильям Оранский провозгласил в Великобритании Славную революцию. Локк окончил Оксфорд, какое-то время преподавал, затем занялся государственной службой, отстаивая в парламенте интересы партии вигов, поднимаясь до члена Торгового совета.

Локк трепетно относился ко всем бумагам и текстам, поэтому его биографы обладают не только пол-

ной коллекцией рукописей и писем — последние изданы в восьми томах, но и такими «материалами удивительного свойства», которые он бережно собирал до конца своих дней, как конспекты по различным темам, медицинские и кулинарные рецепты, записи о плане на каждый день, о перемещениях и покупках, каталог книг и имущества, финансовые инвестиции и их результаты, ежедневные наблюдения за погодой [Woolhouse 2007, p. XIV]. Локк превыше всего любил порядок, уединение, приятную беседу, работал во многих направлениях — от химии и медицины до философии, политики и экономики.

Локк написал ряд памфлетов о деньгах, точнее о проценте и чеканке монеты, которые опубликованы в 1690-е годы. Памфлет «Некоторые соображения о последствиях понижения процентной ставки и повышения ценности денег» 1691 года — среди них. Благодаря авторитету Локка в философии и тому, что памфлеты на время убедили парламент, работы Локка о деньгах известны не одному поколению экономистов. На них опирались Ричард Кантильон и Адам Смит, а Карл Маркс считал их важными для экономической науки. Попробуем разобраться, в чем состоит теория Локка о проценте и деньгах, а также впишем эти идеи в общую дискуссию о проценте.

Локк о проценте

Главная дискуссия была вокруг возможного понижения узаконенной ставки процента с 6 до 4, как в Голландии. В публикуемой работе 1691 года Локк вернулся к своему тексту 1668 года *Some of the Consequences that are like to follow upon the lessening of interest to 4 per cent* («О некоторых последствиях, которые, вероятно, наступят вслед за снижением процентной став-

ки до 4%») [Kelly 1991, p. 167–186]. В парламенте в этот период обсуждалась книга Джосаи Чайлда (Josiah Child) «Краткие заметки о торговле и проценте с денег» (Brief Observations concerning Trade, and Interest of Money). Он как раз предлагал снизить процентную ставку, как в Голландии, до 4%. По мнению тех, кто поддерживал эту точку зрения, низкие ставки стимулируют торговлю, большее количество предприятий будет открыто, инвестиции вырастут, повысится цена на землю, что поможет Короне выплатить долги [Woolhouse 2007, p. 88]. Как и многие другие трактаты того времени, трактат Чайлда написан с желанием продемонстрировать, как и почему надо срочно заимствовать опыт у главного конкурента Англии — Нидерландов. Низкая ставка процента, в мирное время — 3%, во время войны — 4%, была не единственным преимуществом, на что обращает внимание Чайлд. В возвышении Нидерландов большую роль сыграли активное участие торговцев, умудренных практическим опытом, в разработке законов; равные доли, которые наследуют сыновья; создание условий для изобретения новых машин и открытия новых секретов в торговле; мощная корабельная флотилия; низкие таможенные пошлины; общественные работы для наименее обеспеченных слоев населения; использование переводов, банков и страхования; терпимость ко всем религиям и бережливость [Child 1668].

Локк же, напротив, полагал, что сокращение официальной процентной ставки приведет к обратным последствиям: замедлится колесо торговли и экономической активности, меньшее число людей будет готово одалживать деньги, возникнет редкость денег, цены будут снижаться, что приведет к падению стоимости экспорта.

Стоит отметить, что при всем желании Локка дистанцироваться от политики и занимать независимую

позицию его обращение к вопросам процентной ставки было отнюдь не случайным. В 1667 году Локк переезжает из Оксфорда в дом лорда Эшли (Exeter House), который в этот период заведует главным финансовым управлением — Палатой шахматной доски — Chancellor of the Exchequer*. В этом смысле трактаты Локка о проценте встраиваются не только в интеллектуальную, отвлеченную логику, но они и знак участия Локка во внутренней политике. Через эти трактаты он вносит свою лепту в обсуждение вопроса регулирования процента в английском парламенте. Приглашение Локка быть воспитанником сына лорда и отчасти доктором семьи лорда Эшли значит и то, что в политико-экономической дискуссии того времени Локк надолго оказывается вместе с руководителем главного финансового управления страны и нацеливает свои аргументы против недавно вышедшей книги Чайлда и его сторонников. Его логика во многом еще сохраняет меркантилистские черты, поскольку его беспокоит относительное количество драгоценных металлов, которое будет циркулировать в стране, положительный торговый баланс, возможности для экспорта. Вместе с тем все больше просматривается возрастающее внимание Локка к анализу сил спроса и предложения.

В 1691 году Локк подтверждает свой главный тезис о том, что процентную ставку не нужно законодательно снижать с 6 до 4%. Локк подвергает сомнению саму возможность и необходимость регулировать ставку процента, которая, по его мнению, является чисто рыночным феноменом. Он четко разделяет официаль-

* Палата шахматной доски (*англ.* Exchequer) — высший орган финансового управления в средневековой Англии. Название произошло от способа подсчета и проверки денежных поступлений от финансовых чиновников на местах с использованием клетчатого сукна, напоминавшего доску для игры в шахматы.

ную, регулируемую и естественную, рыночную ставку процента. Регулирование не способно напрямую влиять на естественную ставку. Если кто-то с успехом ведет промышленные или торговые дела и готов платить более высокую ставку, закон будет обходиться посредниками и банкирами, которые будут извлекать еще большие доходы. Потеряют лишь беспомощные собственники финансового капитала, такие как вдовы и сироты, получившие наследство. Объемы и привлекательность торговли сократятся, деньги станут в большем дефиците, поскольку многие не получают достаточно стимулов расстаться с деньгами. Естественная ставка процента будет определяться не решением законодателей, а фундаментальными причинами. К ним Локк относит, хотя формулирует несколько по-другому, спрос и предложение на деньги. Спрос определяется объемом торговли, потребностями в обмене. Предложение зависит от того количества денег, которое выпущено в обращение, от количества драгоценных металлов. В этом смысле, с точки зрения Локка, неверно стремиться к тому положению, которое сложилось в Нидерландах с помощью законодательного ограничения ставки процента. Напротив, и здесь Локк одержал в споре победу, низкая процентная ставка стала следствием активной торговой деятельности и высокого уровня развития экономики. Признание обратной причинно-следственной связи между экономической конъюнктурой и ставкой процента можно считать определенным достижением Локка — это теоретическое положение со временем получит большое признание.

Таким образом, мы видим, что Локк помогает защитить действующую ставку в 6% и не понижать ее. Он обосновывает эту точку зрения через аргументы о рыночном спросе и предложении на деньги, которые в отличие от законодательно установленной нормы

обладают естественностью и способностью к саморегулированию. Искусственное ограничение процентной ставки, по мнению Локка, уменьшает предложение частных денег, делает менее привлекательным экспорт, замедляет торговлю, повышает доходы посредников и умелых ростовщиков.

Дискуссия о проценте: контекст

Современная экономика основана на технологических новациях и накоплении капитала по сложному проценту. Так же, как и долгосрочный рост, это исторически уникальное явление, которому около двухсот лет. Моральные нормы и юридические практики предшествующих цивилизаций лимитировали заемщика в установлении процентной ставки. Европейская цивилизация, включая образованные в XVIII веке Соединенные Штаты Америки, так или иначе ограничивала процентную ставку, и лишь к XIX веку это регулирование было ослаблено. Запрет на взимание излишне высокого процента знала Римская империя. Известна и достаточно четкая ориентация на запрещение или регулирование процента в христианстве.

Локк изредка пользуется термином ростовщичество (*usura*), речь у него идет именно о процентной ставке (*interest*). Этот факт уже говорит о том, что он дистанцируется от *нежоративной* формы, содержащей моральное осуждение. Изначально между процентом и ростом не было разницы. В дальнейшем под ростовщичеством стали понимать излишне высокую процентную ставку. Само это различие предполагает законодательное регулирование либо моральную оценку данной практики — в любом случае внешнюю инстанцию, которая определит максимальный уровень если не точно, то в принципиальном плане. Ро-

стовщичество — это несправедливая форма взимания процента, соответственно, предполагает этическое или юридическое регулирование.

В Древнем Риме существовал запрет на накопительный ссудный процент, то есть ту форму начисления процентов, когда к основному телу долга прибавляются проценты и далее дополнительные проценты начисляются на всю получившуюся сумму [Geisst 2013]. Таким образом, запретительным считался лишь процент с процента (*usura usurarum*). Встречались ограничения максимального долга с учетом всех процентов, в два раза превышающего начальный долг. Именно этой цели служило и правило 72. Это правило позволяло вычислить приблизительный срок, в течение которого долг вырастет вдвое при определенном и постоянном росте. Если 72 разделить на ставку процента, то получаешь этот приблизительный срок, после которого долг уже не мог расти. Скажем, при 12%-й ставке тело долга удваивалось за шесть лет. На законодательном уровне устанавливался максимальный процент. Беспокойство у законодателей вызывали как излишние (несправедливые) доходы заемщика, так и повышенные риски потерять имущество и свободу со стороны наиболее бедных слоев населения. На этом историческом этапе запрет ростовщичество считался естественным. В *Законах двенадцати таблиц* в Древнем Риме было зафиксировано, что нельзя взимать более двенадцатой доли, то есть чуть более 8%.

В раннем Средневековье процент осуждался, христианам предписывалось дистанцироваться от такой практики, во всяком случае со стороны тех, кто одалживает деньги. Ветхий Завет (Второзаконие) предписывал не давать в рост брату своему, в Новом Завете идеалом стало общение имуществ и свободное предоставление средств нуждающемуся. В реальной прак-

тике ссудными операциями стали в большей степени заниматься ломбардцы и иудеи. Схоласты подошли к пониманию того, что положительный процент связан с компенсацией упущенных возможностей, недополученной прибылью и риском невозврата. Позднее Средневековье смещает акцент с самой сделки на мотивацию сторон, совершивших ее.

Христианство, организованное в братские общины, вступало в противостояние с мирскими ценностями и ревновало к любым формам, которые уводили человека в другие измерения, связывая эти формы с грехом. Эту общую проблему хорошо описывает Макс Вебер, когда в своей работе «Теория ступеней и направлений религиозного неприятия мира» показывает точки напряжения и соперничества между религией и миром. Отказ от мира — аскеза — является начальной точкой религии спасения. Отказ от мира предполагает определенную дистанцию от эротики и любовных утех, от политики, от искусства, которое не устремлено к религиозным целям, от светской науки и ее «многознания» и, наконец, от экономики, которая может увлечь роскошью возможностей и манящим богатством. Экономика основана на рынке и деньгах. «Деньги, — как справедливо указывает Вебер, — самое абстрактное и „безличное“ из всего того, что существует в жизни людей. Поэтому чем больше космос современного капиталистического хозяйства следовал своим имманентным закономерностям, тем невозможнее оказывалась какая бы то ни было мыслимая связь с этикой религиозного братства. И она становилась все более невозможной, чем рациональнее и тем самым безличнее становился мир капиталистического хозяйства. Ибо если еще можно было этически регулировать личные отношения между господином и рабом именно потому, что эти отношения были личными, то отношения между меняющимися

владельцами ипотек и <...> должниками ипотечного банка, между которыми нет никакой личной связи, регулировать было уже невозможно...» [Вебер 1994, с. 14]. Томизму это помогал обосновывать Аристотель, который трактовал деньги как простого посредника, договорным образом упрощающего обмен, но лишённого собственной сущности. Поэтому ничто так не показывает пропасть между новым и старым мировоззрением, как метафора денег. Деньги из «ничто» Аристотеля постепенно преобразовались в метафору Бенджамина Франклина «время — деньги», а ещё точнее в деньги, уподобленные супоросной свинье или свиноматке, которая способна порождать новые деньги в геометрической прогрессии. Именно эту метафору обсуждает Макс Вебер, когда исторически важным примером хочет показать «дух капитализма», нарождающийся в протестантской среде.

Формула Данте «ростовщик чернит своим пороком Любовь Творца» начинает трансформироваться внутри самого канонического права, в рамках самой схоластики. Рассматривалась преимущественно сторона кредитора, неудобства, которые причиняет временное расставание с деньгами. Схоласты понимали, что убытки и риски кредитора компенсируются ненулевой ставкой процента. Кредитор недополучает доход, который мог бы иметь, вкладывая деньги в деловое предприятие, в землю, в другие активы. Эта упущенная выгода и дополнительные риски невозврата могут компенсироваться. Теория процента схоластов, как показал Йозеф Шумпетер, оказалась более передовой по сравнению с многими теоретическими построениями экономистов XIX века [Шумпетер 2001, т. 1, с. 130–134].

С позиций истории экономической мысли Джон Локк занимает промежуточное положение между меркантилизмом и политической экономией как отдель-

ными этапами в развитии европейской экономической мысли. При работе с этим переходным периодом (физиократы, Адам Смит, Томас Мальтус) очень часто становится очевидна условность и противоречивость отнесения экономического наследия автора к какому-нибудь одному направлению, поскольку сами авторы не стремились создать непротиворечивую и цельную концепцию, их взгляды, скорее, были эклектичны и часто встраивались в другие неэкономические курсы — например, для Локка это прежде всего политический и философский. Тем не менее, учитывая, что часть аргументов Локка остается меркантилистской, можно сделать ряд важных замечаний относительно роли меркантилистов в осмыслении процента.

Меркантилизм объединяет политику и учение. С позиций текстов к нему относят авторов, которые уже не принадлежали средневековой традиции, но работали до Адама Смита, который предложил использовать термин «меркантильная система» для тех взглядов, которые критиковал. В меркантилизме выделяют нацеленность на решение национальных, государственных интересов; веру в то, что богатство состоит в наращивании благородных металлов — золота и серебра, в росте положительного сальдо торгового баланса; протекционистские меры регулирования экономики. Справедливо и то, что меркантилизм — очень условная инструментальная концепция: *«Меркантилизм никогда не существовал, — пишет Эли Хекшер, — в том смысле, в каком существовали Кольбер или Кромвель. Это лишь инструментальная концепция, которая, если правильно выбрана, должна помочь нам понять конкретный исторический период более ясно, чем в противном случае могли бы. Таким образом, каждый может свободно придавать термину меркантилизм значение <...>, которое гармонирует со специальными поставленными перед собой задачами»* [Heckscher, 1935, vol. 1, p. 19]. Именно

Хекшер в последней, пятой, главе «Меркантилизм как концепция общества» своего двухтомного сочинения «Меркантилизм» помогает ответить на интересующий нас вопрос относительно эволюции концепции процента [Ibid., vol. 2, p. 269–325].

Социальная концепция меркантилизма, как аргументированно показывает Хекшер, имеет больше общего с политикой свободной торговли (*laisser-faire*) — следующим условным периодом — в своей социальной философии и радикально отстоит от средневековой христианской мысли — предшествующим периодом в экономической мысли. Философия общества меркантилизма опирается на Гоббса, Бентама, Дж. С. Милля. Идеи естественного права, представление о человеке как о социальном животном, отсутствие сакрального измерения, благожелательное отношение к торговле и проценту — это подлинная революция в представлениях о человеке и обществе.

Эта разница со средневековыми представлениями наиболее радикальным образом прослеживается в области этических вопросов и, в частности, в отношении к ростовщичеству и проценту. На рубеже XVI–XVII веков окончательно меняется тип рассуждений по этому вопросу. Постепенно теологические, моральные, этические вопросы уходят на второй план или даже вообще не обсуждаются, но сама проблема долга, кредита, величины процента обсуждается с точки зрения различных экономических причин и следствий. Это подлинная революция, и случилась она в Англии задолго до Локка, который лишь продолжил традицию обсуждения этого вопроса. Еще одной особенностью этого нового типа литературы является не отвлеченная задача, а вполне конкретная цель — отстоять свою точку зрения в рамках парламентских прений, поэтому защитники и противники ростовщичества, а позднее — процента, говорят на одном языке, и при различии

выводов их общая риторика все более уравнивается. Те, кто осуждал процент в парламенте XVII века, также использовали уже далеко не этические аргументы, но показывали, что от более высокого процента пострадают торговцы, землевладельцы, снизится конкурентоспособность экономики в условиях того, что другие страны имеют более низкую ставку процента. Это уже совсем другой тип дискурса, совсем другой тип обсуждения ростовщичества.

Одним из последних текстов в парламентской полемике, осуждающих ростовщичество с моральной точки зрения, стал трактат Томаса Вильсона (1525–1581) «Рассуждение о проценте» (1572) [Wilson 1925]. Это переходный текст — он написан уже не священником, не теологом, а юристом, выпускником Кембриджа, послом в Нидерландах, советником Елизаветы I, политиком, который боролся в парламенте за запрещение ростовщичества и к моменту выхода книги уже проиграл, поскольку в 1571 году парламент легализовал максимальную ставку в 10% (а впервые запрещение взимания процента было заменено установлением максимальной ставки процента в 1545 году).

В развернутом предисловии к публикации Вильсона 1925 года Ричард Тоуни описывает выступление Вильсона в парламенте как эксперта по запрещению процента: Вильсон обращается к авторитету Солонна, Иезекииля, Августина, Никейского собора, канонического права, сравнивает ростовщиков с пауками, змеями и бесами, но остается в одиночестве — парламентариев больше беспокоит состояние внутренней и внешней торговли, кредита, рентных доходов от земли [Tawney 1925, p. 81]. Никто уже не поддерживает предложение Вильсона преследовать ростовщиков, как волков, высылать их из страны, конфисковав их имущество. Приходит и понимание того, что жестокое преследование только одной стороны кредитных

отношений, а именно кредитора, ставит в намного более выгодное положение заемщика: можно пообещать заплатить процент, но не платить, заплатить, но потребовать назад или пожаловаться на слишком высокий процент.

В диалогах Вильсона священник в итоге убеждает юриста и купца, в жизни происходит прямо противоположное. В XVII веке в английском парламенте вопрос запрещения процента уже не обсуждается. Теперь ключевым вопросом, в дискуссии по которому принял победное участие и Локк, становится максимальный уставной процент. Таким образом, происходит консенсус по поводу того, что процент — это нормально, должен устанавливаться только максимальный уровень, после которого начинается ростовщичество. Происходит более четкое разграничение взимания процента и ростовщичества. Дискуссия уже будет вестись вокруг того, какой процент стоит устанавливать, стоит ли его понижать или повышать и т. д. Интересы государства, интересы торговли, интересы промышленности ставятся выше интересов церкви. Важнее динамика оттока капитала, экономическая мощь государства, а не гнев или милость Господа. Буквально в момент изменяются риторика и консенсус по этому вопросу. Как тонко замечает Тоуни в заключение описания исторического контекста работы Вильсона:

Может ли какая-либо интеллектуальная революция быть более глубокой, чем та, что ставит вместо Сверхъестественного Критерия, как бы ни был туманен его характер, а применение — противоречивым, ту или иную версию Экономической Целесообразности? [Ibid., p. 87].

В XVII веке дискуссия продолжается, но уже в большей степени, если не главным образом, в русле различных версий экономической целесообразности. Причем это

касается и тех, кто выступает против слишком высокого процента, по-старому называя это ростовщичеством, но по сути — это уже совсем другой разговор.

Френсис Бэкон (1561–1626) — философ и государственный деятель — обсуждает процент, не затрагивая никаких этических или теологических аргументов. В манере, свободной от предрассудков, в главе «О ростовщичестве» (*Of Usury*) он приводит преимущества и недостатки взимания процента [Васон 1908, р. 187–193]. Недостатки имеют экономическое обоснование: меньше торговцев смогут брать деньги под высокие проценты; большая часть торговли будет обслуживать проценты — следовательно, многие торговцы обеднеют; казна недосчитается доходов от таможенных сборов и других платежей из-за оскудения торговли; богатство концентрируется в немногих руках, что приводит к более неравномерному распределению доходов, а это вредит благополучию и стабильности государства; ростовщический процент ведет к понижению цены на землю, препятствует улучшениям и изобретениям, что может привести многих промышленников к разорению и упадку [*Ibid.*, р. 189]. К преимуществам возможности брать в кредит с высоким, или ростовщическим, процентом Бэкон относит возможность брать ссуды для молодых купцов, то есть признает, что в отдельных аспектах высокий процент сковывает торговлю, в других же — помогает развивать. Заемные средства помогают сохранить свою собственность, землю, бизнес тем, кому в отсутствие кредитования пришлось бы ее продать, чтобы найти деньги. Наконец, Бэкон говорит о том, что сейчас уже невозможно представить мир без процента и займов, что это несбыточная Утопия [*Ibid.*, р. 190]. Очевидно, что, хоть недостатков Бэкон выделяет в два раза больше, чем преимуществ, сам разговор о проценте носит уже подмеченный ранее экономический харак-

тер, далекий от теологических и порой даже этических аргументов, если, конечно, не мыслить экономику как практическую этику, что было характерно для рассматриваемого периода.

Не обходит Бэкон стороной вопрос практического регулирования ставки процента, при котором нивелировались бы недостатки процента, но сохранялись бы его преимущества. Единственным решением Бэкон считает двухуровневую систему. На одном уровне должен быть установлен такой процент, чтобы он не отпугивал торговцев, бизнесменов и всех людей. На этом разрешительном уровне сделки бы совершались свободно и без препятствий. По предположению Бэкона, такая ставка могла бы равняться 5%. Это помогло бы повысить цену на землю, создать стимулы для изобретений и направления дополнительных средств в развитие промышленности. На втором уровне государство может прибегнуть к выдаче специальных разрешений или лицензий, где в определенных местах могут быть доступны кредитные ресурсы по более высоким ставкам для тех заемщиков, для кого риски выше [Ibid., p. 192]. То есть Бэкон предлагает выделять разные рынки заимствования и допускать разумные отклонения.

Все ближе подходя к Локку, следует уделить отдельное внимание трактату против ростовщичества (*Tract against Usurie*, 1621) Томаса Кулпепера (1578–1661), современника Бэкона. Дело в том, что противник Локка в парламенте, который отстаивал необходимость законодательного снижения ставки процента в Англии, — Дж. Чайлд заново опубликовал эту работу вместе со своим трактатом о торговле. Примечательно, что данный трактат, видимо, с французского перевода 1753 года, был опубликован на русском языке в журнале «Сочинения и переводы к пользе и увеселению служащие» в декабре 1758 года — «Сочинение Англичанина Фомы Кулпепера, писанное в 1621 году против

лихоимства, в котором в рассуждении торгов и земледелии следствия денежного роста рассматриваются» [Кулпепер 1758, с. 540–567].

По своей стилистике и аргументам Кулпепер близок Локку, несмотря на кажущуюся разницу во взглядах. Как по времени, так и по непосредственным аргументам его позиция во многих пунктах сходится с Бэконом. Он сразу начинает:

Я оставляю богословам доказывать несправедливость лихоимства. Разные писатели упражнялись уже в сей материи. А я, с моей стороны, намерен изъяснить токмо, какой вред и предосуждение происходит от того государству, которое не имеет ни золотых, ни серебряных рудников? А напротив того, изобилует множеством земных плодов и иных к произведению весьма прибыточного и обширного купечества удобных товаров; и что продаже оных высокой денежной рост великое препятствие и чувствительный упадок приключает [Там же, с. 541].

Меркантилистский подход проявляется в том, что от теологических аргументов автор полностью отказывается, речь идет не о справедливости, но о пользе для государства в целом, фактически о последствиях высокой ставки процента для торговли и промышленности, для ведения бизнеса. Этот вопрос рассматривается в контексте внешней конкуренции с Голландией и Францией, с их купцами и их товарами, с их финансовыми возможностями. Кулпепер уверен, что ставка в Англии в 10% составляет угрозу и служит серьезным препятствием в конкуренции с Голландией, где эта ставка была в это время 6%. Таким образом, основной смысл трактата — убедить членов парламента и граждан в пользе снижения ставки процента, ее максимального уровня, с 10 до 6.

Кулпепер использует похожие на используемые Бэконом аргументы, но несколько более прямолинейно. Высокий процент разоряет купцов, поскольку они вынуждены больше платить за заемный капитал, дешевле земельные ресурсы, так как большую часть приходится отдавать за пользование деньгами и идет перенос интереса от земледелия и промышленности к денежным операциям. С более же низким процентом становится выгоднее заниматься торговлей, земледелием, промышленностью. В плане международной конкуренции также, по мысли автора, происходит ослабление отечественных товаров, приходится продавать товары по сравнительно более высокой цене, чем у конкурентов. Процент является частью всех операций, поэтому голландцы, у которых процент ниже,

где нам наклад, прибыль получают, и дешевле нас продавать в состоянии: того ради и собираемые для войны подати... меньше нашего им стоят. Рост денег будучи у нас почти вдвое против их, и равное с ними иждивение становится нам вдвое [Там же, с. 544].

На этом Кулпепер не останавливается. Дороговизна денег служит препятствием для новых изобретений, более совершенных удобрений в сельском хозяйстве, делает менее выгодными различные учреждения — от строительства домов, городов и кораблей до уже упомянутого земледелия и торговли. Он выступает за снижение процентной ставки, поэтому аргументы против снижения как раз близки Локку, поскольку он выступал в своем трактате за то, чтобы не трогать созданный стандарт в стоимости денег — не менять номиналы, не менять ставку процента, а предоставить ей устанавливаться самостоятельно. Аргументы Кулпепера против снижения, которые он приводит, чтобы поочередно потом разбить, суть следующие.

Любые значительные «внезапные» изменения содержат неминуемую опасность, следствия их неизвестны. Снижение ставки процента нанесет урон тем, кто уже дал под большую ставку процента, а также сделает менее привлекательным рынок заемного капитала, что приведет к его сокращению, многие иностранцы уже не захотят давать кредиты на новых, более скромных, условиях [Там же]. Локк как раз и будет отстаивать эти аргументы, добавляя такое важное объяснение, что не низкая ставка приводит к распространению торговли и промышленности, а, напротив, высокая экономическая активность давит на ставку процента, и она постепенно снижается.

Дискуссию о проценте закончим тем, что в эпоху Просвещения экономические и политические взгляды не всегда согласовались между собой. Самый типичный пример — это Локк и Роберт Филмер. Первый трактат о правлении Локк специально посвящает опровержению ложных принципов сэра Роберта, который сформулировал свой консервативный взгляд на преимущества абсолютной монархии в известной книге *Patriarcha*. Трудно представить более противоположных в этом отношении авторов. Филмер стал сторонником политических свобод, терпимости, свободы печати, развития образования, его имя стало ассоциироваться с демократией и либеральными взглядами, а тексты вдохновляли создателей Американского государства. Но в вопросе процента они оказались вместе его защитниками. Филмер в 1653 году издает трактат о том, почему законно взимать процент, над которым он работал в 1629–1638 годах [Filmer 1653]. Он отвергает аргументы против взимания процента, показывая, что упреки в несправедливости малоубедительны. Риторически Филмер изредка еще прибегает к теологическим аргументам, Локк — уже нет, но они защищают близкую позицию.

Теория денег Локка

Публикуемый текст Локка относится к парламентской полемике вокруг важного практического вопроса — следует ли проводить перечекушку серебряных монет, порча которых достигла огромного размаха. В этом вопросе, как и в вопросе о ставке процента, можно проследить определенную теорию денег. Если сопоставить с другими работами, складывается и определенная философия денег.

В этом противостоянии Локк одержал победу. Была произведена перечекушка денег. При этом ценность и внутреннее содержание серебра не изменилось — в этом и была победа партии, которую представлял Локк. Реакция на незаконное обрезание и порчу монеты была в том, что порченные монеты изымались из обращения и перечеканивались по старой денежной стопе, т. е. в соответствии с ранее установленным весом.

Деньги основаны на договоре. В момент сделок две стороны в торговле, особенно в долгосрочных сделках, ориентируются на определенный эталон и стандарт. Этот стандарт лучше всего проследить в международной торговле, поскольку ни одна из сторон не может по своему «произволению» изменить складывающийся в результате множественных взаимодействий баланс. Этот баланс, по мнению Локка, складывается вокруг достаточно устойчивого стандарта, выраженного в таком драгоценном металле, как серебро. Деньги по своей природе имеют внутреннюю ценность, она мало зависит от внешних обстоятельств, тем более от произвола или обозначения — того начертания, которое наносится на монеты. Шумпетер относит Локка в вопросах теории денег к так называемым металлистам. Противоположный лагерь принято обозначать как номиналисты. Фактически данную пози-

цию защитить было не так просто [Kelly 1991]. Локк в своих аргументах прибегает к достаточно стандартным для меркантилизма отсылкам к балансу торговли, к преимуществам международной торговли перед внутренней. Вместе с тем признание за деньгами определенного согласия несколько снижает теоретическую принципиальность положения о внутренней ценности денег. Возможно, Локк увлекся политическими интенциями трактата, настаивая на незыблемости содержания серебра в деньгах. Очевидно, что согласие не может устанавливаться раз и навсегда и зависит, в свою очередь, от многих обстоятельств. Как справедливо отмечают многие исследователи, более пристальный взгляд и более внимательное рассмотрение делают гораздо более сложным неблагодарное дело классификации и четких характеристик экономического наследия конца XVII века. Последовательность встречается много реже, чем парадоксальность и противоречивость.

Патрик Кэлли, который в 1991 году перепечатал и подробно прокомментировал ключевые трактаты Локка о деньгах, заметил, что Локк защищал «новую и в этих обстоятельствах революционную, доктрину, настаивающую на незыблемости (*sacrosanctity*) денежного стандарта» [Ibid., p. 29]. Исследователь философии денег Локка — Даниэль Кэри — сделал этот тезис центральным в попытке проследить связь между философией денег и языком Локка [Carey 2014]. Автор предположил, что деньги в «Опыте о человеческом разумении» соответствуют «промежуточным модулям». В какой-то степени для Локка важен не определенный вес серебра, который исторически менялся, а долговременное существование стандарта, который помогает вести дела и счета, учитывать собственность, позволяет вести торговые отношения. Этот стандарт должен быть свободен от произвольных манипуля-

ций, составлять незыблемую основу стабильности и процветания, постоянную точку отсчета, что необходимо для языка, морали и, по мысли Локка в интерпретации Кэри, для денег. Есть соблазн поменять это значение во внутреннем обращении, но ушлые купцы сразу смогут проучить за изменения, за девальвацию.

Последствия сохранения ценности денег имели далеко не однозначные последствия, выраженные прежде всего в дефляции и недостатке денег. Шумпетер дает такую оценку этому взгляду на деньги:

К несчастью, перед глазами читателя произведений Локка встает печальная картина <...> он не смог понять следующего: а) перчеканку при сохранении среднего фактического содержания серебра в серебряных монетах нельзя назвать снижением ценности или порчей монеты, а если и можно, то только с оговоркой, что экономическая ситуация уже приспособилась к этому; таким образом, в действительности Локк выступал в защиту завышения ценности монеты и занижения ценности содержащегося в ней серебра; б) следовательно, в отсутствие быстрого приспособления цен <...> серебро ушло бы за границу, что и случилось в действительности <...> Позиция Локка и ее аргументация уступали позиции его главного оппонента Лаундеса [Шумпетер 2001, т. 1, с. 391; Lowndes 1695].

Скажем, более предпочтительными в этом споре выглядят аргументы Николаса Барбона в защиту уменьшения веса серебра в новых перчеканенных монетах [Barbon 1696]. Локк же в более консервативном духе настаивал на том, чтобы ничего не менять в весе денег и при перчеканке использовать старый вес, а не реальный средний вес монет, который сложился в результате обращения и порчи монет. С прагматической точки зрения эта позиция выглядит не менее консер-

вативной, поскольку сохранение стандарта защищало интересы землевладельцев и кредиторов, так как они могли получить обратно большие по весу монеты, чем отдавали. В 1695 году выходит еще один его трактат, но он уже не в силах повлиять на особую комиссию, по решению которой проводится 9-процентная девальвация — все оставшиеся деньги старого образца должны были перечекиваться с новым уменьшенным содержанием серебра*.

Какие выводы можно сделать?

Время создания трактата Локка о деньгах — конец XVII века — дает причудливое сочетание Просвещения, меркантилизма, политической экономии и зачатков финансовой революции. Продвинутое идеи в области политики не шагают рука об руку с прогрессивными идеями в области экономики. У каждого отдельного автора не хватает теоретической последовательности, чтобы сделать однозначные выводы. Даже и значительно позже Адам Смит весьма скептически относился к распространению бумажных денег. Ускользание от однозначных характеристик не в меньшей степени проявляется в вопросах понимания идей Локка о проценте и деньгах.

Локк выступает против регулирования процентной ставки — в частности, ее понижения. Для него неизбывность стандарта в денежных делах, которую может выполнять серебро, является важной точкой отсчета всей экономической жизни. Локк за естественную ставку процента, которая определяется фундаменталь-

* Подробное описание парламентских дебатов, финальных решений и действий Локка см. в: «Локк и его труды о деньгах» [Kelly 1991, p. 3–39].

ными причинами: спросом и предложением на рынке денег. Объем и потребности торговли определяют спрос, количество драгоценных металлов — предложение. Искусственное ограничение процентной ставки бессмысленно и не может помочь развиваться экономике. Напротив, само развитие экономики может приводить к понижению ставки процента.

Вместе с тем в вопросе о трактовке процента Локк далек от оригинальности. У него четко прослеживается переход от теологических и моральных аргументов к вопросам национальных интересов и экономической целесообразности. Этот переход происходит еще в эпоху меркантилизма и, можно сказать, завершается к началу XVIII века. Кулпепер (1621) пишет против взимания процента, но высказывает экономические аргументы. Фактически он объясняет не почему ростовщичество аморально, а что низкий процент полезен для торговли. Риторика разговора о росте меняется задолго до Локка: термин *usura* заменяется на *interest*.

Убежденность Локка, представителя партии вигов, в том, что у денег есть внутренняя ценность, выраженная в серебре, и поэтому нельзя менять статуску и понижать вес порченной монеты, была весьма консервативной. Многие его современники — Лаундес, Барбон — рассуждали более здраво, полагая, что небольшая девальвация поможет избежать дефляции и падения экономической активности. Более внимательное прочтение текстов тех лет по вопросу денег и процента показывает, что место Локка в этих дискуссиях не отличалось такой прогрессивностью, как в политической философии, но тем не менее послужило пониманию того важного обстоятельства, что искусственное регулирование ставки процента не идет на пользу экономике.

Литература

- Вебер М. (1994). Теория ступеней и направлений религиозного неприятия мира // *Избранное. Образ общества*. Москва: Юрист.
- Кулпепер Ф. (1758). Сочинение, писанное в 1621 году против лихоимства... // *Сочинения и переводы к пользе и увеселению служащих*. Декабрь.
- Шумпетер Й. (2001). *История экономического анализа*: в 3 т. Т. 1 / пер. с англ. под ред. В. С. Автономова. Санкт-Петербург: Экономическая школа.
- Barbon N. (1696). *A Discourse concerning coining the new money lighter*. London: Richard Chiswell.
- Carey D. (2014). John Locke's philosophy of money // *Money and Political Economy in the Enlightenment* / ed. by Daniel Carey. Oxford: Voltaire Foundation.
- Child J. (1668). *Brief Observations concerning Trade, and Interest of Money*. London.
- Filmer R. (1653). *Quaestio quod libertica, or a Discourse whether it may be lawful to take use for money*. London.
- Geisst Ch. (2013). *Beggar Thy Neighbor. A History of Usury and Debt*. Philadelphia: University of Pennsylvania Press.
- Heckscher E. ([1931] 1935). *Mercantilism*. Vol. I. London: G. Allen & Unwin Limited.
- Kelly P. H., ed. (1991). *Locke on Money*: 2 vols. Vol. 1. Oxford: Clarendon Press.
- Lowndes W. (1695). *A report containing an essay for the amendment of the silver coins*. London: Charles Bill.
- Tawney R. ([1572] 1925). Historical Introduction // Wilson T. *A Discourse upon Usury...* London: G. Bell and sons Ltd.
- Wilson T. ([1572] 1925). *A Discourse upon Usury by way of dialogue and orations for the better variety and more delight of all those that shall read this treatise* / ed. by R. Tawney. London: G. Bell and sons Ltd.
- Woolhouse R. (2007). *John Locke: a biography*. Cambridge: Cambridge University Press.

JOHN LOCKE ON MONEY AND INTEREST

DANIIL RASKOV (e-mail: danila.raskov@gmail.com). Helsinki Collegium for Advanced Studies, University of Helsinki (Helsinki, Finland).

The article is devoted to the analysis of the legacy of John Locke (1632–1704) in terms of his views on money and interest. The subject is both Locke's contribution to the understanding of money and interest and the context of the polemic. The context of the debates in Parliament provides a better understanding of Locke's arguments about the nature of interest and money, the desirability of not changing the standard or reducing the silver content of coinage, and not seeking to regulate the interest rate downwards. Most attention is given to the 1691 pamphlet "Some Considerations of the Consequences of the Lowering of Interest and the Raising the Value of Money", which was later referenced by Richard Cantillon, Adam Smith, and Karl Marx. Locke argues against the regulation of the interest rate because its movement should be determined not by a regulator but by supply and demand in the money market. The paper concludes that Locke's writings trace a shift common to the period from theological and moral arguments to questions of national interest and economic expediency. A comparison of texts of those years on the question of money and interest with Locke's pamphlets shows that Locke's position in these debates was not as progressive as in political philosophy. Nevertheless, these treatises on interest served to better understand that artificial regulation of the interest rate does not benefit the economy.

KEYWORDS: Interest; money; Locke; Childe; Bacon; Culpepper; regulation.

JEL: B1, B31.

Дискуссии о международных денежно-кредитных отношениях в 1940–1970-х годах

Денис Кадочников

Кадочников Денис Валентинович (e-mail: dkadochnikov@yahoo.com), кандидат экономических наук, доцент Санкт-Петербургского государственного университета, старший научный сотрудник МЦСЭИ «Леонтьевский центр» (Санкт-Петербург, Россия).

На фоне политических и экономических сдвигов в академической литературе и в общественно-политических дискуссиях сегодня все чаще поднимаются вопросы реформирования международных финансов. В связи с этим представляется интересным изучение того, как свидетели становления, развития и последующего демонтажа Бреттон-Вудской системы оценивали присущие ей достоинства и недостатки. В данной статье представлен обзор дискуссий, имевших место в 1940–1970-х годах в западном академико-экспертном сообществе, относительно международных денежно-кредитных отношений, в частности о перспективах и ограничениях развития Бреттон-Вудской системы. Система, которая изначально была призвана обеспечить стабильность и предсказуемость в глобальных финансах, сама создала условия для собственной дестабилизации и демонтажа, что не было неожиданным для многих комментаторов того времени.

Ключевые слова: международные денежно-кредитные отношения; Бреттон-Вудская система; глобальные финансы.

JEL: B27.

Введение

Одним из основополагающих этапов развития международных денежно-кредитных отношений в XX веке стало создание Бреттон-Вудской системы, которая хотя и просуществовала в изначально задуманном виде сравнительно недолго, но существенно повлияла на дальнейшее развитие глобальной экономики, фактически став отправной точкой формирования современной глобальной финансовой системы — системы, к которой в наше время предъявляется все больше претензий с точки зрения ее справедливости и устойчивости. Сегодня, когда все острее встают вопросы реформирования международных финансов, интересным представляется изучение того, как свидетели/современники становления Бреттон-Вудской системы представляли себе ее будущее, как оценивали ее вероятные риски и направления развития. Данный обзор посвящен соответствующим дискуссиям и оценкам в западной литературе 1940–1970-х годов*.

Предложения и планы 1940-х годов

Обсуждение будущего мироустройства и в том числе форм международных денежно-кредитных отношений началось задолго до окончания Второй мировой войны. Так тогдашний министр финансов Канады Роберт Брюс [Вгусе 1942] в статье, посвященной международным экономическим отношениям после окон-

* Материал, представленный в статье, подробнее представлен в ранее опубликованной монографии об истории и теории международной координации финансово-экономической политики [Кадочников 2016].

чания войны, еще в начале 1940-х годов указал на две взаимосвязанные проблемы, которые возникли до нее и которые предстояло решить после ее окончания: проблема занятости и проблема максимально полного и эффективного использования ресурсов каждой страны посредством ее участия в международном разделении труда, международной торговле и движении капитала. По мнению Брюса, первая проблема не могла быть решена без решения второй, поскольку для большинства стран мира обеспечение полной занятости зависело от доступа к глобальным рынкам. Но одновременно, до тех пор пока безработица оставалась массовой, правительства большинства стран не могли не проводить протекционистскую политику. Поэтому две эти проблемы предстояло решать параллельно. Брюс предсказывал, что в послевоенный период многие страны столкнутся с необходимостью выплаты военных займов и для этого захотят прибегнуть к политике поощрения экспорта и ограничения импорта, что будет иметь отрицательные последствия для восстановления мировой экономики. В связи с этим канадский министр финансов призывал разработать такую программу послевоенной реконструкции и развития, которая бы вовлекала все страны и носила бы международный характер, а не замыкалась бы на интересах отдельных стран. Брюс признавал, что такого рода скоординированные действия в общих интересах существенно отличаются как от довоенной практики, так и от того, что на тот момент предписывали экономисты-теоретики, и все же выражал надежду на то, что по крайней мере западным странам удастся достигнуть соглашения по этому вопросу. Он также указывал на нецелесообразность восстановления золотого стандарта в любой форме после войны, отмечая, что монетарная политика стала восприниматься как слишком важный элемент экономической незави-

симости, чтобы вновь ввернуть ее какому-либо автоматическому или полуавтоматическому механизму. Золоту предстояло сохранить свою роль важнейшего резервного актива, но обеспечение стабильности валютных курсов, по мнению Брюса, не должно было быть ключевым приоритетом монетарной политики. В пользу этого мнения свидетельствовала практика 1930-х годов, когда на фоне депрессии стало ясно, что обеспечение занятости и предотвращение дефляции не требуют неизменности валютных курсов.

Говард Эллис [Ellis 1942] из Университета Калифорнии, обращаясь в 1942 году к обсуждению возможных путей развития международных кредитно-денежных отношений в послевоенный период, начинает с того, что деньги, их покупательная способность в современном мире — это нечто создаваемое государством. Это значит, что ключевым условием существования денег является существование суверенного государства. А из этого, по мнению Эллиса, следует, что создание международной денежной системы невозможно без глобального правительства. При этом, как указывает этот автор, ничего подобного никогда не существовало, ведь в рамках системы золотого стандарта золото выступало не в качестве мировых денег, но в качестве мирового товара; при этом обеспечение стабильности валютных курсов в эпоху золотого стандарта в значительной степени зависело от действий Банка Англии, что позволяло охарактеризовать эту систему как стерлинговый стандарт, который не был в полной мере международным. По мнению Эллиса, все довоенные проекты создания мировой валюты представляли собой лишь теоретические схемы, описывающие способ привязки стоимостей национальных валют к некоему общему эквиваленту. По сути дела, речь шла скорее о счетных единицах, а не о реальных валютах. Для того же, чтобы говорить о созда-

нии полноценных мировых денег, необходимо было создание мирового правительства, которое бы не просто обеспечивало возможность сотрудничества между странами (подобно довоенной Лиги Наций), но и обладало бы инструментами принуждения, позволявшими бы ему влиять на экономическую политику стран мира, воздействовать на барьеры в торговле и движении капитала, на параметры монетарной и фискальной политики. В свое обсуждение будущего мировой финансовой системы Эллис включает и критику той системы, которую нацистская Германия попыталась выстроить на покоренной части Европы и в Африке в годы войны («Нового порядка», или, в терминологии Эллиса, «Тоталитарной валютной системы»). На оккупированных территориях германские власти ввели в качестве обязательного к приему средства платежа оккупационную марку, которая имела хождение наравне с национальными валютами соответствующих стран, но при этом не могла использоваться на территории самой Германии. Курс оккупационной марки по отношению к валютам оккупированных стран был установлен на уровне, существенно превышавшем довоенный рыночный курс. При этом, навязывая правительствам и центральным банкам покоренных территорий покупку оккупационных марок за национальные денежные знаки, немецкие власти фактически тем самым заставляли их предоставлять бессрочные, беспроцентные и, более того, безвозвратные кредиты, за счет которых осуществлялось финансирование германских войск. В той же мере, в которой оккупационные марки выпускались в обращение и использовались в расчетах с населением, они становились способом изъятия ресурсов у обычных людей и бизнеса. Немецко-фашистские власти также объявили о создании системы расчетов, которая отличалась крайней степенью централизации, проведением всех

расчетов только через расчетные центры в Германии и только на двусторонней основе.

Здесь следует отметить, что практика выпуска разного рода военных денег применялась не только фашистской Германией, но использовалась практически всеми крупными воюющими державами во время Второй мировой войны (как, впрочем, и до нее, и после нее). Военные деньги — это феномен, который обладает рядом специфических черт. Тактической целью эмиссии таких денег изначально является финансирование военных расходов за счет оккупированной территории или страны; стратегическая цель может заключаться во временном или постоянном лишении страны самостоятельности в денежно-кредитной сфере или даже разрушении денежно-кредитной системы страны, либо, наоборот, в восстановлении денежно-кредитной системы (при освобождении страны или территории дружественным государством). Это достигается посредством объявления таких денег обязательными к принятию в качестве средства платежа гражданами и организациями соответствующей территории. Эмиссия военных денег фактически оборачивается принудительным изъятием в обмен на них ценностей и товаров. Как правило, масштабы эмиссии оказываются столь значительными, что вызывают сильнейшую инфляцию, то есть население оккупированной страны фактически облагается инфляционным налогом. При этом исключается хождение таких денег на территории страны — инициатора такой эмиссии во избежание усиления инфляции в ней. Курс обмена военных денег на национальную валюту соответствующей страны, как правило, оказывается заведомо завышенным по сравнению с рыночным курсом валюты — прототипа, что создает еще один канал изъятия ценностей (см.: [Алексеев 1948; Соколов 2010]).

Говард Эллис, критикуя созданную фашистской Германией на оккупированных территориях систему денежного обращения, валютных курсов, расчетов и управления международной торговлей, отмечает, что США и их союзникам нельзя в случае победы полагаться в будущем на такие же инструменты, свойственные тоталитарной системе, хотя бы они и были выгодными для них. В то же время Эллис, который свои взгляды высказал в 1942 году, попытался представить отношения США и Германии в случае пусть не победы, но не окончательного поражения рейха. По его прогнозу при таком сценарии вынужденного сосуществования завышенный курс германской валюты приводил бы к росту американского экспорта и одновременно германской задолженности, создавая тем самым ловушку для США. В связи с этим Эллис пришел к выводу о том, что в отношениях с тоталитарной экономической системой США не смогли бы позволить себе придерживаться либеральных принципов свободной торговли и должны были бы ограничить внешнюю торговлю и движение капитала. В случае победы, по мнению Эллиса, США и союзникам предстояло создать новую международную финансовую систему, которая, до возникновения условий для появления подлинно международного правительства и международной валюты, должна была представлять собой систему доминирующей валюты. Такой валютой должен был стать доллар США, обеспеченный золотом, а его доминирующая роль обосновывалась Эллисом и его современниками тем фактом, что после войны именно США предстояло стать основным мировым кредитором.

Следует отметить, что еще до войны, в 1930-х годах, США предоставляли некоторым из своих важнейших торговых партнеров кредиты, целью которых была поддержка стабильности валютных курсов

и обеспечение тем самым стабильности двусторонней торговли. В конце 1930-х аналогичные соглашения заключались Великобританией и Францией. Таким образом к 1940-м годам уже сформировалась практика совместных межгосударственных соглашений, направленных на стабилизацию параметров международной торговли и поддержание стабильности валютных курсов. Впоследствии такая практика также легла в основу предложений по реформированию международной финансовой системы.

Американский профессор Бернстайн [Bernstein 1944], который во время войны присоединился к исследовательскому отделу американского казначейства и участвовал в разработке предложений по будущему мировой финансовой системы, в 1944 году выступил с рядом соображений относительно целей и перспектив международного сотрудничества в монетарной сфере. Бернстайн постулировал желательность формирования и реализации общей монетарной политики, под которой он подразумевал прежде всего единообразно понимаемые цели и соответственно подбираемые для их достижения инструменты. При этом меры, предпринимаемые национальными монетарными властями, необязательно должны совпадать полностью, но они не должны вступать во взаимное противоречие.

Общими целями мировой монетарной политики Бернстайн считал обеспечение роста международной торговли, международного движения капитала, роста национальных экономик и уровня занятости. При этом необходимо было обеспечить такую ситуацию в платежных балансах, чтобы исключить необходимость последующих девальваций и/или инфляции в отдельных странах. Иными словами, необходимо было обеспечить устойчивость международной торговли и движения капитала на основе устойчивых валютных курсов. В ходе

разработки планов послевоенного устройства международной финансовой системы актуальными оказались практические аспекты двусторонних схем сотрудничества казначейства США и монетарных властей других стран. Бернштейн упоминает о том, что уже с 1934 года американское казначейство в рамках двусторонних соглашений, направленных на поддержание стабильного курса доллара США к соответствующим валютам, практиковало покупку таких валют на доллары; при этом по условиям соглашений казначейство было вправе потребовать обратного выкупа приобретенной валюты после стабилизации на валютном рынке. Аналогичные соглашения впоследствии стали заключаться и между другими странами, причем во всех случаях подразумевалось не просто приобретение валюты, но и совместные консультации относительно монетарной и курсовой политики. В 1936 году было заключено трехстороннее соглашение между США, Великобританией и Францией. Однако, по словам Бернштейна, уже к концу 1930-х годов на фоне растущей нестабильности в мировой экономике стало ясно, что практика двусторонних и трехсторонних соглашений не могла обеспечить достаточную устойчивость валют. В связи с этим специалисты и в США, и в других странах пришли к выводу о том, что полноценное международное сотрудничество и координация в монетарной сфере и в сфере курсовой политики могут основываться лишь на многосторонней основе.

Англо-американские споры и Бреттон-Вудская конференция

Среди западных политиков и экономистов к 1944 году уже был, в большей или меньшей степени, достигнут консенсус относительно образа послевоенной

международной монетарной системы. Но вот по поводу выбора конкретных инструментов даже внутри США высказывались различные взгляды. Первые планы относительно учреждения Международного валютного фонда (изначально предполагалось назвать его Международным стабилизационным фондом) и Международного банка реконструкции и развития были сформулированы в недрах казначейства США уже в 1941 году. В 1943 году американское казначейство направило соответствующие предложения в финансовые ведомства стран — членов ООН, после чего началась совместная работа экспертов, сопровождавшаяся серией переговоров. В апреле 1944 года эксперты из 30 стран выступили с заявлением о целесообразности учреждения новых международных финансовых организаций, а в июле 1944 года в Бреттон-Вудсе в США собралась монетарно-финансовая конференция ООН с целью обсуждения и принятия устава Международного валютного фонда и Международного банка реконструкции и развития.

В ходе конференции, как и в ходе предшествовавших ей дискуссий, столкнулись несколько по большому счету противоположных точек зрения. Идея восстановления золотого стандарта в той или иной форме пользовалась большой популярностью в США и в других странах, но в то же время многие высказывали серьезные сомнения в его целесообразности, помня о негативных эффектах приверженности этому режиму во время Великой депрессии. По мнению специалистов казначейства США, невозможно было восстановить золотой стандарт в том же виде, в каком он существовал ранее. Речь могла идти только о модифицированном золотом стандарте, при котором по большому счету исключался бы свободный обмен бумажных денег на золото. Актуальной была привязка курсов национальных валют к стоимости золота

с целью обеспечения стабильности валютных курсов. К такого рода привязке валютных курсов к стоимости золота, причем довольно жесткой, призывали в том числе и представители Советского Союза.

Впрочем, наивно было бы думать, что при разработке планов развития международной финансовой системы после войны специалисты из органов денежно-кредитной политики стран-победительниц не принимали во внимание опыт, накопленный во время войны, а полагались лишь на воспоминания о довоенной истории золотого стандарта. Ведь во время Второй мировой войны различные разновидности военных денег выпускались как Германией и ее сателлитами, так и странами-союзниками по антигитлеровской коалиции. В той или иной форме военные деньги в разное время в ходе войны и после ее окончания обращались на территориях с общей величиной населения в сотни миллионов, возможно около миллиарда, человек.

Среди американских политиков и экспертов приобрела популярность идея фиксации валютных курсов по отношению не к золоту, а к доллару США, курс которого, в свою очередь, фиксировался по отношению к золоту. В пользу этого предложения говорил тот факт, что именно в распоряжении США находилась значительная часть мировых золотых запасов. Американская сторона также не могла не осознавать тех неоспоримых преимуществ, которые такое устройство мировой финансовой системы предоставило бы именно Соединенным Штатам. Привязка валют к доллару неизбежно подразумевала превращение именно доллара в основной международный резервный актив. При этом формирование долларовых резервов центральными банками других стран за счет долларовой выручки от экспорта по экономической своей сути означало продажу США товаров и активов в кредит,

причем беспроцентный; формирование же долларовых резервов за счет заимствований у США (напрямую или через международные структуры) ставило США в выгодное положение кредитора последней инстанции и гарантировало влияние на экономики других стран, не говоря уже о процентном доходе.

Такого рода видение международной финансовой системы, основанной на долларе США, лишь отдаленно напоминало принципы функционирования золотого стандарта. Фактически единственным напоминанием о нем было юридическое (но, как показала история впоследствии, в начале 1970-х годов, невыполнимое на практике в полной мере) обязательство США обменивать доллары на золото по фиксированному курсу по требованию центральных банков других стран. В остальном это видение, скорее, опиралось на опыт эмиссии военных денег во время Второй мировой войны, хотя этого никто не признавал открыто. Именно в ходе эмиссии военных денег окончательно проявилось понимание монетарными властями воюющих государств того, с какими грандиозными выгодами и преимуществами связана возможность эмиссии кредитных денег, которые имеют хождение на территории других государств.

Между тем представители Великобритании, в частности Кейнс, в 1944 году были против жесткой фиксации валютных курсов, считая, что нельзя лишать страны возможности влиять на восстановление внутреннего равновесия (подразумевая обеспечение занятости и предотвращение дефляции) при помощи корректировки валютного курса. Это мнение отражало опыт преодоления Великой депрессии при помощи стимулирования экономики мерами монетарной и фискальной политики, обоснованных в свое время Кейнсом. Осознание потенциальной эффективности такого рода инструментов не только для преодоления

глубоких экономических спадов, но и для их по крайней мере частичного предотвращения заставило экономистов пересмотреть свои взгляды на целесообразность золотого стандарта. То, что ранее считалось его основным преимуществом, — фактическая невозможность воздействия на валютные курсы и проведения правительством и монетарными властями инфляционной политики, — уже не могло считаться преимуществом с учетом уроков Великой депрессии (хотя некоторые экономисты осознали это задолго до кризиса 1929 года). Кейнс и британские эксперты не возражали против режима фиксированных валютных курсов как такового, но высказывались за то, чтобы предусмотреть возможность существенного пересмотра валютных курсов при наличии на то оснований в виде фундаментальных дисбалансов в экономике страны.

Впрочем, разногласия, даже внутри одной британской делегации, не заканчивались на вопросе о целесообразности жесткой фиксации валютных курсов по отношению к золоту или другим валютам. Сам Кейнс выступил с идеей создания Международного клирингового (расчетного) союза, который бы обеспечил возможность создания и использования международной резервной/счетной валюты, под названием «банкор». Надо полагать, эта идея Кейнса основывалась в определенной мере на понимании того, что строить международную финансовую систему на основе национальной валюты одной из стран — это значит поставить страну — эмитента этой валюты (а было ясно, что речь могла идти только о долларе США) в заведомо привилегированное положение по отношению к другим странам. Такое развитие событий нанесло бы серьезный удар по влиянию Британской империи и не могло приветствоваться британскими экспертами. Суть идеи Кейнса заключалась не в замене национальных валют банкором как глобальной валютой, а в исполь-

зовании банкора как счетной валюты в международной торговле. Стоимость банкора должна была быть выражена в определенном количестве золота, а курсы национальных валют, в свою очередь, привязаны к банку. При этом цены международных торговых сделок также выражались бы в банкорах, а расчеты по ним проводились бы через Международный клиринговый союз; кстати, идея Международного клирингового союза имела прецедент в виде созданного ранее (и существующего по сей день) Банка международных расчетов в Базеле. При этом страны с профицитом торгового баланса накапливали бы банкоры на счетах в Международном клиринговом союзе, а страны с дефицитом торгового баланса заимствовали бы банкоры в нем же. Для того чтобы не допускать значительных и продолжительных дисбалансов в международной торговле и побудить страны к снижению как дефицита, так и профицита торгового баланса, предусматривались такие инструменты, как пересмотр валютных курсов, взимание процентов за пользование банкоровыми кредитами странами-заемщиками, а также изъятие части банкоровых излишков в резервы союза у стран с профицитами (чтобы побудить их сокращать профицит, увеличивая импорт из стран, испытывающих дефицит) для последующего кредитования стран-заемщиков.

Еще одной важной особенностью плана Кейнса было то, что в нем предусматривалась необходимость выработки механизма пересмотра валютных курсов для восстановления равновесия в экономике (внутреннего и внешнего), в то время как американское казначейство выступало за то, чтобы обеспечить фактическую неизменность валютных курсов. В плане Кейнса были предусмотрены как критерии (хотя и в довольно общем виде), так и процедуры, предусматривающие пересмотр валютных курсов в рамках многостороннего взаимодействия. В американском же плане,

который в итоге лег в основу статей соглашения МВФ, пересмотр валютных курсов допускался лишь с согласия держателей трех четвертей квот МВФ и только в исключительных случаях.

Оценки Бреттон-Вудских соглашений современниками

Принятые в итоге на конференции в Бреттон-Вудсе соглашения стали, по мнению многих наблюдателей, компромиссом между американской и британской точками зрения. Так по словам Халма [Halm 1944], создание Международного валютного фонда должно было примирить сторонников противоположных точек зрения. Восстановление в той или иной форме золотого стандарта, восстановление роли золота как международного резервного актива хотя и имели, по мнению этого экономиста, свои потенциальные преимущества, но были нереалистичны ввиду того, что мировой золотой запас был распределен между странами крайне неравномерно. Можно предположить, что вследствие этого восстановление золотого стандарта в любой форме способствовало бы с одной стороны росту международной задолженности, а с другой стороны привело бы к росту цены золота ввиду повышенного спроса на него со стороны центральных банков. Именно развитие событий по последнему сценарию стало в свое время одним из факторов, усугубивших и продливших Великую депрессию.

Предложение Кейнса в исходном виде было неприемлемо для стран-кредиторов, так как фактически означало бы принятие ими обязательств по кредитованию торговых дефицитов других стран. Более того, возможность кредитной экспансии за счет стран с профицитом торгового баланса, но иницируемой

политикой стран с дефицитом торгового баланса, означала бы одновременно и угрозу инфляции в первых ввиду роста спроса на их продукцию.

Халм, отстаивая американскую позицию, в своей статье представляет ее как компромиссное решение, позволяющее, не воссоздавая в чистом виде золотой стандарт, создать международную систему фиксированных валютных курсов, стабильность которых обеспечивается возможностью заимствований у Международного валютного фонда. При этом размер возможных заимствований ограничен по сравнению с предложениями Кейнса, а валютные курсы все же могут пересматриваться в случае серьезных дисбалансов. Эти положения действительно выгодно отличали предложения делегации США от предложений как сторонников золотого стандарта, так и Кейнса.

И все же выбор доводов Халмом и игнорирование им предусмотренной американскими предложениями уникальной роли доллара США выдает апологетическую сторону его оценки соглашений, достигнутых в Бреттон-Вудсе. Халм не упоминает о том, что одним из ключевых разногласий между делегациями был выбор якоря для привязки валютных курсов. Те, кого Халм называет сторонниками золотого стандарта, как, впрочем, и британская делегация, и Кейнс выступали за привязку валют либо к золоту, либо к банку, поскольку осознавали, что лишь в этом случае создаваемая система будет подлинно международной и многосторонней. Более того, сам Халм, критикуя предложения Кейнса, указывал на то, какую опасность для стран-кредиторов таит в себе выпуск банков для финансирования торговых дефицитов стран-должников, умалчивает о том, что точно такую же опасность создает для стран с профицитом торгового баланса не согласованный с ними выпуск

любой резервной валюты. Впрочем, справедливости ради надо отметить, что формально статьи соглашения о создании Международного валютного фонда не наделяли доллар США ролью основной резервной валюты и якоря для валютных курсов; эта роль изначально отводилась золоту. Вместе с тем ввиду того, что именно США обладали крупнейшим золотым запасом, эксперты уже тогда осознали, что фактическим якорем окажется именно доллар. Статьи соглашения предусматривали, что ресурсы Фонда будут формироваться за счет взносов стран-членов в золоте и/или национальной валюте. При этом, ввиду того что взнос (квота) США был крупнейшим, было ясно, что значительная доля ресурсов Фонда будет состоять из национальной валюты США. Востребованность американской валюты тем самым подкреплялась ее доступностью через каналы МВФ.

По мнению Говарда Эллиса [Ellis 1944], создание международной финансовой системы изначально подразумевало достижение того или иного компромиссного решения между двумя полюсами: проведением суверенными государствами совершенно независимой экономической (прежде всего монетарной) политики и созданием наднациональных монетарных властей с соответствующим ограничением национального суверенитета (как, например, в случае с созданием единой общемировой валюты, заменяющей собой национальные деньги). При этом, помня о печальных результатах нескоординированных и изоляционистских мер, предпринимавшихся правительствами ряда стран во время Великой депрессии, многие в обсуждении будущего международной финансовой системы склонялись, скорее, ко второму полюсу, призывая максимально ограничить возможности произвола национальных правительств. Другие призывали воссоздать золотой стандарт как режим, ко-

торый дисциплинировал национальные правительства, но не лишал их суверенитета. По словам Эллиса, последние заблуждались, поскольку хотя золотой стандарт и не был связан с формальным ограничением суверенитета и правительства действовали внешне самостоятельно, но сама по себе необходимость придерживаться этого режима ограничивала спектр доступных национальным правительствам мер экономической политики, то есть фактически ограничивала суверенитет. В этом смысле Бреттон-Вудская система, налагающая на страны — члены МВФ определенные обязательства по поддержанию стабильных валютных курсов и допускающая существенные изменения в них лишь при условии фундаментальных внутренних дисбалансов в экономике, являлась не отрицанием, а продолжением принципов, ранее реализованных в рамках золотого стандарта. Оценка итогов Бреттон-Вудской конференции как компромисса была актуальна не только в рамках сравнения предложений разных делегаций, но и в более широком политико-экономическом контексте, в контексте дискуссий о возможностях международной координации в мире, состоящем из суверенных государств.

В комментариях большинства экономистов того времени целесообразность реализации плана по созданию системы фиксированных валютных курсов обосновывалась как раз необходимостью ограничения возможностей национальных правительств по оппортунистическому использованию девальвации как способа решения проблем в своих торговых балансах за счет других стран. Такие соображения, как предотвращение инфляции или упрощение международных расчетов, которые были актуальными в эпоху классического золотого стандарта, остались к 1940-м годам в прошлом. При этом, к примеру, Эллис, констатируя взаимосвязь различных элементов экономической

политики, обоснованно указывал на то, что создание подлинно международной монетарной системы возможно лишь при условии создания столь же международных рынков, то есть снижения или ликвидации всякого рода барьеров для международного движения товаров. Таким образом, обсуждение будущего мировой экономики после Второй мировой войны вновь сделало актуальными те же идеи о глобальном характере экономических проблем и о необходимости скоординированной международной политики, которые были популярны после Первой мировой войны. Параллельно с этим встал и вопрос о роли государства в экономике. Кейнсианские рецепты преодоления проблем с занятостью были слишком популярны, чтобы отвергнуть их полностью и вернуться к концепции *laissez-faire*. Вместе с тем пагубные последствия экономического национализма и его тесная связь с политическим национализмом также уже не вызывали сомнений, в связи с чем возможности эффективно международного взаимодействия рядом авторов (например, Вайнером [Viner 1944]) прямо увязывались с ограничением государственного вмешательства в экономику. Другие исследователи (например, Швенгер [Schwenger 1945]), соглашаясь с необходимостью ограничения государственного вмешательства в экономику как первопричины торговых ограничений, указывали на то, что в некоторых случаях вмешательство необходимо, но должно быть скоординировано с действиями других стран, чтобы минимизировать потенциальный ущерб во взаимной торговле.

Принятие на Бреттон-Вудской конференции плана, разработанного в недрах американского казначейства (плана Уайта), означало фактическое придание особого статуса доллару США. Впрочем, было бы неверным думать, что создание МВФ, пусть даже и дающее доллару особую роль, вызывало в США однознач-

но положительную реакцию. Вот что писал по поводу последствий для США от создания МВФ Эдвард Браун, президент Первого национального банка Чикаго:

Если Соединенные Штаты признают фундаментальную истину, что страна-кредитор в конечном итоге должна принять в качестве платы за свой экспорт товары, используя слово «товары» как включающее услуги, то Фонд сможет функционировать сколь угодно долго, не испытывая дефицита долларов. Если Соединенные Штаты настаивают на продолжении политики превышения экспорта над своим импортом, доллары неизбежно должны стать редкими и другим странам мира придется дискриминировать американские товары, независимо от того, насколько они в них нуждаются. Мы можем отодвинуть этот момент, принимая золото или предоставляя внешние займы. Но в конечном итоге нам достанется все то золото, с которым готов расстаться остальной мир; и мы устанем предоставлять деньги займы с целью позволить должникам оплачивать товары, которые мы сейчас экспортируем, а равно и платить процент на уже ими привлеченные займы [Brown 1944, p. 207].

Браун понимал, что результатом такого развития событий станет рост спроса на доллары, хотя и рассматривал это скорее как потенциальную проблему, а не как окно возможностей для США.

Неоднозначное отношение к Бреттон-Вудским соглашениям в США, Великобритании и других странах стало одной из причин отказа Советского Союза от подписания учредительных документов МВФ в 1945 году. Вероятно, советским властям казалось, что разногласия между США и другими странами нарастают и что подписание каких-либо многосторонних соглашений в этих условиях лишено смысла.

Роль доллара как мировой резервной валюты в условиях торгового профицита в США и торгового дефицита у их партнеров давала США возможность, кредитуя страны — импортеры американских товаров, стимулировать собственную экономику. Рост задолженности других стран перед США не являлся бы проблемой для США, поскольку предоставленные долларовые займы использовались для оплаты американского экспорта, а необходимость снова и снова финансировать торговый дефицит посредством займов у США фактически исключала бы возможность инфляционного давления на американский рынок денег. При этом гарантии обмена долларов на золото, данные Соединенными Штатами центральным банкам других государств, не имели фактического значения до тех пор, пока в торговле США с партнерами сохранялся дисбаланс в пользу США (то есть США имели торговый профицит). Неудивительно, что, когда ситуация в международной торговле изменилась не в пользу США, гарантированный обмен долларов на золото был прекращен.

В ходе дискуссий о будущем мировой финансовой системы после Второй мировой войны встал вопрос о том, в каком соотношении должны быть зафиксированы курсы различных валют. Это был тот же вопрос, что обсуждался и после Первой мировой войны в рамках дискуссий о возможности возвращения к золотому стандарту и системе фиксированных валютных курсов. Поэтому и ответ на него экономисты давали, опираясь на уже знакомые им теоретические и практические прецеденты. Так, гарвардский профессор Хаберлер [Haberler 1945] повторил в 1940-х годах доводы Густава Касселя, которые тот высказал еще в 1920-х годах. Хаберлер сомневался, что в условиях послевоенной нестабильности можно было говорить о плавающих валютных курсах, так как такой режим

мог грозить спекулятивными атаками на те или иные валюты, а ряду стран грозил бы еще и бегством капитала. Точно таких же взглядов придерживались большинство экономистов того времени, что и нашло отражение в итоговых документах Бреттон-Вудской конференции. В связи с формированием режима фиксированных валютных курсов Хаберлер предложил зафиксировать курсы на равновесном уровне, трактуя его как такой, при котором достигается равновесие во внешней торговле. При этом Хаберлер не исключал, что в будущем по мере стабилизации экономической ситуации фиксация валютных курсов могла бы быть отменена. С точки зрения перспектив перехода к плавающим курсам также было выгодно зафиксировать курсы на уровне, соответствующем паритету покупательной способности, поскольку впоследствии это не потребовало бы серьезной корректировки курса.

Уникальную возможность оценить состояние умов среди американских экспертов в послевоенный период дает опрос, проведенный Дж. Беллом [Bell 1946]. Часть этого опроса, организованного с использованием анкет, посвящена изучению взглядов выборки из нескольких десятков экспертов на альтернативные варианты политики в отношении международных финансов.

В ответ на вопрос о предпочтительном режиме валютных курсов большинство высказалось за режим фиксированных курсов с возможностью пересмотра (девальвации/ревальвации) с использованием механизмов МВФ; менее популярен был вариант с жестко фиксированными курсами, наименее популярны — варианты с плавающими валютными курсами и фиксированными курсами, которые могли бы пересматриваться в одностороннем порядке.

В ответ на вопрос, каким образом следовало определить уровень фиксации валютных курсов, большинство высказалось за их определение методом проб

и ошибок, то есть посредством последовательных девальваций/ревальваций; несколько менее популярна была идея фиксации валютных курсов на уровне, соответствующем паритету покупательной способности.

В ответ на вопрос, по отношению к чему должны быть зафиксированы валютные курсы, большинство высказалось за золото либо корзину валют; доллар США был не столь популярен, а использование разных якорей для разных валют (привязка к валюте страны — основного внешнеторгового партнера) было наименее популярно.

Надо отметить, что на практике в отношении уровня фиксации валютных курсов со стороны МВФ обладала как раз та точка зрения, которая в упомянутом опросе была поддержана большинством экспертов. Вместо того чтобы пытаться вычислить курсы на основе паритета покупательной способности, было принято решение отталкиваться от имеющихся на 1947 год курсов, зафиксировав их и предусмотрев возможность пересмотра.

Важной целью создания МВФ было продвижение идеи многостороннего сотрудничества и координации в финансовой сфере вместо продолжения практики двусторонних соглашений. Между тем даже после создания МВФ практика двусторонних соглашений сохранялась, что вызывало критику со стороны приверженцев идеи МВФ в ее первоизданном виде. Так, американский экономист Пул [Poole 1947] отмечал в 1947 году, что вопреки принципам МВФ, Советский Союз развивал отношения со странами Восточной Европы на основе двусторонних соглашений; не чурались этого и Великобритания с Францией.

Джекоб Вайнер [Viner 1947], оценивая характер развития международных экономических отношений в послевоенный период, констатировал, что несколько идей и тенденций сближали идеологию и практику

конца 1940-х с идеологией и практикой XIX века (что, впрочем, для многих стало исходной точкой для их осуждения). Во-первых, большинство экономистов и политиков вновь сошлись во мнении, что свободная торговля — это благо как для отдельных стран, так и для мира в целом, а это подразумевало снижение или отмену торговых ограничений. Во-вторых, всеобщее признание завоевал принцип «страны наибольшего благоприятствования», то есть распространения на всех торговых партнеров страны столь же благоприятного режима торговли, что и для любой из них в отдельности. В-третьих, политики и экономисты в конце концов пришли к выводу, что манипулирование валютными курсами, тарифами, использование иных инструментов для обеспечения односторонних экономических и политических выгод несовместимо с задачей долгосрочного и мирного развития и сотрудничества всех стран мира.

Вместе с тем Вайнер указывал на то, что послевоенная экономическая политика все же будет существенно отличаться от либеральных экономических доктрин XIX века, прежде всего в связи с вмешательством государства в такую область, как международное движение капитала. По мнению этого экономиста, изменения в глобальной экономике сделали неприемлемой политику свободного движения капитала, характерную для XIX века. Тогда отсутствие существенных ограничений на экспорт капитала объяснялось, с одной стороны, глубоко укоренившейся идеологией невмешательства государства в экономику, а с другой стороны — направлением движения капитала (из развитых индустриальных стран в развивающиеся), которое совпадало частично и с направлением миграционных потоков. Однако политика свободного экспорта капитала после Второй мировой войны, по мнению Вайнера, имела бы пагубные последствия для мировой эконо-

мики, поскольку угрожала бы оттоком капитала экономикам, наиболее пострадавшим от войны. Именно поэтому необходимо было создание таких организаций, как МВФ и МБРР, которые обеспечили бы капиталом процесс восстановления послевоенной Европы.

Государственное вмешательство в экономику, ставшее обычным еще до войны и сохранявшееся после нее, вызывало, впрочем, неоднозначную оценку. Если некоторые, включая упомянутого Вайнера, рассматривали этот факт как неизбежный и даже желательный, особенно с учетом последствий войны, то другие обращали внимание на противоречие между не вполне рыночным характером мировой экономики в послевоенный период и рыночными принципами, заложенными в основе Бреттон-Вудских соглашений. Так, Майкселл [Mikesell 1947] указывал на то, что в условиях значительного государственного контроля над экономикой, в том числе и над экспортом и импортом, наивно было думать, что состояние торгового баланса определялось лишь величиной валютного курса. В связи с этим и основная идея, лежавшая в основе Бреттон-Вудских соглашений, — об обеспечении посредством кредитов МВФ стран-членов ресурсами для стабилизации курсов своих валют до установления баланса в международной торговле — могла быть поставлена под сомнение. По мнению Майкселла, главной проблемой упомянутых соглашений было то, что в них никак не описывался механизм восстановления равновесия, то есть, по сути, подразумевалось, что выравнивание торгового баланса должно происходить автоматически, благодаря работе рыночного механизма с учетом корректировки валютного курса. При этом игнорировался тот факт, что торговые дисбалансы могут быть вызваны не только фиксацией валютных курсов на неоптимальном уровне, но и могут быть следствием той или иной внутренней монетарной и/или фискальной политики,

а равно и политики внешнеторговой (включая тарифы и нетарифные ограничения). Тем самым при понимании общей цели международной координации в послевоенный период, которая состояла в восстановлении международной торговли и, одновременно, в ликвидации торговых дисбалансов, сложившихся и до, и в результате войны, авторы Бреттон-Вудских соглашений свели свое видение путей достижения этой цели к очень узкому и недостаточному набору средств, фактически — к курсовой политике. За рамками соглашений остались важнейшие аспекты экономической политики, которые также требовали координации, ввиду их тесной связи с природой экономических проблем послевоенного мира. Впрочем, как казалось Майкселлу, эта проблема могла быть временной, поскольку сохранялась надежда на то, что по мере восстановления экономики степень государственного вмешательства в нее будет сокращаться, а значение рыночных факторов — расти. Тем не менее этим надеждам не суждено было сбыться, поскольку даже спустя десятилетия после войны в большинстве стран мира (не говоря уже о Советском Союзе, КНР и других социалистических странах) государство продолжало активно воздействовать на экономику. Кроме того, уже в рамках Бреттон-Вудской конференции шла речь о создании помимо МВФ и МБРР других международных организаций, которые позволили бы координировать многосторонние усилия в других сферах.

Аргументация в пользу демонтажа Бреттон-Вудской системы

Бреттон-Вудская система просуществовала сравнительно недолго: с 1945 года (если исходить из даты подписания соответствующих соглашений) или 1947 года

(если считать ее исходной точкой начало операций МВФ) до 1971 года, то есть примерно четверть века. 15 августа 1971 года США объявили о прекращении обмена долларов на золото, вследствие чего прежняя система привязки валютных курсов к золоту через доллар США также прекратила свое существование.

Когда обсуждалось будущее мировой финансовой системы в 1940-х годах, главной проблемой, как многим казалось, должен был стать дефицит резервной валюты — долларов. МВФ был изначально задуман таким образом, чтобы решать проблему временной нехватки долларов для стран с проблемами торгового баланса и для мира в целом. Однако уже к 1960-м годам начала складываться совершенно иная ситуация, в которой проблемой была не нехватка долларов, а их избыток.

Важнейшим условием функционирования Бреттон-Вудской системы была способность и готовность США обеспечивать другие страны долларами как резервной валютой. Но поскольку экономика стран Европы и СССР была в значительной степени разрушена войной, США в послевоенный период экспортировали больше, чем импортировали. Торговый профицит США наряду с резервным статусом американской валюты означали повышенный спрос на доллары, который мог быть удовлетворен лишь при условии вывоза капитала из США в виде долларовых займов, кредитов и грантов другим странам. Американские власти, осознавая преимущества, которые дает США резервный статус доллара, с конца 1940-х и на протяжении 1950-х годов проводили именно такую политику. Растущий спрос на доллары покрывался в том числе за счет финансовой помощи европейским странам, которую США оказывали в рамках плана Маршалла и других аналогичных программ, за счет американских займов, а также по каналам МВФ. Проблема заключалась в том, что по мере роста глобального

предложения долларов внешнеэкономические цели американской политики все больше и больше вступали в противоречие с целями внутренней политики, на что в свое время обратил внимание Роберт Триффин [Triffin 1960], по имени которого и названа эта дилемма (Дилемма Триффина). Глобальное предложение долларов росло, в то время как США по-прежнему продолжали гарантировать обмен долларов на золото по фиксированному курсу. Между тем рыночная цена золота начала расти, ведь часть выпущенных долларов неизбежно направлялась на рынок драгоценных металлов. В конце концов официально зафиксированное соотношение доллара и золота существенно отклонилось от рыночного. Для экономических агентов по всему миру это означало, что доллар США переоценен, а значит, неизбежна его девальвация. Эти ожидания способствовали росту спекулятивных операций и давлению на американские золотые резервы.

Эрнст Лютер [Luther 1968] в конце 1960-х годов так обобщил важнейшие пороки Бреттон-Вудской системы.

Во-первых, ни одно государство мира не готово было бесконечно наращивать свои долларовые резервы, поскольку это означало бы фактическую потерю экономического суверенитета. Поскольку страна — эмитент резервной валюты способна напечатать любое количество этой валюты, то теоретически она может купить вообще все товары и активы других стран, что подразумевает приобретение контроля над производственными мощностями. Кроме того, в этой ситуации фискальная и монетарная политика других стран оказывается полностью производной от действий страны-эмитента.

Во-вторых, превращение долларовой эмиссии в единственный источник пополнения международных резервов (на фоне ограниченности золотых запасов и их медленного роста) могло угрожать стра-

нам мира потерей политической самостоятельности на фоне растущего влияния правительства и корпораций США.

В-третьих, хотя долларовые резервы и могут размещаться на счетах и приносить процентный доход, этого недостаточно для того, чтобы побудить страны мира наращивать долларовые резервы неограниченно в обмен на процентный доход. В рамках системы, основанной на долларе США как ключевой резервной валюте, дисциплинирующие механизмы работают только в отношении стран, привязавших свою валюту к доллару США, но не работают в отношении самих США. Эта система столь явно неравноправна и несправедлива, что никакой процентный доход не может компенсировать такого рода дискриминацию.

В-четвертых, рост международных резервов исключительно за счет доллара США возможен лишь при условии перманентного дефицита платежного баланса США и сокращении международных резервов в самих США. Между тем мир, по мнению Лютера, нуждался в системе, в которой США также могли бы формировать резервы, а экономическая политика других стран не была бы зависима от США.

Эрнст Лютер предполагал, что решить перечисленные проблемы можно было бы посредством создания подлинно международного резервного актива, который бы эмитировался не Соединенными Штатами, а МВФ. Тем самым Лютер поддержал план, который к тому времени уже был разработан в недрах этой организации и довольно широко обсуждался.

В 1969 году в попытке решить проблему ожидаемой девальвации доллара и спекулятивного давления на него МВФ создает альтернативный доллару резервный актив — Специальные права заимствования (Special drawing rights), или SDR. Специальные права заимствования представляли собой счетную валю-

ту, стоимость которой привязана к стоимости доллара и золота (через доллар). Впоследствии, уже после крушения Бреттон-Вудской системы, стоимость Специальных прав заимствования была привязана к корзине валют; этот подход сохраняется по сей день.

Система фиксированных валютных курсов была настолько привычна и психологически комфортна, что очень многие продолжали поддерживать ее, признавая лишь целесообразность ее коренной реформы. В ходе дискуссий о возможных направлениях реформы вновь привлекли к себе внимание предложения Кейнса, представленные во время Бреттон-Вудской конференции, а именно идеи относительно многостороннего механизма пересмотра валютных курсов на основе ясных количественных критериев. Многие находили интересной идею о системе фиксированных, но пересматриваемых в полуавтоматическом режиме в соответствии с четкими и открытыми критериями валютных курсов (см.: [Trevor 1973]).

Вместе с тем многие экономисты и политики к концу 1960-х годов уже полностью разуверились в необходимости и целесообразности фиксации валютных курсов. Так, Милтон Фридман призывал вообще отказаться от этого подхода и перейти к системе плавающих валютных курсов.

Спекулятивная игра на разнице рыночной цены золота и официальным содержанием золота в долларе США тем не менее продолжала оказывать негативное влияние на доверие к доллару. Кроме того, уже с конца 1940-х годов валюты многих стран, привязанные к доллару США, неоднократно девальвировались в связи с большими долгами и торговыми дефицитами этих стран. Так, британский фунт был существенно (почти на треть) девальвирован уже в 1949 году, а затем еще раз в 1967 году. Несколько раз в 1940–1950-х годах девальвировался и французский франк, а также

и другие европейские валюты. Девальвации европейских валют снимали, хотя бы временно, спекулятивное давление на них и усиливали давление на доллар. Кроме того, девальвации валют стран — торговых партнеров США повышали ценовую конкурентоспособность европейских товаров по сравнению с американскими. Все это уже в 1960-х годах заставляло многих сомневаться в устойчивости доллара США и Бреттон-Вудской системы. Золотые резервы США на протяжении 1950–1960-х годов стремительно уменьшались. В 1965 году президент Франции Шарль де Голль высказался против международной валютной системы, основанной на национальной валюте одной страны, предвещая ее неизбежный крах, и потребовал от США обменять на золото значительный объем принадлежавших Франции долларов, что американцам и пришлось сделать. Примеру Франции последовала Германия. К концу 1960-х годов золотые резервы США сократились в разы по сравнению с серединой 1940-х.

Еще одним фактором, который поставил под удар Бреттон-Вудскую систему, стала политика США при Линдоне Джонсоне и Ричарде Никсоне. Начиная с середины 1960-х годов администрация США инициировала рост социальных расходов при одновременном снижении налогов в рамках фискального стимулирования экономического роста. Все это привело к росту дефицита бюджета, который финансировался за счет займов. ФРС США в этот же период прибегла к мерам монетарного стимулирования экономики, что способствовало росту денежной массы. Этому же способствовало и американское вмешательство в войну во Вьетнаме (1964–1973), которое также финансировалось за счет заимствований и (косвенно) за счет эмиссии долларов. Эмиссия в США отражалась и на уровне цен в других странах, которые также были вынуждены наращивать предложение денег.

В августе 1971 года президент США Ричард Никсон официально объявил о прекращении обмена долларов на золото по фиксированному курсу. Первоначально это было преподнесено как временная мера. В конце 1971 года доллар был девальвирован по отношению к золоту с 35 долларов за тройскую унцию до 38, а в 1973 — до 42,2.

Сама по себе девальвация доллара не решала фундаментальных проблем Бреттон-Вудской системы, связанных с использованием в качестве международного резервного актива национальной валюты одной страны. Сторонники системы фиксированных валютных курсов, все еще сохраняя надежду на возможность радикального реформирования, но не отмены этой системы, высказывались в пользу расширения использования SDR, поскольку не только доллар, но и потенциальная группа резервных валют не могли уже вернуть доверие к Бреттон-Вудской системе; предложения же о переходе к плавающим валютным курсам вызывали у многих опасения, которые обычно сводились к аргументу об отсутствии достаточного опыта использования такой системы (см., например: [Gulati 1971], [Rangarajan 1971]).

Однако при условии сохранения принципа фиксированных валютных курсов все равно нельзя было решить базовое противоречие Бреттон-Вудской системы, которое выявилось в конце 1950–1960-х годов. Это противоречие было связано с гораздо более быстрым, нежели казалось в 1940-х годах, расширением масштабов мировой торговли и движения капитала, которое сопровождалось и ростом волатильности международных потоков экспортной выручки и заемного капитала. Между тем система фиксированных валютных курсов изначально была рассчитана на гораздо более стабильную среду. Кроме того, нарастание волатильности/нестабильности в мировой экономике в условиях фиксированных валют-

ных курсов создавало привлекательные возможности для валютных спекулянтов. Как отмечал Хаберлер [Haberler 1977], в рамках Бреттон-Вудской системы пересмотр валютных курсов на фоне фундаментальных дисбалансов мог осуществляться только в форме разовых и крупных девальваций и (теоретически) ревальваций. Поскольку направление такого разового крупного пересмотра всегда было очевидно из характера дисбалансов, спекулятивная игра становилась практически безрисковой для спекулянтов. Таким образом, система, которая изначально была призвана обеспечить стабильность и предсказуемость, сама создала условия для собственной дестабилизации.

Несмотря на наличие различных мнений в профессиональной среде и среди политиков, а также несмотря на попытки сохранить в реформированном виде принципы Бреттон-Вудской системы, аргументы в пользу отказа от нее оказались сильнее. В ходе Ямайской встречи в марте 1973 года страны — члены МВФ приняли решение отказаться от фиксации валют по отношению к доллару США, а в 1976 году, также на встрече на Ямайке, руководство МВФ приняло поправки к статьям соглашения МВФ, которые окончательно упразднили международную систему фиксированных валютных курсов. Страны — члены МВФ получили легальную возможность выбирать предпочтительный режим валютного курса — от свободно плавающего курса до фиксированного по отношению к какой-либо валюте или корзине валют.

Литература

- Алексеев А. (1948). *Военные деньги*. Москва: Госфиниздат.
Кадочников Д. (2016). *Международная координация финансово-экономической политики: история и теория*. Санкт-Петербург: Наука, 2016.

- Соколов Б. (2010). Война и деньги // *Проблемы современной экономики*. № 2. С. 26–29.
- Bell J. (1946). Domestic and International Monetary Policies // *The American Economic Review*. Vol. 36. No. 2. P. 214–240.
- Bernstein E. (1944). A Practical International Monetary Policy // *The American Economic Review*. Vol. 34. No. 4. P. 771–784.
- Brown E. (1944). The International Monetary Fund: A Consideration of Certain Objections // *The Journal of Business of the University of Chicago*. Vol. 17. No. 4. P. 207.
- Bryce R. (1942). Basic Issues in Postwar International Economic Relations // *The American Economic Review*. Vol. 32. No. 1. P. 165–181.
- Ellis H. (1942). The Problem of Exchange Systems in the Postwar World // *The American Economic Review*. Vol. 32. No. 1. P. 195–205.
- Gulati I. (1971). World Monetary Crisis and Underdeveloped Countries // *Economic and Political Weekly*. Vol. 6. No. 40. P. 2098–2101.
- Halm G. (1944). The International Monetary Fund // *The Review of Economics and Statistics*. Vol. 26. No. 4. P. 170–175.
- Haberler G. (1945). The Choice of Exchange Rates after the War // *The American Economic Review*. Vol. 35. No. 3. P. 308–318.
- Haberler G. (1977). The International Monetary System after Jamaica and Manila // *Weltwirtschaftliches Archiv*. Vol. 113. No. 1. P. 1–30.
- Luther E. (1968). Towards a New International Monetary System // *Financial Analysts Journal*. Vol. 24. No. 5. P. 73–76.
- Mikesell R. (1947). The Role of the International Monetary Agreements in a World of Planned Economies // *Journal of Political Economy*. Vol. 55. No. 6. P. 497–512.
- Poole K. (1947). National Economic Policies and International Monetary Cooperation // *The American Economic Review*. Vol. 37. No. 3. P. 369–375.
- Rangarajan C. (1971). Desirable Features in a New International Monetary System // *Economic and Political Weekly*. Vol. 6. No. 41. P. 2159–2162.
- Schwenger R. (1945). World Agricultural Policies and the Expansion of Trade // *Journal of Farm Economics*. Vol. 27. No. 1. P. 67–87.
- Trevor G. (1973). Analysis of Proposals for Using Objective Indicators as a Guide to Exchange Rate Changes Underwood // *Staff Papers—International Monetary Fund*. Vol. 20. No. 1. P. 100–117.
- Triffin R. (1960). *Gold and the Dollar Crisis. The Future of Convertibility*. New Haven, Connecticut: Yale University Press.
- Viner J. (1944). International Relations between State-Controlled National Economies // *The American Economic Review*. Vol. 34. No. 1. P. 315–329.

DISCUSSIONS ON INTERNATIONAL MONETARY
RELATIONS IN THE 1940s AND 1970s.

DENIS КАДОЧНИКОВ (e-mail: dkadochnikov@yahoo.com). St. Petersburg State University; ICSEER Leontief Centre (Saint Petersburg, Russia).

Against the background of modern political and economic shifts, issues of reforming international finance are being increasingly raised in academic literature and in socio-political discussions. In this regard, it is interesting to study how the witnesses of the formation, development and subsequent dismantling of the Bretton Woods system assessed its inherent advantages and disadvantages. This article provides an overview of the discussions that took place in the 1940s and 70s. in the Western academic and expert community, regarding international monetary relations, in particular about the prospects and limitations of the development of the Bretton Woods system. The system, which was originally designed to ensure stability and predictability in global finance, itself created the conditions for its own destabilization and dismantling, which was not unexpected for many commentators of that time.

KEYWORDS: international monetary relations; Bretton Woods system; global finance.

JEL: B27.

Деньги и этика: независимы ли эксперты? Судьба первого российского эндаумента

Павел Лукичев

Лукичев Павел Михайлович (e-mail: loukitchev20@mail.ru) — доктор экономических наук, профессор Балтийского государственного технического университета «ВОЕНМЕХ» им. Д. Ф. Устинова (Санкт-Петербург, Россия).

Автор исследует взаимосвязь между деньгами и этикой на основе анализа деятельности экспертов в Российской империи. Этичность деятельности экспертов и эффективность их работы для государства являются основными проблемами, рассматриваемыми в статье. Эволюция взаимоотношений между Императорским вольным экономическим обществом (ИВЭО) и царской властью служит основным историческим примером. В статье описывается создание первого русского эндаумента — целевого капитала ИВЭО. Последний служил гарантом независимости деятельности экспертов, одновременно создавая своеобразную модель «принципал — агент» между ними и царской властью. Противоречия между бюрократией и экспертами служили основой для недоверчивого отношения государства к их предложениям. Автор делает вывод об ограниченной независимости экспертов в Российской империи.

Ключевые слова: эксперты; Императорское вольное экономическое общество; эндаумент; первый русский эндаумент; целевой капитал; независимость экспертов.

JEL: A11, D73, D74.

Введение

Существует ли независимость экспертов, если их исследования финансируются государством? Этично ли использовать деньги государства для объективной оценки его экономической политики? Это те вопросы, которые решаются в рамках данной статьи. Взаимоотношения между экспертами и заказчиками научного исследования складываются непросто. В случае когда заказчиком выступает государство, эти отношения еще больше усложняются. Если проанализировать взаимоотношения денег и этики в исследованиях, то заказчик исследования хочет достичь как минимум одной из трех представленных ниже целей:

- 1) Решения (способы решения) поставленной проблемы.
- 2) Подтверждения выдвинутой заказчиком гипотезы (предположения).
- 3) Открытия истинного (реального) положения с проблемой.
- 4) Эксперт(ы), в свою очередь, хотят достичь одной из трех целей:
- 5) Открытия истинного положения с проблемой.
- 6) Получения денег за свои исследования, как подтверждения их ценности со стороны заказчика.
- 7) Подтверждения выдвинутой заказчиком гипотезы.

Ранжирование целей у заказчика в лице государства и у экспертов разное. Это порождает действие проблемы «принципал — агент», где государство выступает в качестве принципала, а эксперты — в качестве агентов. Независимость экспертов играет ключевую роль в выработке эффективных рекомендаций для решения проблемы. Деньги, уплачиваемые государством за ис-

следования, проведенные экспертами, выступают в качестве связующего звена между ними.

Особенность государства как заказчика исследований состоит в том, что эксперты а priori выступают в качестве конкурентов государственных чиновников. Это может порождать настороженное отношение к результатам работы экспертов.

Исторический пример: взаимоотношения Императорского вольного экономического общества и царской власти

Мы рассмотрим поставленные вопросы на историческом примере, проанализировав эволюцию взаимоотношений между Императорским вольным экономическим обществом (ИВЭО) и царской властью. ИВЭО было создано Екатериной II, как клуб единомышленников для продвижения реформы по освобождению крепостных крестьян. ИВЭО было первым сообществом экспертов, первой общественной организацией, первым научным обществом в России. Именно его деятельность создала «правила игры» для взаимоотношений между общественными организациями и самодержавием. Туманова в связи с этим отмечает, что создание Императорского вольного экономического общества «впервые упорядочило отношения между государством и общественностью, установило главным условием его организованной работы лояльность власти и получение правительственного разрешения» [Туманова 2008, с. 143].

Эти отношения прошли три этапа. Первый и второй этапы — активная поддержка Общества царской властью. Финансирование ИВЭО первоначально осуществлялось императрицей(-ором) и пожертвованиями крупнейших вельмож и купцов того времени.

Вскоре после создания Общества, в конце 1765 года неизвестная особа обратилась в него с вопросом:

Многие разумные авторы поставляют и самые общества доказывают, что не может быть там ни искусного рукоделия, ни твердо основанной торговли, где земледелие в уничтожении или незначительно производится, что земледельство не может процветать тут, где земледелец не имеет ничего собственного. Все сие основано на правиле весьма простом: всякий человек имеет более попечения о своем собственном, нежели о том, чего опасаться может, что другой у него отнимет [История... 1865].

Семевский в связи с этим справедливо замечал, что было прямое заимствование из составившегося тогда Наказа, обнародованного полтора года позднее [Семевский 1879]. Члены Вольного экономического общества фактически проигнорировали этот вопрос [Лукичев 2017]. Не добившись в течение года ответа, неизвестная особа поставила вопрос определеннее и яснее; она прислала Обществу тысячу червонных и от себя предложила задачу: нужно ли крестьянину земледельцу для общенародной пользы иметь поземельную недвижимую собственность или одну только движимую?

Игнорировать такую огромную сумму денег от особы с прозрачными инициалами ИЕ Вольное экономическое общество не могло и после чрезвычайного собрания 6 ноября 1766 года объявило конкурсную задачу в виде: «что полезнее для Общества, чтобы крестьянин имел в собственности землю или токмо движимое имение и сколь далеко его права на то или другое имение простирались должны?» Эта задача оказала очень двойственное воздействие. Дворянское общество, включая ряд членов ИВЭО, было серьезно обес-

покоено, понимая, что вопросу о правах крестьянина на недвижимую собственность предшествует вопрос о его правах на свободу. С другой стороны, как отмечает официальный историк ИВЭО Ходнев,

Государыня смотрела на Вольное экономическое общество как на учреждение, которое разработкою вопросов сельскохозяйственных и экономических должно было подготовить все сословия государства к новым правительственным распоряжениям и преобразованиям. Возбуждением и решением вопроса о земле и свободе крестьянской Императрица видимо желала подготовить заинтересованные стороны к принятию этого преобразования и получить указания науки, как лучше совершить это важное преобразование законодательным порядком [Краткий очерк... 1865].

Время для реализации деятельности экспертов было крайне ограничено и зависимо от политических преобразований в России. Срок присылки ответов на конкурсную задачу был назначен к ноябрю 1767 года, то есть ко времени созыва депутатов от всех сословий для составления «Уложения». Судьба как депутатских комиссий, так и ответов на конкурсную задачу была одинакова: они остались без последствий. Не сумев решить с наскока вопрос об отмене крепостного состояния, Екатерина II охладела к нему и поддерживала деятельность Вольного экономического общества по инерции. Экспертное сообщество ИВЭО стало развиваться самостоятельно. Как отмечает Джозеф Брэдли, несмотря на формально «вольный» статус, ВЭО было чрезвычайно зависимо от императрицы, поскольку именно Кабинет осуществлял его финансовую поддержку [Брэдли 2012].

Екатерина II, не осуществив освобождение крепостных крестьян в отличие от Марии-Терезии, разочаро-

валась в ИВЭО как в инструменте для осуществления этой цели и в 1794 году прекратила его финансирование.

Все остальные российские общества, включая Вольное российское собрание (при Московском университете, 1771 год), Дружеское ученое собрание (Н. И. Новиков, 1782 год), первое студенческое научное общество — Собрание университетских питомцев (1781–1784), Общество друзей словесных наук (1784), которые означали переход русского общества от патриархальных форм общения к все более цивилизованному, после Французской революции 1789 года были уже закрыты. То есть такое развитие еще не было последовательным и бесповоротным. Вольное экономическое общество, наверно, как первая любовь, осталось существовать.

Выделим мнение заказчика проекта (императрицы Екатерины II). Через 30 лет после основания Императорского вольного экономического общества Екатерина II в письме от 9 апреля 1795 года отмечала два положения:

- 1) ИВЭО все время «вытягивало» из меня деньги на свое содержание, писало «Труды» и организовывало конкурсы, которые не стоят этих денег.
- 2) Экономические общества «не имеют права учить других, как вести дела в экономике, потому что сами не обладают примером работающей системы» [Сборник Императорского русского исторического общества, 1878].

Наверно, это «проекция» Екатерины II. Поскольку первая цель заказчика не была решена, а реализация второй и третьей цели в условиях России требовала значительного времени и последовательных усилий «сверху», то деятельность Императорского вольного экономического общества перестала интересовать царскую власть. Не сумев «освободить» крестьян

от крепостной зависимости, императрица перенесла неудачу на Вольное экономическое общество.

Могла ли деятельность сообщества экспертов, такого как ИВЭО, заменить собой развитие всего российского общества? По нашему мнению, не случайно и непонимание вопроса, поставленного императрицей при основании Вольного экономического общества, и фактическое противодействие его широкому обсуждению. Недаром историк Семевский отмечал «рыв в во времени» в осмыслении проблемы для россиян. «Вследствие малой подготовленности русских людей к письменному решению таких вопросов, огромное большинство присланных ответов принадлежало иностранцам (из всех 162 сочинений было доставлено на русском языке только семь). Напротив, в царствование Александра I задачи Вольного экономического общества, затрагивавшие крестьянский вопрос, вызывали по большей части русские ответы и лишь незначительное число их было написано по-немецки. Некоторые из этих русских сочинений оказываются ниже всякой критики, но все-таки большим шагом вперед было уже и то, что вопрос об изменении быта крестьян обсуждался не в одних столицах, но и в какой-нибудь великорусской и украинской глуши» [Семевский 1883, с. 87].

С начала XIX века Общество, несмотря на усиливавшуюся денежную поддержку со стороны Александра I и Николая I, стало заботиться о собственных источниках финансирования.

Для решения финансовой проблемы у ИВЭО было два пути. Первый — это усиление императорской поддержки работы Общества. Но это неизбежно означало бы утрату самостоятельности ИВЭО и превращение его в государственную структуру. Второй — поиск собственных источников финансирования, не исключаящий, конечно, целевой поддержки государства.

По мнению членов ИВЭО, близость к власти не позволяла решать главные научные задачи: исследование российского сельского хозяйства, особенностей его ведения, распределения по регионам империи и в целом крестьянский вопрос. Обществу для объективности необходимо было дистанцироваться от царской власти, дистанцироваться, прежде всего, финансово. Адмирал Мордвинов, бывший президентом ИВЭО в течение 17 лет, постоянно руководствовался мыслью, что «без денег, как главной действующей силы, никакие усилия человеческие недостаточны к достижению предложенной цели». В его правление был создан «мордвиновский капитал», или, как его можно образно назвать, *первый русский эндаумент*. Ведущей характеристикой последнего является то, что он представляет целевой фонд, созданный для некоммерческих целей, таких как финансирование организаций культуры, образования, медицины.

Обратимся к ведущему мировому специалисту в области эндаумента — нобелевскому лауреату (1981) Джеймсу Тобину (James Tobin). В своей статье «Что представляет собой перманентный доход от эндаумента? [Tobin 1974] он отмечает, что попечители института эндаумента являются поборниками будущего против требований настоящего. Их задачей является сохранить капитал для следующих поколений. Устойчивое потребление является их концепцией перманентного дохода от эндаумента. Руководители Императорского вольного экономического общества, конечно, не знали термина «эндаумент», но они активно использовали его в своей деятельности.

Отметим также, что эндаумент от обычной благотворительности отличают два основных признака. Во-первых, создается эндаумент ради поддержки одной какой-либо организации, в данном случае — ИВЭО, и имеет целевой характер деятельности. Во-вторых,

эндаумент нацелен за счет инвестирования средств получать доход на содержание и развитие организации. В целом эндаумент, или, как его называли в Обществе, «целевой капитал», был, если употребить современную терминологию, «финансовым буфером», «страховочной сетью» для функционирования Императорского вольного экономического общества.

На протяжении XIX века Императорское вольное экономическое общество осуществило постепенный переход от преимущественно «императорского» финансирования к преимущественно независимому финансированию своей научной и просветительской деятельности. Подчеркнем также, что финансовая деятельность Общества на всем протяжении его существования соответствовала принципу открытости: отчеты о расходах и доходах Общества обсуждались на ежегодных общих собраниях, публиковались в «Трудах ИВЭО», выходили отдельными изданиями.

Конечно, использование пожертвований на развитие Общества порождало и определенные проблемы, некоторые из которых характерны для эндаументов в принципе. Дело в том, что «донорские ограниченные подарки и завещания часто усложняют управление и развертывание активов фонда» [Helms et al. 2005]. У ИВЭО именно так произошло с «яковлевским капиталом».

В 1841 году у Общества появился «яковлевский капитал» в размере 20 тысяч рублей. К нему сам гр. Мордвинов, тогдашний президент Общества, приложил еще 10 тысяч рублей. Цель «яковлевского» капитала — быть наградой для того, кто укажет пути, как «обратить Тверскую губернию» в рассадник для усовершенствования земледелия» и для образования ученых и благонадежных управителей [История... 1865, с. 657]. Тем самым Вольное экономическое общество пыталось создать на региональном уровне

оптимальную систему управления аграрным производством, опыт которой можно будет распространить на другие губернии России. К сожалению, этот опыт нельзя назвать удачным, так как и в Смете доходов и расходов Императорского вольного экономического общества на 1875 год в разделе II «Приход капиталов, имеющих специальное назначение» выделен пункт — 5% с неприкосновенного капитала А. И. Яковлева в 9500 руб.; для усовершенствования сельского хозяйства в Тверской губернии — 475 руб. [Смета... 1875]. Сегодня, как отмечают Helms et al. (2005), для решения этой проблемы используются меры государственного регулирования, когда, например в США, «судебная практика меняет подходы, используемые штатами для изменения «мертвой руки» доноров, когда время и обстоятельства делают выполнение условий ограниченного наследства неработоспособным».

К концу XIX века ИВЭО, став финансово независимым, было, как и желала Екатерина II, клубом единомышленников для осуществления экономических преобразований. Однако, как только финансовая независимость была достигнута, царская власть начала преследование Общества и его последующую ликвидацию.

Самодержавие, господствовавшее в Российской империи, предполагало единственно правильное мнение, — мнение императора. Чиновники, проводящие это мнение в жизнь, выступали его «охранителями» от каких-либо искажений со стороны экспертов и считали себя частью «принципала». Как следствие, со второй половины XIX века верхушка общества была фактически разделена в России, по мнению [Timasheff 1966], на два течения: 1) правящую бюрократию (поддерживаемую большинством дворян) и 2) «интеллигенцию» — социальную группу, состоящую преимущественно из академических преподавателей

и профессионалов, однако включающих также значимые меньшинства групп, поддерживаемых оппозиционным лагерем (среди дворян всегда были «либеральные бюрократы» и «социальные работники»). Первое направление развило консервативную идеологию, выраженную в хорошо известной триаде «самодержавие, православие, народность», в то время как второе примкнуло к западным идеологиям либерализма и социализма. Члены Императорского вольного экономического общества в подавляющем числе принадлежали ко второму направлению и поэтому встречали постоянно настроенное отношение со стороны бюрократии.

Аналогично, созданные в годы Первой мировой войны общественные организации — Всероссийский земский союз и Всероссийский союз городов, — получая многомиллионные казенные субсидии на свое содержание, не смогли преодолеть, по мысли известного финансиста Твердохлебова, грани между функциями государства и общественных организаций.

С одной стороны, деятельность правительства подвергалась жесткой критике, с другой — «основным источником существования обоих союзов была государственная казна. Уже с самого начала своего существования союзы земств и городов начали получать денежные субсидии, значительно превышавшие их собственные капиталы» [Погребинский 1941].

В условиях огосударствления экономики во время Первой мировой войны [Нуреев 2017], затронувшего промышленность, транспорт, сельское хозяйство и усилившего власть бюрократии за счет ущемления интересов всех других слоев российского общества, существование независимых экспертных групп (союзы земств и городов) не могло восприниматься серьезно царским правительством.

Выводы

На историческом периоде в 150 лет прослеживается корреляция между финансовой независимостью Общества и независимостью научных выводов, экспертных оценок, рекомендаций ИВЭО. Создание и развитие эндаументов прервалось в советское время и возродилось только в новой России. Наверно, если бы оно не прерывалось, то можно было бы говорить о тех же размерах эндаумента, что и в США.

Как показывает исторический опыт, независимость экспертов условна: она зависит от того, насколько власть хочет серьезно воспринимать их исследования.

Литература

- Брэдли Дж. (2012). *Общественные организации в царской России: наука, патриотизм и гражданское общество*. Москва: Новый хронограф.
- История Императорского Вольного Экономического Общества с 1765 до 1865 года, составленная по поручению Общества секретарем его А. И. Ходневым (1865)*. Санкт-Петербург: Типография т-ва «Общественная польза».
- Краткий обзор столетней деятельности Императорского Вольного Экономического Общества с 1765 до 1865 года, составленный секретарем его А. И. Ходневым (1865)*. Санкт-Петербург: Типография т-ва «Общественная польза».
- Лукичев П. (2017). Императорское Вольное Экономическое Общество: эволюция первого научного общества России // *Вестник Удмуртского университета*. Сер. «Экономика и право». Т. 27. № 2. С. 20–27.
- Нуреев Р. (2017). Огосударствление экономики в годы Первой мировой войны и его последствия // *Экстремальное в повседневной жизни населения России: история и современность (к 100-летию русской революции 1917 г.)*: Материалы Международной научной конференции. С. 167–172.

- Погребинский А. (1941). К истории союзов земств и городов в годы империалистической войны // *Исторические записки*. Т. 12. Москва: Издательство Академии наук СССР.
- Сборник Императорского Русского Исторического Общества* (1878). Т. 23: Письма Императрицы Екатерины II барону Мельхиору Гримму (годы с 1774 по 1796). Сообщено из государственного архива Министерства Иностранных Дел в С.-Петербурге/изд. и снабдил предисловием акад. Я. К. Грот. Санкт-Петербург: Типография Имп. Академии наук.
- Семевский В. (1879) Крестьянский вопрос при Екатерине II // *Отечественные записки*. № 10. С. 349–400.
- Семевский В. (1883). Крестьянский вопрос в Вольном Экономическом Обществе в 1803–1822 гг. // *Русская мысль*. Книга I. С. 85–134.
- Смета доходов и расходов Императорского Вольного экономического общества на 1875 год. На правах рукописи*. Санкт-Петербург, 1875.
- Туманова А. (2008). *Общественные организации и русская публика в начале XX века*. Москва: Новый хронограф.
- Helms L., Henkin A., Murray K. (2005). Playing by the Rules: Restricted Endowment Assets in Colleges and Universities // *Nonprofit Management and Leadership*. Vol. 15. No. 3. P. 341–356.
- Timasheff N. (1966). The Sociological Theories of Maksim M. Kovalevsky // *Soviet Sociology. Historical Antecedents and Current Appraisals* /ed. with an introduction by A. Simirenko. Chicago: Quadrangle books. P. 83–99.
- Tobin J. (1974). What Is Permanent Endowment Income? // *American Economic Review*. Vol. 64. No. 2. P. 427–432.

MONEY AND ETHICS:
 ARE EXPERTS INDEPENDENT?
 (THE FATE OF THE FIRST RUSSIAN ENDOWMENT)

PAVEL LUKICHEV (e-mail: loukitchev20@mail.ru). Baltic State Technical University “VOENMEH” named D. F. Ustinov; St. Petersburg branch of the National Research University “Higher School of Economics” (Saint Petersburg, Russia).

The author examines the relationship between money and ethics based on an analysis of the activities of experts in the Russian empire. The ethics of the experts and the efficiency of their work for the state are the main problems considered in the article. The evolution

of the relationship between the Imperial Free Economic Society (IFES) and the tsarist government serves as a major historical example. The article describes the creation of the first Russian endowment—the target capital (tselevoy kapital) of the IFES. The latter served as a guarantor of the independence of the experts' activities, while at the same time creating a kind of «principal—agent» model between them and the tsarist government. The contradictions between the bureaucracy and experts served as the basis for the state's mistrust of their proposals. The author draws a conclusion about the limited independence of experts in the Russian Empire.

KEYWORDS: experts; Imperial Free Economic Society; endowment; first Russian endowment; endowment capital; independence of experts.

JEL: A11, D73, D74.

Деньги и искусство



Фамиллионер,
или О «подлости, совершенно
бескорыстной»

Александр Погребняк

ПОГРЕБНЯК АЛЕКСАНДР АНАТОЛЬЕВИЧ (e-mail: aapogrebnyak@gmail.com), кандидат экономических наук, старший преподаватель Национального исследовательского университета информационных технологий, механики и оптики (ИТМО); старший научный сотрудник Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики» (ВШЭ) (Санкт-Петербург, Россия).

В данной статье предлагается интерпретация понятия «чистой подлости», которое Гоголь использует в главе VIII «Мертвых душ». В начале этой главы описана реакция «дам города N» на слухи о том, что Чичиков оказался «миллионщиком». Именно про «миллионщика» говорится, что он «имеет ту выгоду, что может видеть подлость, совершенно бескорыстную, чистую подлость, не основанную ни на каких расчетах». При этом, как отмечает Гоголь, причиной возникновения этого чувства является не столько сам миллионщик, сколько одно только слово «миллионщик». Однако, как мы пытаемся показать, эта подлость все же не лишена некоторого интереса. Для этого мы сопоставляем гоголевского «миллионщика» с «фамиллионером» Жака Лакана. Фигура «фамиллионера» возникает в начале V семинара, где Лакан обсуждает фрейдовскую концепцию остроумия (Witz). Важно, что Лакан, анализируя данную фигуру, не только указывает на возможную связь неологизма «фамиллионер» с означаемым «подлость» (infamie), но и упоминает «Мертвые души» Гоголя в качестве примера метонимической функции языка, важной для образования остроты. В завершении статьи делаются выводы о связи «чистой подлости» с фетишизацией «человеческого начала» в современной экономике, которая в реальности имеет нечеловеческий характер.

Ключевые слова: экономика; риторика; метафора; метонимия; острота; подлость; семья; человеческое/нечеловеческое; Лакан; Гоголь.

JEL: Z13, B59.

1

Экономисты, как это свойственно всем ученым, иногда совершают открытия. Так, не столь давно одним (а точнее, одной) из них было открыто, что представители этой области знания — поскольку они, подобно другим людям, тоже пользуются языком для выражения своих мыслей, — имеют обыкновение иногда отступать от строгого логического порядка изложения результатов своих исследований и грешить, что называется, риторикой (См.: [Маккроски 2015]). Это и впрямь очень важное открытие, ведь из него можно, например, заключить, что экономисты стремятся не только что-то доказать, но еще и кого-то в чем-то убедить. От открывающихся перспектив захватывает дух, ведь впереди — непочатый край работы: вдруг оказалось, что Адама Смита, Альфреда Маршалла, Джона М. Кейнса, Рональда Коуза и др. только теперь получится прочитать по-настоящему, то есть — сделав акцент на свойственных их текстам метафорах, метонимиях, иронии и т. д., и т. п. На такое воздвижение идеала нечего и возразить, разве только заметить, что риторика как средство воздействия на адресата с целью его убеждения — это, прибегая к избитой метафоре, лишь вершина айсберга, и поэтому хорошо бы еще поставить вопрос о том, не имеет ли здесь места какая-то глубинная взаимосвязь между риторикой и экономикой на онтологическом уровне — на уровне самой реальности, а не только дискурса о ней; вопрос этот можно было бы сформулировать так: не обнару-

живается ли на этом уровне что-то вроде (позволим себе немного *похулаканить*) *языка* — да позволят нам так обозначить феномен, воплощающий изначальное единство языка и экономики (поскольку, взятые отдельно друг от друга, они представляют собой лишь более поздние и искусственно отчлененные явления)?

Вне всякого сомнения, такая взаимосвязь (или даже единство) существует, и шаги к выявлению и всестороннему раскрытию ее природы были сделаны еще Марксом в его знаменитом анализе форм стоимости, где, как известно, сам язык изложения оказывается «языком товаров», *deī Warensprache* («если бы товары могли говорить, то они сказали бы...»). Товар, который говорит вместо своего продавца, — это, очевидно, метонимия, а фетиш как архаический объект поклонения, с которым обнаруживает свое сходство всякий современный товар, — метафора. Поэтому, как это продемонстрировал Хейден Уайт, сама динамика развития формы стоимости актуализирует в себе базовые тропы:

Таким образом, направление, или эволюция, форм стоимости, идущая от первоначального (Метафорического) описания стоимости товара в терминах его эквивалентности какому-то другому товару до (Иронического) описания стоимости товара в терминах количества золота (или денег), которое она привносит в систему обмена, обеспечивается двумя тропологическими стратегиями, — редукции и интеграции, — как мы и ожидали: Метонимией с одной стороны и Синекдочой — с другой [Уайт 2002, с. 341].

Ироничность денежной формы стоимости можно истолковать как результат достижения первоначальной метафорой («как потребительная стоимость, холст есть вещь, чувственно отличная от сюртука; как стои-

мость, он „сюртукоподобен“, выглядит совершенно так же, как сюртук. <...> Его стоимостное бытие проявляется в его подобии сюртуку, как овечья натура христианина — в уподоблении себя агнцу божию» [Маркс 1988, с. 61]) уровня своей тотализации и вместе с тем — уровня своей потенциальной самокритики* (все «товары, какими бы оборвышами они ни выглядели, как бы скверно они ни пахли, суть деньги в духе и истине, евреи внутреннего обрезания» [Маркс 1988, с. 165]). И, что самое важное, — это не просто фигуры речи, с помощью которых кто-то хочет кого-то в чем-то убедить, но всеобщая бессознательная основа повседневных действий агентов реальных экономических отношений.

Именно поэтому отсылка к «Капиталу» возникает в первой части Пятого семинара Жака Лакана, тема которого была заявлена как «Образования бессознательного». В самом деле, на уровне бессознательно-экономика, лингвистика и биология (а это, не забудем, три главные «исторические априори», то есть условия возможности самой человечности человека, согласно Мишелю Фуко) неразрывно сплетены друг с другом, так что каждое из них артикулируется лишь в соотношении с двумя другими. То, что на биологическом уровне нам представляется в качестве наших естественных потребностей, *всегда уже* опосредовано

* «Предполагается, что Ирония по существу своему диалектична, поскольку представляет собой осознанное использование Метафоры в интересах словесного само-отрицания. <...> Цель Иронического утверждения — неявно утверждать отрицание того, что на буквальном уровне утверждалось позитивно или наоборот» [Уайт 2002, с. 55–56]. Ирония в описании денежной формы стоимости состоит в указании на ее фетишизм, т. е. объективно мнимое отождествление общественно-го отношения (равенство трудозатрат) с натуральными свойствами золота как денежного товара (см.: [Уайт 2002, с. 341]).

языком и потому выражает себя в качестве *требования* (*demande*), обращенного к (кому-то) Другому; но в той мере, в какой язык (означающее) оставляет свои борозды на наших потребностях, эти последние становятся двусмысленными и поэтому требование никогда не может быть полностью (однозначно) удовлетворено; так запускается психоэкономический механизм *желания* (*désir*), направленного на (не)получение того фантазматического объекта, которого нам всегда уже не хватило в ответе Другого на обращенный к нему вопрос, выражающий наше требование. И, конечно, легко увидеть, что анализ товарной формы, произведенный Марксом, выступает своего рода приложением к этой структуре: под видом удовлетворения потребности («потребительная стоимость») мы, выступая в качестве «товаровладельцев», требуем такой «вещи», как стоимость, которая, однако, дана нам всегда только посредством какого-то *другого* товара-эквивалента; но это — всего лишь эффект метонимии (один товар ничем не лучше другого, и стоимость всегда отсылается к чему-то еще), поэтому в итоге мы начинаем желать некоего *идеального* товара, потребительная стоимость которого была бы способна выражать стоимость как таковую, стоимость в ее «сгущенном виде» (денежный товар, золото как метафора богатства). И, подобно тому как денежная форма стоимости заложена уже в ее простой форме, так и метафорическое «сгущение» основано на метонимическом «смещении» (или «скольжении») — то есть на том, что Лакан называет «уходом смысла» (*peu-de-sens*):

Указания, которые я дал вам в прошлый раз относительно метонимической функции, имели в виду в первую очередь то обстоятельство, что при простом развертывании означающей цепочки происходит нивелирование, выравни-

вание, устанавливается эквивалентность. Это устранение, редукция смысла, но не думайте, что это просто бессмыслица. В свое время я позаимствовал на сей счет пример у марксистов: если вы используете два удовлетворяющих потребности объекта таким образом, что один из них станет мерой стоимости другого, то операция эта как раз и устранит в объекте то, что имеет отношение к потребности, переводя его тем самым в иной разряд — разряд стоимости [2002, с. 112].

Начинает свой семинар об образованиях бессознательного Лакан с разбора книги Фрейда, посвященной остроумию. И это опять-таки не случайно, поскольку острова (Witz) как раз и являет собой одно из тех бессознательных образований, где экономико-лингвистический механизм сгущения и смещения задействован в своей полной мере. Показательно при этом, что из огромного числа острот, примеры которых приводит в своей книге Фрейд, Лакан отбирает те, которые своей непосредственной темой имеют денежные отношения.

Так, механизм сгущения (функция метафоры) иллюстрируется остроотой, которую Фрейд заимствует у Гейне, который передает в своих путевых зарисовках рассказ некоего Гирша Гиацинта, гамбургского еврея, работавшего сборщиком лотерейных билетов, о том, как ему довелось выводить мозоли на ногах у самого Натана Ротшильда, — по ходу рассказа Гиацинт Гирш упоминает о знакомстве и с другим Ротшильдом, по имени Соломон, сказав о нем между прочим, что тот обходился с ним «совершенно *фамиллионьярно*».

Что касается механизма смещения (функция метонимии), то здесь источником острооты также оказывается Гейне, которому на каком-то приеме собеседник указал на некоего пожилого субъекта «в ореоле своего финансового могущества», вокруг которого толпи-

лась многочисленная публика, со словами: «Глядите, как XIX столетие поклоняется золотому тельцу» — на что поэт ответил: «Да, но этот, по-моему, уже вышел из телячьего возраста».

Конечно, Лакан упоминает и другие остроты, собранные в книге Фрейда, но и среди них есть те, что связаны с темой денег, как, например, анекдот о должнике, отвечающем своему заимодавцу, с которым случайно столкнулся в ресторане: «Когда у меня нет денег, я не могу кушать семгу под майонезом. Когда у меня есть деньги, я не могу кушать семгу под майонезом. Интересно, когда же я таки смогу покушать семги с майонезом?». Но именно первые два примера играют главную роль в демонстрации экономико-лингвистического механизма остроты.

Однако, помимо Фрейда, Гейне и Маркса, Лакан мимоходом ссылается еще на одного автора — впрочем, без упоминания его имени и не называя прямо его произведение, которое при этом имеет в виду. Так, в качестве классического примера метонимии Лакан приводит случай употребления *тридцати парусов* вместо *тридцати судов*; при этом он тут же показывает, что мы находимся именно на уровне означаемого, и поэтому соотношение с реальностью никогда не может быть лишено характерной двусмысленности, хотя бы потому, что в реальности только редкие суда несут всего лишь один парус: «Эти тридцать парусов, мы не знаем, что с ними делать — либо их тридцать и тогда нет никаких тридцати судов, либо есть тридцать судов и тогда парусов больше тридцати» [Лакан 2002, с. 83]. Таким образом, метонимия провоцирует скольжение смысла, пределом которого является его полный уход, обнуление; чтобы показать, как подобное метонимическое смещение выступает в качестве условия возможности метафорического сгущения, Лакан отсылает своих слушателей к примеру из хотя

и не названного, но при этом обозначенного практически буквально источника:

Паруса эти никогда не повисают бессильно. То, что в значении их и в них самих как знаке оказывается сведено к нулю, немедленно обнаружится, если мы вспомним, скажем, *о деревеньке из тридцати душ* — деревеньке, где души селятся лишь как тени того, что ими представлено, тени, куда более невесомые, нежели слишком навязчивое присутствие их обитателей, которое другое слово могло бы в воображении читателей вызвать. Души эти, как название знаменитого романа свидетельствует, могут оказаться душами мертвыми — куда более мертвыми, нежели человеческие существа, которых нет налицо [2002, с. 86].

2

Отсылка к «Мертвым душам» Гоголя — современника Маркса и Гейне, — является куда более мотивированной, чем может показаться из приведенной цитаты, поскольку трудно найти другой текст, где взаимосвязь языка (риторики) и желания (экономики) была бы выражена в такой полноте. Язык «Мертвых душ» — это *язэк* по преимуществу, взять хотя бы общеизвестное: мертвые души — это и метонимический объект, то есть стоимость товара, отделившаяся от самого товара и пока еще не воплотившаяся в товаре-эквиваленте («нешто хочешь ты их откапывать из земли?», — недоумевая, спрашивает Чичикова Коробочка [Гоголь 2012а, с. 49]), и метафорическое обозначение тех, кто торгует душами живыми*. Поэтому, если Лакан утвер-

* Ср.: «Первоначально значение этого слова [«мертвые души» — А. П.] означает умерших крепостных, которые не исключены

ждает, что от наречия «фамиллионьярно» мы должны перейти к существительному «фамиллионер», которое будет означать некое «ожившее в призраке существо», «вполне готовое облечься для нас реальностью и значением куда более существенными, нежели у миллионера реального» [Лакан 2002, с. 57], то разве не очевидно, что Чичиков и есть такой фамиллионер, превышающий своим значением любого реального миллионера? Докажем это, взяв за основу то место из гоголевской поэмы (а не романа, как ошибочно называл ее Лакан), где автор описывает реакцию, которую вызвало в обществе известие о будто бы «миллионстве» Чичикова:

До сих пор все дамы как-то мало говорили о Чичикове, отдавая, впрочем, ему полную справедливость в приятности светского обращения; но с тех пор как пронеслись слухи об его миллионстве, отыскались и другие качества. Впрочем, дамы были вовсе не интересанки; виною всему слово «миллионщик», — не сам миллионщик, а именно одно слово; ибо в одном звуке этого слова, мимо всякого денежного мешка, заключается что-то такое, которое действует и на людей подлецов, и на людей ни се ни то, и на людей

еще из ревизских списков и потому могут подлежать купле-продаже, как и живые крестьяне. Это умершие, но числящиеся еще живыми крепостные. В этом смысле и употребляются эти слова на всем протяжении поэмы, сюжет которой построен на скупке мертвых душ. Но, проходя красной нитью через всю ткань поэмы, эти два слова вбирают в себя совершенно новый, неизмеримо более богатый смысл, впитывают в себя, как губка морскую влагу, глубочайшие смысловые обобщения отдельных глав поэмы, образов и оказываются вполне насыщенными смыслом только к самому концу поэмы. Но теперь эти слова означают уже нечто совершенно иное по сравнению с их первоначальным значением» [Выготский 1996, с. 350–351].

хороших, — словом, на всех действует. Миллионщик имеет ту выгоду, что может видеть подлость, совершенно бескорыстную, чистую подлость, не основанную ни на каких расчетах: многие очень хорошо знают, что ничего не получат от него и не имеют никакого права получить, но непременно хоть забегут ему вперед, хоть засмеются, хоть снимут шляпу, хоть попросятся насильно на тот обед, куда узнают, что приглашен миллионщик [Гоголь 2012а, с. 149–150].

Буквально первое, что бросается в этом пассаже в глаза, — это троекратный акцент на том, что виной интереса к фигуре Чичикова, который вдруг непомерно возрос в умах и сердцах дам города N. (которые, впрочем, «были вовсе не интересанки»), является именно *слово* «миллионщик», взятое помимо *самого* миллионщика («денежного мешка»)*. При этом само это слово возникает путем своего отделения от потока слухов, которые расползаются, похоже, во всех возможных направлениях, по принципу «слово за слово» — глава начинается с короткой констатации: «Покупки Чичикова сделались предметом разговоров» [Гоголь 2012а, с. 145], и сразу же вслед за этим читатель начинает тонуть в обилии значимых, малозначимых и совсем незначимых замечаний, принадлежащих как персонажам, так и автору; так, вначале идут

* Вообще-то, в предложении, где указывается, что виной всему было именно слово, само слово «слово» употребляется даже не три, а четыре раза — в четвертый раз в качестве вводного слова. В сериале «Мертвые души» (1984) Михаила Швейцера Гоголь в гениальном исполнении Александра Трофимова поэтому несколько раз повторяет слово «миллион», как бы демонстрируя, как в результате его многократного озвучивания выделяется некий экстракт наслаждения; при этом в какой-то момент оно переходит в раскатистое «миллионер-р-р!», и только затем — в «миллионщик!».

вполне мотивированные рассуждения чиновников города N. о возможных хлопотах, связанных с покупкой душ на вывод, и возможных способах их преодоления (мужики, возможно, буйные, на новых землях ничего не обстроено, ударятся в пьянство и бродяжничество, нужны надежный управляющий и конвой для переселения — хотя, может, мужики и не буйные, или даже «теперь негодяи, а переселившись на новую землю, вдруг могут сделаться отличными подданными» [Гоголь 2012а, с. 145] и т. д., и т. п.) — слух о том, что Чичиков «ни более ни менее как миллионщик» возникает как эффект, произведенный именно этими толками и рассуждениями; однако далее уже сам автор как бы перенимает эстафету у своих персонажей и излагает нам множество сведений о нравах жителей города, никак не связанных с предприятием Чичикова — о «семейственной» манере их общения друг с другом («К почтмейстеру, которого звали Иван Андреевич, всегда прибавляли: шпрехен зи дейч, Иван Андрейч?» и т. п.); о том, что «многие были не без образования» («Кто читал Карамзина, кто „Московские Ведомости“, кто даже и совсем ничего не читал»); о характерах («кто был то, что называют тюрюк, то есть человек, которого нужно было подымать пинком на что-нибудь; кто был просто байбак, лежавший, как говорится, весь век на боку, которого даже напрасно было подымать: не встанет ни в коем случае»); о прозвищах, которые дают мужьям жены («кубышка, толстунчик, пузантик, чернушка, кики, жужу и проч.»); наконец, о самих женах, т. е. тех самых «дамах города N.», о которых автору говорить очень трудно, но, даже «ограничившись поверхностью», он умудряется нагородить о них бог весть чего — тут и мода, и визиты, и ссоры «за манкировку визита», и «какое-нибудь то, что называют *другое-третье*» (о котором муж если и узнавал, то «отвечал коротко и бла-

горазумно пословицею: кому какое дело, что кума с кумом сидела»), и «необыкновенная осторожность и приличие в словах и выражениях» (вместо «этот стакан или эта тарелка воняет» говорили «этот стакан нехорошо ведет себя») — очевидно, что это движение по дамской поверхности можно было бы продолжать до бесконечности, однако в какой-то момент слово «миллионщик» подскакивает над этой поверхностью и служит своего рода точкой пристежки дискурса о жителях города N. к тому желанию, которое в каждом из них таким образом дает знать о себе (хотя было официально заявлено о их совершенной «незаинтересованности»^{*}). Поразительно, насколько это походит на конституирование денежной формы стоимости, как оно позднее будет описано Марксом в первой главе «Капитала»:

...Какой-либо товар находится во всеобщей эквивалентной форме <...> лишь тогда и постольку, когда и поскольку он, как эквивалент, выталкивается всеми другими товарами из их среды. И лишь с того момента, когда такое выделение оказывается окончательным уделом одного специфического товарного вида, — лишь с этого момента единая относительная форма стоимости товарного мира приобретает объективную прочность и всеобщую общественную значимость [1988, с. 79].

Общество «выталкивает» из себя миллионщика; или, точнее, множество слов выталкивает из себя слово «миллионщик» с тем, чтобы в нем, как в вогнутом зеркале, в сгущенном виде узнать нечто о едином объек-

* «Подлость совершенно бескорыстная», «чистая подлость», никак не связанная с интересом, претендует оказываться таким образом чисто эстетическим феноменом, относящимся к области прекрасного, как она определяется Кантом.

тивном характере своих многообразных забот и чаяний. Вот почему важно отметить, что, появившись в поле нашего слуха, слово «миллионщик» не останавливает процесс умножения количества избыточных сведений, но, напротив, многократно усиливает его — мы узнаем о том, что все меньше и меньше имеет отношения к конкретной покупке Чичикова, но при этом сохраняет свое отношение к абстракции «миллионщика» (подобно тому как денежная форма стоимости у Маркса возникает в результате движения от ее простой, или единичной формы к форме полной, или развернутой — когда «стоимость данного товара, например холста, выражается теперь в бесчисленных других элементах товарного мира» [Маркс 1988, с. 72]).

Разумеется, в отличие от гейне-фрейд-лакановского (а на самом деле, если следовать закону об охране авторских прав, гиацинт-гиршевского) «фамиллионера» гоголевский «миллионщик» — не острота, хотя в силу своей способности доставлять субъекту удовольствие уже только на уровне означающего это слово сходно с остротой по своей функции. Кажется, что если в случае с «миллионщиком» чего-то не хватает, так это указания на тот запрет, который с помощью остроты удается обойти. Но ведь о миллионщике мы узнаем из речи автора, а не его персонажей — поэтому данное сообщение нужно воспринимать как разъясняющий комментарий к характеру событий и обстоятельств, а не просто их передачу. Зато именно с остротой мы встречаемся в другой сцене «Мертвых душ», где она возникает в речи персонажей, причем возникает на месте имени собственного, которое оказалось несостоятельным, то есть не способным вызвать эффект однозначного узнавания того, кто им назван — так, Чичиков пытается выспросить у мужика (к которому, кстати, обращается посредством синекдохи: «Эй, борода!»), как проехать

к Плюшкину, но это удастся ему не раньше, чем выясняется, что тот знает Плюшкина только по прозвищу «заплатанной»; комментарий самого Гоголя лишь добавляется к собственной речи персонажей поэмы:

Было им прибавлено и существительное к слову заплатанной, очень удачное, но не употребительное в светском разговоре, а потому мы его пропустим. Впрочем, можно догадываться, что оно выражено было очень метко, потому что Чичиков, хотя мужик давно уже пропал из виду и много уехали вперед, однако ж все еще усмехался, сидя в бричке [Гоголь 2012а, с. 103].

Итак, на свой вопрос (требование, *demande*), обращенный к Другому и очевидным образом связанный с потребностью найти дорогу к Плюшкину, задавший его получает то, что каким-то образом соответствует предмету его бессознательного желания. Навряд ли мы ошибемся, если свяжем данное Плюшкину прозвище не только с его нынешней скупостью, но и с причиной этой скупости, которой послужила, как мы узнаем из рассказа о его прошлом, смерть любимой жены. Как подмечает Младен Долар в своей книге, посвященной исследованию скупости, Плюшкин наряду с классическими чертами, унаследованными от традиции изображения скупого (неопределенность пола, беззубый рот, недоверчивость к слугам и окружающим и т. п.), обнаруживает в себе нечто, что выделяет его на фоне подобных ему персонажей:

Но из всех стандартных черт выделяются необычные: в изначальной дилемме, является ли скупость чем-то унаследованным в семье, так сказать, чем-то генетическим, или же речь идет о внезапном обращении, которое происходит тогда, когда кто-то неожиданно получает богатство, Плюшкин, по сути, необычная фигура — скупец от отчаяния.

Когда-то у него были жена и трое прекрасных детей, семья была любящей и гостеприимной, у них был учитель-француз, хозяйство велось разумно и успешно, это был мир достоинства и радости. Несчастье нагрянуло неожиданно: жена скоропостижно скончалась, старшая дочь втайне и по глупости обвенчалась с офицером, сын против отцовской воли поступил в полк, младшая дочь умерла, все медленно и неуклонно шло к гибели. Скупость Плюшкина выступила в пандан к распаду, откликом на это сползание в пропасть, которое, с одной стороны, похоже на набор случайных ударов, но с другой — имеет некую метафорическую значимость [Долар 2021, с. 405].

«Заплатанной (х...)», обнаруженный Чичиковым в поле речи Другого, как раз и означает распад хозяйства как в буквальном, так и метафорическом (эффемистическом) смысле слова — отсюда, конечно, и та тема грядущей и беспощадной старости, чреватой полной импотенцией, которая будет озвучена Гоголем в знаменитых строках: «Забирайте же с собою в путь, выходя из мягких юношеских лет в суровое ожесточающее мужество, забирайте с собою все человеческие движения, не оставляйте их на дороге, *не подымите потом* (выделено мной. — А. П.)» [Гоголь 2012а, с. 121]. Когда Чичиков увидит самого Плюшкина, он ужаснется — но пока, на пути в его имение, сидя в бричке, он лишь с удовольствием повторяет услышанное от мужика меткое прозвище, которое позволяет ему как бы задержаться на подступах к реальному, не увидеть в чертах Плюшкина *фамильное сходство* с самим собою, полагая, что все это, конечно, сказано метко, но — не о нем, Чичикове, а о другом*. «Заплатанной»,

* Ср.: «Есть вещи, которые услышаны быть не могут или которые обычно больше нигде не услышишь, — их-то острота

таким образом, символизирует возможность обогащения и создания семьи, хотя сам носитель прозвища воплощает распад хозяйства и потерю близких, то есть утрату всего человеческого:

Грозна, страшна грядущая впереди старость, и ничего не отдает назад и обратно! Могила милосерднее ее, на могиле напишется: здесь погребен человек! Но ничего не прочитаешь в хладных, бесчувственных чертах бесчеловечной старости [Гоголь 2012а, с. 121].

3

Итак, оказывается, что тема миллионерства (у Плюшкина много мертвых, да еще беглые, которые он отдает практически за бесценок и очень легко, в отличие от Манилова, Ноздрева, Коробочки и Сабакевича, каждый из которых на тот или иной манер затягивал сделку), тема семьи (только Плюшкин снабжен историей, и это история распада его семьи!) и тема подлости («И до такой ничтожности, мелочности, гадости мог снизойти человек!» [Гоголь 2012а, с. 121]) спрессованы в образе этого персонажа так, что одно едва ли отделимо от другого. Но ведь именно такого рода соединение метонимических черт Лакан обнаруживает на изнанке «фамиллионьярности» как «метафорического творения» (лицевой смысл которого

как раз и пытается каким-то образом, в качестве отголоска, до слуха нашего донести. И вот чтобы донести этот отголосок до нашего слуха, она как раз и прибегает к препятствию, используя его в качестве своего рода вогнутого резонатора» [Лакан 2002, с. 138–139]. Облик Плюшкина, сконденсированный в метком прозвище, и есть такой «вогнутый резонатор», который позволяет насладиться *неузнаванием себя* в этом зеркале.

вполне очевиден: фамиллионьярно = фамильярно + миллионер):

Я уже упоминал здесь о *fames* [голод, жажда]. Но есть здесь, возможно, и *fama* [слава], та потребность в слове и популярности, которая господину Гиршу Гиацинту не дает покоя. Присутствует здесь, возможно, и внутренне этой услужливой фамильярности присущая *infamie*, подлость — недаром заканчивается сцена в банях Лукки тем, что Гирш Гиацинт снабжает своего господина одним из тех слабительных, секрет которых ему одному известен, в результате чего беднягу схватывают ужасные колики, причем происходит это в тот самый момент, когда герой получает наконец от своей возлюбленной записку, которая при других обстоятельствах позволила бы ему исполнить наконец заветные свои желания. Буффонада эта открывает нам глаза на ту низость, *infamie*, которой оборачивается здесь фамильярность [Лакан 2002, с. 49].

Примечательно, что Джамбаттиста Вико в своих «Основаниях новой науки об общей природе наций» — в главе «О Поэтической Экономике», — оригинально связывал понятия семьи и славы на смысловом уровне: с его точки зрения, общество в собственном смысле — то есть общество, основанное на принципах обмена и пользы, — восходит к семьям (*Familiae*) тех «беглецов» (*Famuli*), которые получили свое наименование от Славы (*Fama*) Героев, принявших их под свое покровительство [Вико 1994, с. 226]. Если следовать логике этой гипотезы, то «бесслаvnость» (подлость, низость — изначально в смысле происхождения, и лишь затем, в результате переноса, в смысле моральном) и «бессемейственность» оказываются равнозначны, при этом то и другое будут означать отсутствие покровительства и своего места в обществе. В этом

смысле прозвище «миллионщик» в отношении Чичикова (в самой фамилии которого при желании можно расслышать эхо того суффикса, которым заканчивается «миллионщик» — -щик, -чик, чик-чик, Чичиков) оказывается действительно очень метким как раз в том смысле, что его стремление к обогащению тесно сплетено с его, так сказать, фамильными проблемами. Если угодно, то Чичиков — это не кто иной, как *инфамиллионер*, на что указывают уже те слова, которыми Гоголь начинает рассказ о его прошлом:

Нет, пора наконец припрячь и подлеца. Итак, припряжем подлеца.

Темно и скромно происхождение нашего героя. Родители были дворяне, но столбовые или личные, Бог ведаст; лицом он на них не походил... [2012a, с. 211]*.

На фоне этого своего бесславного, «подлого» происхождения становится понятной та мечта о женитьбе, которая у Чичикова была соединена с его страстью к накоплению капитала (так, например, встретив в пути коляску со «славной бабенкой», Чичиков тут же начинает задаваться вопросами о ее происхождении и о том, не дадут ли за ней «тысячонок двести приданного», что могло бы «составить, так сказать, счастье порядочного человека» [2012a, с. 89]; на предложение чиновников города N. женить его Чичиков отвечает: «Что ж? зачем упираться руками и ногами, женитьба еще не такая вещь, чтобы того, была бы невеста» [2012a, с. 143]), а также отмеченная автором озабоченность Чичикова своим потомством (например, в момент разоблачения одной своей аферы он сокру-

* Любопытно, что цензура не пропустила обозначение Чичикова как именно «подлеца», и Гоголь заменил его на «плутоватого» [Гоголь 2012b, с. 487–488].

шается: «Как не чувствовать мне угрызенья совести, зная, что даром бремени землю, и что скажут потом мои дети? „Вот, — скажут, — отец, скотина, не оставил нам никакого состояния!“» [2012а, с. 224]). И в то же время мотив капиталистического накопления толкает Чичикова по ту сторону семейственности, которая обнаруживает себя лишь в качестве средства для достижения подлинной цели — достаточно вспомнить о той подлости, на которую он пошел ради продвижения по службе: узнав, что у начальника была зрелая дочь с лицом, как и у отца, «похожим на то, как будто бы на нем происходила по ночам молотьба гороху» [2012а, с. 216], стал он обращаться с ней как с невестой, однако, получив должность, дело о свадьбе замаял. И наконец: то, что более всего свидетельствует о «инфамиллионерстве» Чичикова, так это его помещение между Наполеоном и капитаном Копейкиным, осуществленное чиновниками города N. в процессе поиска ответа на вопрос, кто таков на самом деле этот «херсонский помещик» — между Наполеоном, слава которого живет и поныне, и Копейкиным, историю которого, показательно лишённую какой-либо славы, мы узнаем лишь благодаря рассказу почтмейстера*; Наполеоном,

* Поэтому есть все основания включить Копейкина в разряд тех «бесславных людей», о которых писал М. Фуко: «Ведь то, что их вырывает из тьмы, где они могли, а возможно, и должны были остаться навеки, есть нечаянная встреча с властью, ибо без стычки этой, несомненно, не осталось бы ни единого слова, чтобы напомнить про их мимолетный след. Ведь именно власть, что подстерегала эти жизни и преследовала их, что, пусть лишь на миг, обратила внимание на их жалобы и на их мелочную возню и заклеила их обидными выражениями, и породила несколько слов, что нам от них достались: то ли к ней хотели обратиться ради доноса, иска, ходатайства или прошения, то ли она сооблаговолила вмешаться и в нескольких словах рассудила и порешила» [Фуко 2002, с. 255].

имя которого едва ли случайно рифмуется со словом «миллион», и Копейкиным, фамилия которого в сочетании с указанием на капитанский чин недвусмысленно перекликается с замечанием о том, что в столице, где даже под ногами — капиталы, иметь «ассигнационный банк, состоящий из каких-нибудь десяти синюх» все равно что не иметь капитала вообще, иметь копеечный капитал [Гоголь 2012а, с. 189] (отцовский завет «копить копейку», полученный в детстве Павлушей Чичиковым, еще одно подтверждение того, что герой «Мертвых душ» вышел «ни в мать, ни в отца, а в прохожего молодца»: как выяснилось по его смерти, «отец, как видно, был сведущ только в совете копить копейку, а сам накопил ее не много» [2012а, с. 214]). Таким образом, высказывая два этих равно абсурдных предположения («Чичиков — не кто иной, как капитан Копейкин», «Чичиков — сбежавший с острова Наполеон»), чиновники города N., сами того не ведая, выявили то бессознательное Чичикова, где имперско-семейственный план, представленный Наполеоном*, оказался изначально сопряжен с планом сиротским, символически представленным «вынужденной

* На сущностную связь имперского и семейного начал в миссии Наполеона обратил внимание Гете (в стихотворении, посвященном Марии Луизе): «В основе империи лежит семейное счастье. Оно важнее, чем все фантастические военные успехи. Сын Наполеона и Марии Луизы станет Римским королем, и тем самым Рим, город первой мирной империи в мировой истории, станет стражем нового мира, воцарившегося в Европе. Подобно Августу, отец и сын после эпохи войн закроют храм бога Януса, и это знак того, что навсегда в Европе будет покончено с войнами. Мария Луиза представлена в стихотворении как богиня-мать мира, и она делает императора французов гарантом мира в Европе, куда возвратилось время Августа. Три раза в стихотворении упоминается новорожденный Римский король, и здесь приходит на память приносящий спасение божественный ребенок из четвертой эклоги Вергилия, рождение которого прекра-

бессемейственностью» капитана Копейкина (это бессознательное можно было бы записать как последовательность имен: Наполеон — Миллион(щик) — Чичиков — Капитан (Капитал) Копейкин (Копи-Копейкин); или — распределив его по регистрам: будучи Наполеоном (Миллионщиком) в речи Другого, то есть символически, — и просто состоятельным семейным человеком в плане воображаемом*, — в реальном Чичиков совпадает с Копейкиным, история которого поэтому «выпадает» из поэмы, формируя «вставную повесть»).

Итак, лишенный и семьи, и миллионов, которых он тщетно добивался всю свою жизнь, Чичиков вдруг на короткое время оказывается-таки миллионщиком исключительно благодаря слухам, распространившимся вследствие его покупок — его желание реализуется в *речи Другого*, поле которого в поэме представлено жителями города N. Миллионщиком не удалось стать реально, но им получилось прослыть символически; и, конечно же, «совершенно бескорыстная подлость», на которую указывает Гоголь, и есть та са-

щает железный век войн и приносит с собой век мира и процветания» [Аствацатуров 2017, с. 75].

* Гоголь многократно подчеркивает, насколько важен для Чичикова его образ, сколь много времени он готов проводить перед зеркалом. На основании этого Л. В. Карасев высказал убедительное предположение, что основой идентичности Чичикова выступает обезьяна: «Чичиков-обезьяна вертится перед зеркалом, перенимает чужие манеры, учится быть другим, учится быть похожим на культурного человека. Обезьяна — эмблема ловкости, гибкости, гений подражания» [Карасев 2012, с. 150]. Фамилия Чичиков — содержит звуки «обезьяньего голоса и имен, которыми их нередко называют: «Чита» или «Чичи» (ср. с итальянским обозначением обезьяны — scimmia). Иначе говоря, у Чичикова обезьянья фамилия, как будто специально созданная для осмеяния и передразнивания» [Там же, с. 152]. Однако, как мы пытаемся показать, это — лишь один из моментов онтологической структуры данного персонажа.

мая «фамил(лион)ьярность», которая проскользнула в речи Гиацинта Гирша (можно даже сказать, что подобно тому, как во втором примере из Гейне речь идет о том, кто «слишком стар для тельца», то у Гоголя речь о слишком подлой, бесславной фамильярности).

Прежде всего, мы видим, что аура, связанная с одним только словом «миллионщик», такова, что в качестве эффекта ее воздействия подлость из частной характеристики особого типа людей становится неким универсальным измерением человеческого рода, род совпадает без остатка с собственным видом (в слове этом «заключается что-то такое, которое действует и на людей подлецов, и на людей ни се ни то, и на людей хороших, — словом, на всех действует»). Но так ли уж бескорыстна и чиста эта подлость перед миллионщиком, как о ней пишет Гоголь? Это вызывает сомнение, и вот почему: пусть мы «хорошо знаем, что ничего не получим от него и не имеем никакого права получить», но цель здесь все-таки присутствует — она заключается в том, чтобы придать видимость человеческого измерения отношению, которое по своему характеру является отчужденным и отчуждающим от какой-либо гуманности. Это — та подлость, с которой мы забегаем вперед перед самими собой в той мере, в какой полагаем, что приглашены на обед к миллионщику тогда, когда на самом деле подчинились приказу его миллионов наслаждаться исключительно фактом нашей причастности его миллионному делу. И эта причастность, действительно, может и не представлять интереса в смысле какой-то реальной, ощутимой прибыли (оттого дамы города N. — не «интересанки»); но, как замечают Жиль Делез и Феликс Гваттари, «если на уровне своих предсознательных интересов капиталисты стремятся исключительно к извлечению прибыли, то все-таки на более фундаментальном уровне капитализм определяется

не этим стремлением, а тем либидинально-бессознательным инвестированием *желания*, которое как раз и «позволяет объяснить, почему мелкий капиталист, не имеющий ни слишком больших прибылей, ни особых перспектив, полностью поддерживает систему своих инвестирований — либидо для большого потока, который как таковой не поддается конвертации и присвоению, «не-обладание и не-богатство» <...>. Короче говоря, действует бессознательное либидо, незаинтересованная любовь: эта машина — она паразитерна!» [Делез, Гваттари, 2007, с. 588–589].

Андрей Белый гениально определил существо фигуры Чичикова как «фигуру фикции» [Белый 2013, с. 87–95]: приятная наружность этого господина на самом деле являет собой «ни то ни се»; но в случае, если наша интерпретация верна, это повторенное дважды отрицание имеет своим предметом два полюса той бесчеловечной машины, куда всегда уже инвестировано наше бессознательное желание, желание «мелких капиталистов» — наполеоновский полюс бесконечной работы («проект Империи», великая цель, «постоянный капитал») и копейкинский полюс частичного работника («пушечное мясо», сменная деталь, «переменный капитал»). Поэтому мы готовы даже к реальным убыткам, если только на символическом уровне будем «приглашены на обед», приняты в «семью миллионщика» («Добро пожаловать в семью!» — говорит наемному работнику корпорация посредством своего менеджера). Наша подлость оказывается, таким образом, корысти отнюдь не лишена — оставаясь людьми, сохраняя человеческие «облик и подобие», мы инвестируем свое желание в капитализм как сферу поистине нечеловеческого («эта машина — она паразитерна!»); человеческое же таким образом приобретает характер некоего фетиша, который «облачает» наше желание в форму не вполне узнаваемую и оттого — при-

емлемую, «приличную». В слове «миллионщик» слух ласкает именно это «...-щик», которое гуманизирует миллион, в хладных, бесчувственных чертах которого мы точно ничего не прочитаем*.

4

Концепция товарного фетишизма, впервые сформулированная Марксом, в дальнейшем неоднократно корректировалась в связи с теми изменениями, которые происходили в структуре и специфике экономических отношений. Наиболее радикальное перепрочтение предложил Жан Бодрийяр, который полагал, что, разоблачив фетишизм лишь на одном уровне структуры товарного мира, Маркс не заметил того, что фетишистским характером данная структура обладает в своей целостности — ведь нет никакой истинной, «незакодированной», естественной потребительской стоимости, которую якобы следует видеть по ту сторону того экрана, который образуется в результате овеществления стоимости меновой; не заметив этого, Маркс пал жертвой фетишизации сам [Бодрийяр 2003, с. 84–100]. Иначе говоря, то, что нам кажется пребывающим «в плену» капиталистического способа производства — а именно, «тело» продукта, которое будто бы могло стать адекватным выражением «неотчужденного духа» сознательной и свободной творческой активности людей, но оказывается его кривым

* В гоголевском описании «хладных, бесчувственных черт бесчеловечной старости», в которых ничто невозможно прочесть, следует видеть предвосхищение «спекулятивно-реалистического» представления о космической (доисторической, архиископаемой) природе капитализма, знакомого нам по вдохновенным пророчествам Ника Ланда и Резы Негарестани.

зеркалом в той мере, в какой оно захвачено «призраком» стоимости, — на самом деле само есть не более чем структурный эффект. Апогея такое прочтение Маркса достигает в работах Ника Ланда, полагающего, что сам человек («людишки») есть не более чем преходящая форма видимости, которую лишь на какое-то время принимают процессы «космического капитализма», реальным субъектом которых оказывается кто угодно, но только не человек или человечество (не капитализм исторически преходящ, но — его человеческий носитель): «Продолжающееся существование человека в смысле ζῶον πολιτικόν свидетельствует об отсрочке капитализма как той вещи, которая окажется терминальной» [Ланд 2021, с. 115]. Таким образом, если толкователь Маркса русской публике XIX века писал, что «странная и жуткая» форма товаров и денег служит неизбежной, но исторически преходящей оболочкой для *человеческого* общественно разделяемого труда [Уайт 2022, с. 166], то Ланд утверждает, что сам человек служит пусть привычной и знакомой, но в перспективе малоэффективной оболочкой работы таких *нечеловеческих агентов*, какими уже сегодня выступают венчурные предприятия, построенные на принципе трансцендентального риска и признающие в качестве субъекта только результат статистической выборки:

«Мы — не создания капитализма, кричат атакуемые со всех сторон последние люди. Для искусственного интеллекта, реальное общественное отношение которого улавливается и отмечается как капиталовложение в оборудование, самовоспринимаемые истоки и идентичности являются совершенно иными. „Вы позвонили в ‘Аксис-инкорпорейтед’, где будущее происходит сегодня. Чем я могу вам помочь?“» [Ланд 2021, с. 11].

Иными словами, онтологически капитализм есть некая многоуровневая игра, в которую космос играет сам с собой, и тварь по «имени» человек занима-

ет лишь один, очевидно промежуточный (человек существует *in via*, как говорили средневековые теологи), уровень — а следовательно, должен существовать капитализм дочеловеческий (не его ли описывает теория естественного отбора?) и, пусть и в режиме некоторой неопределенной отсрочки, капитализм постчеловеческий. В той мере, в какой давление *их* будущего на *наше* настоящее становится все более ощутимым, растет спрос на «человечность» как материю для упаковки все возрастающего числа продуктов, произведенных не здесь и не сейчас, но здесь и сейчас предлагаемых к потреблению: затягиваясь в черную дыру миллиона, мы хватаемся за «миллионщика» как за тот спасительный предмет, который позволит нам на какое-то время удержаться на границе Мальстрема.

В «Возвышенном объекте идеологии», в главе, посвященной товарному фетишизму как важнейшему «изобретению» Маркса, Славой Жижек пишет, что необходимо различать два вида фетишизма, которые друг с другом соотносены, но при этом не могут быть совмещены: товарный фетишизм, который господствует в обществах с капиталистическим способом производства, предполагает де-фетишизированное отношение людей друг к другу; и наоборот, в обществах докапиталистических товарный фетишизм не развиг именно потому, что фетишизированы непосредственно отношения между людьми (общество здесь не является обществом независимых товаропроизводителей, а предполагает личные отношения господства и подчинения). Вот почему так важно понимать то, что происходит на уровне *перехода* к капитализму: подавление отношений личной зависимости между людьми, необходимое для создания общества «свободных товаровладельцев», сопровождается их возвращением, но в превращенной форме «общественных отношений между вещами» [Жижек 1999, с. 31–34].

Но тогда, если сегодня мы обнаруживаем себя в зоне перехода от «человеческой» стадии капитализма к его «постчеловеческой» стадии, мы должны быть готовы к тому, чтобы встретиться с самими собой на уровне уже не субъектов процесса (поскольку процесс все больше нуждается в свободе от *подобных нам* субъектов), но на уровне утилизации остатков предшествующей стадии развития с целью создания эффекта *неузнавания* людьми природы тех отношений, в которые они теперь оказались вовлечены. «Нас учат, что у корпораций есть душа, и это является самой страшной мировой новостью», — сказал когда-то Делез [2004, с. 231]; однако эта нечеловеческая душа все еще стремится принять человеческое обличье, причем посредством двойной артикуляции: субъективируя нас, во-первых, на уровне экономического интереса (стремление извлечь прибыль как приращение своей покупательной способности, или так называемая экономическая рациональность), а во-вторых, на уровне морального убеждения (преданность делу и лично его организатору и/или собственнику, «нравственный образ мышления»). Второй аспект как раз и формирует ту «совершенно бескорыстную подлость», которая «чиста и лишена всякого расчета» и, в пределе, наделяет фигуру миллионщика возвышенной аурой и мессианскими чертами — причем особенно эффективно это достигается тогда, когда Большой Дядя умеет предстать перед своими подчиненными «хорошим малым»* (кому сегодня не знакомы сновидения и меч-

* С. Жижек поэтому подвергает справедливой критике то восхищение, с которым подчиненные принимают «неформальный характер общения», с некоторых пор практикуемый руководителями вплоть до самого высшего уровня, и призывает вместо этого требовать от них как раз жесткого соблюдения всех формализмов.

ты о какой-то особой услуге, которую ждет от нас наш Руководитель, как если бы без нее он хромал или испытывал какой-то другой недуг; а также желание, направленное на то, чтоб у него, бедненького, наконец «что-нибудь получилось», пусть даже за наш счет; а также желание сделать ему какой-нибудь особый подарок — так, что даже мужчины грезят о том, чтобы подарить шефу «ребеночка», пусть и в фигуральном смысле слова? Из страха потери любви начальника подчиненные оказываются способны на столь многое, что граница между вынужденным корпоративным подданством и добровольной личной зависимостью, то есть более или менее откровенным холопством, становится все более неопределенной*).

Этому субъективному стремлению воспринимать нечеловеческие отношения в форме человеческих, базирующемся на объективном самообмане (поскольку, как уже говорилось, наше желание инвестирует именно нечеловеческие отношения), следует противопоставить подлинно этическое требование *не* видеть человека там, где «человек» является условием возможности нечеловеческой эксплуатации (и самоэксплуатации) людей. В предельно жесткой форме эта позиция была представлена в фильме Луиджи Коменчини «Игра в карты по-научному» (*Lo scorpone scientifico* 1972). Старуха-миллионерша забавляется тем, что разъезжает по миру, в любой точке которого у нее есть «добрые друзья» из бедняков, которых она приглашает время от времени сыграть с собой в карты. Ради азарта она одалживает «друзьям» (все они запечатлены в ее «семейном альбоме», который она с наслаждением демонстрирует) довольно крупную

* Эти черты куда в большей степени, чем факты новых «огораживаний», позволяют обозначить текущую стадию капитализма как «неофеодальную».

сумму, чтобы они могли сделать ставку. Конечно, бедняки строят планы однажды обыграть старуху и тем самым выбраться наконец из нищеты; но этой мечте не суждено сбыться, поскольку, как только удача отворачивается от миллионерши, она начинает вызывать к чувству человечности и требовать во что бы то ни стало продолжить игру — до тех пор, разумеется, пока деньги не вернутся к ней. Так могло бы продолжаться до бесконечности, пока дочка многодетной нищей пары из Рима (в исполнении Сильваны Мангано и Альберто Сорди), пользуясь тем, что она тоже член той интернациональной семьи, которую завела себе одинокая миллионерша, дарит ей на прощание пакетик печенья, испеченного специально для долгожданной гостьи. Только что обыгравшая очередной раз ее родителей старуха, вдоволь насладившись теплом «дружеского общения», принимает этот дар со слезами на глазах как некое прибавочное удовольствие, как знак истинно человеческого к себе отношения — не подозревая, что в печенье вложена смертельная доза яда.

Литература

- Аствацатуров А. (2017). Гёте, Гёльдерлин и миф Наполеона // *Фридрих Гёльдерлин и идея Европы: Коллективная монография по материалам IV Международной конференции по компаративным исследованиям национальных языков и культур* / под ред. С. Л. Фокина. Санкт-Петербург: Платоновское философское общество. С. 66–78.
- Белый А. (2013). *Собрание сочинений. Мастерство Гоголя. Исследования*. Москва: Республика.
- Бодрийяр Ж. (2003). *К критике политической экономики знака*. Москва: Библион — Русская книга.
- Вико Д. (1994). *Основания Новой науки об общей природе наций*. Москва—Киев: REFL-book—ИСА.
- Выготский Л. С. (1996). *Мышление и речь*. Москва: Лабиринт.

- Гоголь Н. В. (2012a). Полное собрание сочинений и писем: в 23 т. Т. 7. Кн. 1. Москва: Наука.
- Гоголь Н. В. (2012b). *Полное собрание сочинений и писем*: в 23 т. Т. 7. Кн. 2. Москва: Наука.
- Делез Ж. (2004). *Переговоры*. 1972–1990. Санкт-Петербург: Наука.
- Делез Ж., Гваттари Ф. (2007). *Анти-Эдип: Капитализм и шизофрения*. Екатеринбург: У-Фактория.
- Долар М. (2021). *О скрутости и связанных с ней вещах: тема и вариации*. Санкт-Петербург: Издательство Ивана Лимбаха.
- Жижек С. (1999). *Возвышенный объект идеологии*. Москва: Художественный журнал.
- Карасев Л. В. (2012). *Гоголь в тексте*. Москва: Знак.
- Лакан Ж. (2002). *Образования бессознательного* (Семинары: Книга V (1957/1958)). Москва: Гнозис; Логос.
- Ланд Н. (2021). *Сочинения*: в 6 т. Т. 3: Нестандартные исчисления. Пермь: Гиле Пресс.
- Макклоски Д. (2015). *Риторика экономической науки*. Москва: Издательство Института Гайдара; Международные отношения; Санкт-Петербург: Факультет свободных искусств и наук СПбГУ.
- Уайт Дж. (2022). Николай Зибер — первый русский марксист // *Политическая экономия Николая Зибера: Антология* / под ред. Ф. Алиссона, Д. Раскова, Л. Широкограда. Москва: Издательство Института Гайдара; Санкт-Петербург: Факультет свободных искусств и наук СПбГУ. С. 150–179.
- Уайт Х. (2002). *Метаистория: Историческое воображение в Европе XIX века*. Екатеринбург: Изд-во Уральского ун-та.
- Фуко М. (2002). Жизнь бесславных людей // Фуко М. *Интеллектуалы и власть: Избранные политические статьи, выступления и интервью*. Ч. 1. Москва: Праксис. С. 143–160.

FAMILLIONAIRE, OR ON “MEANNESS,
PERFECTLY DISINTERESTED”

ALEKSANDR POGREBNYAK (e-mail: aapogrebnyak@gmail.com). St. Petersburg National Research University of Information Technologies, Mechanics and Optics (ITMO University); National Research University “Higher School of Economics” (HSE) (St. Petersburg, Russia).

The article offers an interpretation of the concept of “pure meanness”, which Gogol uses in Chapter VIII “Dead Souls”. At the be-

ginning of this chapter, the reaction of the “ladies of the town of N” to the rumors that Chichikov turned out to be a “millionaire” (*“millionshchik”*) is described. It is about the “millionaire” that it is said that he “has this advantage, that he is able to observe meanness, a perfectly disinterested, pure meanness, not based on any calculations”. At the same time, as Gogol notes, the reason for this meanness is not so much the millionaire himself, but only the word “millionaire”. However, as we are trying to show, this meanness is still not devoid of some interest. To do this, we compare Gogol’s “millionaire” with Jacques Lacan’s “famillionaire”. The “famillionaire” appears at the beginning of Seminar V, where Lacan discusses Freud’s concept of wit (*Witz*). It is important that Lacan, analyzing this figure, not only points to a possible connection between the neologism “famillionaire” and signifier “meanness” (*“infamie”*), but also mentions Gogol’s “Dead Souls” as an example of the metonymic function of language, which is important for the formation of wit. At the end of the article, conclusions are drawn about the connection between “pure meanness” and the fetishization of the “human face” in the contemporary economy, which in reality has a fundamentally inhuman character.

KEYWORDS: economy; rhetoric; metaphor; metonymy; poignancy; meanness; family; human/inhuman; Lacan; Gogol.

JEL: Z13, B59.

Коллекция как приостановка: как возможна профанация денег?

Георгий Лайус

Лайус Георгий Дмитриевич (e-mail: georgy.layus@student.kuleuven.be), студент магистратуры Института философии Лёвенского католического университета (Лёвен, Бельгия).

В статье исследуется коллекционирование как профанационная практика, способная вернуть деньги из области сакрального, в которой они сегодня оказались. Исходя из параллелизма между деньгами и языком, о котором упоминает Джорджо Агамбен, автор указывает на профанационный потенциал практики коллекционирования, которая, по аналогии с поэзией, понимается как демонстрация самой способности владеть, лишенной любой соотнесенности с целями. Подвергнутая исключительному включению в капиталистическом диспозитиве, эта способность, как показывается во второй части статьи, содержит в себе эмансипационный политический потенциал.

Ключевые слова: профанация; сакрализация; коллекционирование; Джорджо Агамбен; политика чистых средств; исключяющее включение; диспозитив.

JEL: Z12, Z19.

Введение

Если под сакральным понимается то, что исключено из непосредственного повседневного пользования, то сложно усомниться в том, что сегодня деньги представляют собой сакрализованный феномен. Даже повседневный язык свидетельствует об этом: мы еже-

дневно слышим выражения «цены выросли», «курс вырос», а «валютные рынки рухнули». Эти фразы наделяют экономическую реальность своей собственной субъектностью, на которую если мы и можем повлиять, то исключительно косвенно, деньги исключены из области нашего прямого действия, что и является свидетельством их сакральной природы в нынешнем положении вещей. Если верно, что «не только религии не существует без обособления, но и всякое обособление содержит или сохраняет в себе религиозное ядро» [Агамбен 2014], то деньги, вынесенные в обособленную зону по ту сторону нашего пользования, оказываются сегодня захваченными в область сакрального, что заставляет задаться вопросом о возможности их профанации.

Профанация, в которой, по словам Джорджо Агамбена, заключается «политическая задача грядущего поколения» [2014, с. 101], определяется как возвращение сакрализованного в область профанного, то есть в область, открытую для пользования. Это значение термина, в котором не остается и следа от более привычной смысловой нагрузки вроде «неподобающее отношение» или попросту «халтура», заимствуется Агамбеном из римского права. В этой статье я хотел бы обратиться к теме профанации денег — то есть возвращению их в область нашего пользования из области сакрального, в которой они оказались. Предлагая свой политический проект профанации, Агамбен говорит о необходимости приостановки действующих диспозитивов и обнаружения новых применений для уже имеющихся предметов, устоявшихся схем и сценариев взаимодействия, которые нередко предстают в качестве утративших всякий смысл, как «действие без значения».

На первый взгляд, возможность профанации денег усматривается в феномене коллекционирования,

а именно нумизматики, которая оказывается современной капитализма и обладает схожей логикой, которую можно было бы охарактеризовать как накопление при недостижимой цели, постоянное движение к цели, которая никогда не может быть достигнута. Существенный элемент любой коллекции, как отмечают Л. Болтански и А. Эскер в книге «Обогащение. Критика товара», — это *нехватка*. Коллекция состоит из лакун в такой же мере, в какой и из вещей, которые ее составляют: «утверждать, что каждая коллекция состоит одновременно из вещей, несущих различия, и из *нехваток*, означает, что недостающие вещи всегда являются частью коллекции, но именно в качестве нехватки. Из чего следует, что деятельность коллекционеров в первую очередь подчиняется стремлению восполнить нехватку» [Болтански и Эскер 2021, с. 272]. Основываясь на параллелизме между страстью коллекционера к восполнению лакун и стремлением к накоплению, наращиванию капитала, свойственным предпринимателю, я хотел бы продемонстрировать профанационный потенциал коллекционирования, которое может пониматься как средство, вырванное из соотнесенности с целью.

Параллелизм между деньгами и языком. Поэзия и коллекция

В качестве парадигмы профанации может выступать игра, которая «высвобождает и выводит человечество из сферы сакрального, а не просто уничтожает ее. <...> Пользование, в которое передается сакральное, есть особенное пользование, не совпадающее с утилитарным потреблением. Дети, играющие со всяким старьем, оказавшимся под рукой, превращают в игрушку и то, что относится к сфере экономики, войны, пра-

ва и другой деятельности, каковую мы привыкли считать серьезной. Автомобиль, огнестрельное оружие, юридический договор мгновенно превращаются в игрушки» [Агамбен 2014, с. 83]*. Профанация как поиск нового применения следует за приостановкой и обездействованием старого, за деактивацией и упразднением, то есть приведением в состояние праздности.

В эссе «Капитализм как религия» Агамбен, развивая идеи Г. Дебора и одноименной работы В. Беньямина, указывает на параллелизм между деньгами и языком:

так же как деньги относятся к вещам, конституируя их в качестве товаров, делая их возможными для коммерции (*commerciables*), так же и язык относится к вещам, делая их высказываемыми и возможными для коммуникации (*dicibili e comunicabili*) [2017, p. 125].

Параллелизм, о котором говорит Агамбен, заключается в опосредующей роли языка и денег, которая не позволяет ни ухватить язык в целом до тех пор, пока мы находимся внутри языка, ни ухватить «сами по себе» деньги, пока мы остаемся в рамках созданной ими реальности. Эта невозможность ухватить диспозитивы следует из того, что в качестве диспозитивов они являются условиями самого субъекта:

субъектом я называю происходящее из отношения (живых существ и диспозитивов. — *Г.Л.*), своего рода ближний бой между живущими и диспозитивами» [Агамбен 2012, с. 26].

И деньги, и язык оказываются в ситуации царя Мидаса, когда все, к чему бы они ни прикасались, оказывается инкорпорировано в язык или в область экономи-

* Перевод слегка изменен.

ки, становится высказываемым или наделяется ценой и коммерциализируется. Очевидно, что выход за пределы таких всеобъемлющих диспозитивов оказывается очень трудновыполнимой задачей.

В свете параллели между деньгами и языком стоит отметить, что концепции дезактивации и профанации языка уделено много внимания в самых разных работах Агамбена. Он усматривает способность приостанавливать и созерцать язык в поэзии:

поэзия представляет собой некоторую операцию в языке, внутри языка, а не за его пределами, и она дезактивирует его информативные, денотативные, коммуникационные функции и таким образом открывает язык для иного возможного использования. Если бы не было поэтов, язык бы давно умер, он бы свелся к чисто информационному и коммуникативному использованию. Оберегая сам опыт слова, поэт сохраняет живым язык. В этом смысле можно сказать, что поэзия Данте, поэзия Leopardi — это дезактивация и созерцание итальянского языка. Равно как поэзия Пушкина и Манделштама — это созерцание и дезактивация русского языка, это демонстрация языка как такового. <...> То, что поэзия делает для языка, для способности говорить, то политика и философия должны сделать для способности действовать [Агамбен 2019, с. 137].

При четко прослеживаемой параллели между деньгами и языком, как она была продемонстрирована выше, следует поставить вопрос о том, какая практика приостановки могла бы занять место поэзии в случае денег, и попытка дать ответ на этот вопрос является одной из задач философии.

Поэзия в состоянии созерцать и претворять в жизнь иные, нереализованные возможности языка, которые оказываются скрыты при его повседневном денотатив-

ном использовании. Иными словами, в поэзии всегда есть элемент остранения, а профанацию можно, среди прочего, охарактеризовать как «остранение на практике». Что могло бы занять место поэзии в случае денег? Единственная устойчивая практика, в которой деньги предстают лишенными своей основной функции и открыты другим возможностям, — это коллекционирование. Речь идет именно о постоянной практике, так как очевидно, что мы нередко профанируем деньги, например когда подбрасываем монетку для принятия решения (или в отдельных исторических ситуациях, вроде той, что запечатлена на известной фотографии 1923 года, где дети играют с пачками банкнот вследствие огромной инфляции в Веймарской республике).

Вальтер Беньямин и эмансипационный потенциал коллекции

В современной философии есть два противоположных взгляда на коллекционирование. Первый следовало бы назвать апологетическим, второй — критическим. Для начала обратимся к последнему. Такой подход к теме коллекционирования, пожалуй, наиболее ярко представлен Ницше в работе «О пользе и вреде истории для жизни», где философ приводит свою знаменитую критику «антикварного» подхода к истории. «Все мелкое, ограниченное, подгнившее и устарелое, — пишет Ницше, — приобретает свою особую, независимую ценность и право на неприкосновенность вследствие того, что консервативная и благочестивая душа антикварного человека как бы переселяется в эти вещи и устраивается в них, как в уютном гнезде» [2014, с. 104]. Этот малопритягательный образ коллекционера, погруженного в мелочность и углубленно в классификацию незначительных безделушек, до-

статочно хорошо укоренен в философской традиции и получает свое развитие, в частности, в «Системе вещей» Ж. Бодрийяра.

Здесь коллекционер понимается как неудовлетворенный своим положением в обществе человек, проецирующий на вещи свои желания и потребности, которые не могут быть удовлетворены в межчеловеческом общении, в пространстве вне коллекции, которая оказывается следствием его замыкания самого на себя. Человек, следуя Бодрийяру, становится коллекционером исключительно из нарциссизма и нереализованности.

Чувствуя себя отчужденным, как бы рассеянным в социальном дискурсе, чьи правила ему неподвластны, коллекционер пытается сам воссоздать такой дискурс, который был бы для него прозрачен. <...> Таким образом, попытка обрести целостность через вещи всегда отмечена одиночеством. <...> в собирателе всегда есть что-то убогое и нечеловеческое [Бодрийяр 1999, с. 118].

Второй подход, обозначенный выше как апологетический, во многом связан с именем Вальтера Беньямина, который пытался усмотреть в практике коллекционирования эмансипационный потенциал. В «Речи о коллекционировании» Беньямин утверждает, что бытие собирателя связано

с таким отношением к вещам, при котором не ставят во главу угла их функциональную ценность, то есть их полезность и пригодность, а изучают и любят их как подмостки или как театр их собственной судьбы [2018, с. 10].

Нумизматика может быть охарактеризована как стратегия приостановки непосредственной функции денег в угоду их новому использованию в качестве материальных объектов обладания. Система коллекции мыс-

лится Беньямином как средство эмансипации, в частности эмансипации прошлого от его контекста (если вспомнить тезисы «О понятии истории») с целью увидеть нереализованные возможности этого прошлого, которые ждут своей реализации и завершения. Можно вспомнить и другой известный тезис Беньямина: «истина — это смерть интенции» [2002, с. 16]. В таком случае ясно, что вещи предстают в своей истинности только в полностью статичном пространстве коллекции. Коллекция представляет собой единственную систему, в которой именно *материальность* денег представляет их ценность и истинность. Это подчеркивается и тем фактом, что коллекционерами особенно ценятся именно те предметы, которые выставляют собственную материальность напоказ, такие как бракованные монеты и купюры. Для нумизмата ценность представляет то, что демонстрирует разрыв между знаком и его материальным носителем, то есть то, что ставит под вопрос деньги в качестве денежных знаков, врываясь в пространство между знаком и его материей, которое постоянно стремится быть сокрытым и спрятанным, что особенно очевидно в современной тенденции к цифровизации. Бракованная монета или купюра — это единичность *par excellence*, сопротивляющаяся строгой иерархии родов и видов. Такая единичность ставит под вопрос любую систематику, подрывает стройность системы различий, которые являются, следуя Болтански и Эскеру, одним из необходимых элементов коллекции [2021, с. 269–271], однако все же включается в коллекцию в качестве единичности как таковой, и именно эта единичность и создает ее ценность.

В статье, в числе прочего посвященной теме коллекционирования у Беньямина, Д. Скопин отмечает, что «для Беньямина коллекция представляет собой один из случаев, когда линейная схема истории дает сбой. <...> Коллекционирование является неким про-

тивоходом времени, движением назад, вспять» [2018, с. 134–135]. Разрывая единый континуум исторического времени, который так созвучен гомогенному времени прогресса и развития *ad infinitum* капитализма, коллекционирование оказывается формой сопротивления последнему (несмотря на структурные сходства, о которых было сказано выше). Следуя известной формуле «время — это деньги», необходимо сделать уточнение, что в данном случае речь идет именно о *гомогенном* времени, которое разрывается временем коллекции, полагающимся не на хронологию, но на подрыв исторического континуума. Сама форма времени развития *ad infinitum* (в качестве секуляризованной эсхатологии*), которая присуща логике капитализма, оказывается преодолена в коллекции, которая оказывается приостановкой и пересборкой отдельных фрагментов этого времени, лишенной строгой телеологической логики. Как пишет А. Погребняк, «коллекционерский зуд» Бенямина «лишь по видимости, — поскольку имеет дело с оценкой, ценностью, обменом, куплей-продажей, — полностью принадлежит полю экономики на правах ее пусть экзотичного, но вполне законосообразного сегмента; на деле же здесь замышляется подрыв основ экономического порядка, саботаж его функции» [2018, с. 82].

Важно отметить современную тенденцию к виртуализации денег, апогей которой Агамбен видит в отказе правительства США под руководством Никсона от конвертируемости доллара в золото в 1971 году.

После 15 августа 1971 года <...> деньги — это кредит, основанный исключительно на самом себе и не соотносящийся ни с чем, кроме себя самого [Agamben 2017, p. 117].

* См., например: [Taubes, 2009, p. 125–195].

Однако полвека спустя видно, что это событие было не более чем значительным этапом большого пути, который и сейчас далек от полного завершения. Этот процесс следовало бы охарактеризовать как сопротивление последней возможности приостановки функции денег — быть сведенными к чистой материальности в коллекции. В таком случае процесс цифровизации денег, идущий на протяжении последнего десятилетия и только набирающий свой оборот, следует понимать как окончательную сакрализацию денег — то есть лишение их возможности быть использованными не по предназначению, вне какой-либо телеологии. В случае денег процесс виртуализации оказывается сонаправленным с процессом сакрализации, то есть вынесением их из области возможного пользования в угоду использованию в рамках конкретной телеологии и никак больше. Деньги, лишенные своей материальной основы, перестают быть деньгами, но оказываются чистыми *знаками*. Очевидно, что в случае с виртуальными деньгами должен быть поставлен вопрос о возможности профанации *знака*, который требует отдельного исследования, выходящего далеко за рамки этой статьи. Если в случае языка профанирующую функцию выполняет поэзия, то не совсем ясно, что могло бы занять ее место для цифровой реальности, быть может, такая практика еще только должна быть изобретена, а может быть, само понятие профанации сталкивается здесь с собственным пределом, за которым его применение перестает быть легитимным. Разработка этого вопроса не может избежать обращения к понятию деконструкции, которое находится в тесной связи с профанацией, однако полностью с ним не совпадает*.

* См. определение деконструкции у Ж.-Л. Нанси, которое обнаруживает много общего с профанацией: «деконструиро-

Исключающее включение бесполезной способности владеть

Основным свойством любого диспозитива является его способность к захвату возможностей человека и человеческого тела. Так, в эссе «Что такое диспозитив?» Агамбен пишет:

обобщая после всего уже сказанного обширный список диспозитивов Фуко, я назвал бы диспозитивом любую вещь, обладающую способностью захватывать, ориентировать, определять, пресекать, моделировать, контролировать и гарантировать поведение, жестикуляцию, мнения и дискурсы живых людей. Не только тюрьмы, психбольницы, паноптикумы, школы, исповедь, фабрики, дисциплина, юридические постановления, соприкосновение которых с властью в определенном смысле очевидно, но и письменные принадлежности, письмо, литература, философия, агрикультура, сигареты, навигация, компьютеры, сотовые телефоны и, почему бы и нет, сам язык, возможно, самый древний из диспозитивов, в ловушку которого, тысячелетия и тысячелетия назад, некто из приматов, не отдавая себе отчета в последствиях, имел неосторожность оказаться пойманным [2012, с. 26].

Очевидно, что капитализм является одним из самых всепроникающих диспозитивов современности, особенно в свете очерченной выше параллели между деньгами и языком, «самым древним из диспозити-

вать — значит демонтировать, разобрать, ввести эту сборку в игру, чтобы дать разыгаться между элементами этой сборки возможности, от которой она происходит и которую, в качестве сборки, она возвращает» [2003, с. 249].

вов». Очевидно, что почти все способности наших тел оказываются захвачены и определены капитализмом (и в первую очередь, конечно, способность к труду). Ниже мы обратимся к одной из этих способностей, а именно способности владеть без цели, владеть «просто так», без призрака эффективности. Эта способность, тесно связанная со страстью коллекционера, осуществляет «подрыв основ экономического порядка, саботаж его функции» [Погребняк 2018, с. 82] и именно поэтому оказывается полностью исключенной из этого порядка, навечно заклеянной как что-то детское и несерьезное, то есть относящееся к сфере *игры*, которая противопоставляется серьезности*.

В третьем эссе книги «Stasis. Гражданская война как политическая парадигма» Агамбен достаточно подробно разбирает тему исключения игрового элемента из политики и в то же время его апроприации (здесь снова имеет место излюбленный мыслительный ход философа — исключаящее включение). Не вдаваясь в подробности этого исследования, обратимся к его результату, в котором снова подчеркивается свойство диспозитива *захватывать* способность.

Война, какой мы ее знаем, является диспозитивом, с помощью которого агонально-игровая функция оказалась захвачена государством и обращена на другие цели [Агамбен 2021, с. 124].

Игровой элемент, который так явно присутствует в страсти коллекционера к обладанию по ту сторону эффективности, подвергается исключаящему включению и в капитализме, который захватывает, определяет и моделирует ее в качестве стремления к беско-

* Как, например, у К. Шмитта: «сегодня я бы сказал „игра“, чтобы с большей точностью выразить понятие, противоположное понятию серьезности» [Шмитт 2016, с. 401].

нечному накоплению капитала (которое может быть каким угодно, но не игровым).

В упоминавшейся выше книге «Обогащение. Критика товара» Болтански и Эскер достаточно внимательно исследуют связь между капитализмом и коллекционированием. Исследователи указывают на «амбивалентную связь» между зарождением капитализма и практикой коллекционирования, где «с одной стороны, практика коллекционирования воспринимается как своего рода метафора капитализма. С другой — как его обратная сторона» [2021, с. 254].

Практика коллекционирования, являясь *метафорой* капитализма, — и именно в этом кроется ее двусмысленность — так же считается его обратной стороной, поскольку данная практика накопления, *имитирующая капитализм*, в отличие от последнего не преследует цель денежного обогащения [2021, с. 257].

Оборотная сторона капитализма, таким образом, оказывается вынесенной в отдельную область, исключенной из зоны «серьезного» в зону игрового, сохраняя свои существенные черты. Иными словами, речь идет об одной и той же способности к обладанию в двух модусах, в одном из которых она оказалась захвачена диспозитивом, а во втором исключена этим же диспозитивом в область несерьезного, не имеющего значения (в то же время захват возможен только через это исключение).

Этим объясняется и парадоксальная амбивалентность связи между коллекционированием и капитализмом, которую отмечают Болтански и Эскер. Скорее, речь должна идти не о метафоре и не об имитации, но о двух модификациях одной и той же способности владеть. Захваченная капиталистическим диспозитивом, эта способность оказалась подчинена

телеологии бесконечного обогащения и в то же время исключена как не имеющая значения, в качестве определенного «чуждачества» или помешательства, то есть Другого, исключенного из социального порядка. Если верно, что «в собирателе всегда есть что-то убогое и нечеловеческое» [Бодрийяр 1999, с. 118], то он оказывается в том же множестве существ, занимающих промежуточную позицию между человеком и животным (таких как оборотень), которые приводятся Агамбеном в качестве примеров *homo sacer* в первой книге одноименного цикла [2011, с. 136–145]. Коллекционер-фанатик, образ которого достаточно хорошо закрепился в массовой культуре, является не столько пародией на капиталиста, сколько его родным братом, исключенным и дегуманизированным капиталистическим диспозитивом.

Заключение

Задача профанации состоит в том, чтобы вернуть саму способность в ее игровой контекст из того диспозитива, которым она оказалась захвачена и обособлена от себя самой. «Кошка, играющая с клубком, как если бы он был мышью, — в точности как ребенок со старинными религиозными символами или с объектами, которые принадлежали сфере экономики, — специально понарошку использует приемы, свойственные хищнику (или, в случае ребенка, религиозному культу или миру работы). Эти приемы не исчезают, но благодаря подстановке клубка вместо мыши (или игрушки вместо сакрального объекта) они дезактивируются и, таким образом, открываются для нового возможного пользования» [Агамбен 2014, с. 93]*.

* Перевод слегка изменен.

Подобно кошке, собиратель находит новое применение своей неиссякаемой, но исключительно бесполезной способности обладать за пределами ограничений, диктуемых капиталистическим диспозитивом, профанируя таким образом предпринимательскую способность, пользуясь ей «понарошку» в игровом контексте. В уже цитировавшейся выше статье Д. Скопин отмечает:

присвоение объекта коллекционером не является капиталистическим присвоением. Сходную форму обладания можно наблюдать у детей. Это *некапиталистическая форма обладания*, отличная от ситуации, когда обладать предметом — значит «иметь» его [2018, с. 135].

Коллекционер, как и ребенок (хотя именно ребенок — всегда подлинный коллекционер), открывает другое измерение обладания и постоянного восполнения нехватки в коллекции, не уместяющиеся в капиталистический диспозитив. И здесь «несерьезность» коллекционера открывает свой в высшей мере серьезный политический потенциал, демонстрируя свою способность к обладанию в качестве чистого средства (что лишней раз указывает на несостоятельность тезиса М. Рыклина «коллекционирование аполитично» [1997, с. 102]*). Способность коллекционеров обращаться с единичностью как с единичностью, по ту сторону ее свойств и предикатов, делает их одними из провозвестников *грядущего сообщества*, то есть сообщества, состоящего из единичностей без идентичности, где каждый может «быть лишь этим „так“, своей экспонированной уникальностью» [Агамбен 2008, с. 60].

* Более подробную критику см. в статье «Морщины и игрушки Вальтера Беньямина: «Московский дневник» как испытание метода» [Погребняк 2018, с. 79–83].

Незадачливые собиратели, герои романов К. Вагинова, сталкивающиеся с невозможностью «систематизации бесформенного» [Ямпольский 2013, с. 270–281], землекоп из «Котлована» Воцев, который собирал «всю мелочь безвестности и всякое беспамятство» [Платонов 2015, с. 444] — все они уже являются частью этого сообщества.

Литература

- Агамбен Дж. (2008). *Грядущее сообщество*. Москва: Три квадрата.
- Агамбен Дж. (2012). *Что современно?* Киев: Дух і Літера.
- Агамбен Дж. (2014). *Профанации*. Москва: Гилея.
- Агамбен Дж. (2019). Бездеятельность экономики и экономика бездеятельности // *Логос*. 2019. Т. 29. №1. С. 133–146.
- Агамбен Дж. (2021). *Stasis. Гражданская война как политическая парадигма. Homo Sacer, II, 2*. Санкт-Петербург: Владимир Даль.
- Агамбен Дж. (2011). *Homo Sacer. Суверенная власть и голая жизнь*. Москва: Европа.
- Беньямин В. (2018). *О коллекционерах и коллекционировании*. Москва: ЦЭМ, V-A-C press.
- Беньямин В. (2002). *Происхождение немецкой барочной драмы*. Москва: Аграф.
- Бодрийяр Ж. (1999). *Система вещей*. Москва: Рудомино.
- Болтански Л., Эскер А. (2021). *Обогащение. Критика товара*. Москва: Издательство Института Гайдара; Санкт-Петербург: Факультет свободных искусств и наук СПбГУ.
- Нанси Ж.-Л. (2003). Деконструкция христианства // *Vita Cogitans*. 2003. №2. С. 237–254.
- Ницше Ф. (2014). Несвоевременные размышления II. О пользе и вреде истории для жизни // *Полное собрание сочинений*: в 13 т. Т. 1. Ч. 2. Москва: Культурная революция.
- Платонов А. (2015). Котлован // *Малое собрание сочинений*. Санкт-Петербург: Азбука, Азбука-Аттикус. С. 357–465.
- Погребняк А. (2018). Морщины и игрушки Вальтера Беньямина: «Московский дневник» как испытание метода // *Логос*. Т. 28. №1. С. 59–86.
- Рыклин М. (1997). Back in Moscow, sans the USSR // *Жак Деррида в Москве*. Москва: Ad Marginem. С. 82–151.

- Скопин Д. (2018). Конец буржуазных апартаментов. Коммунальные квартиры и музеи в «Московском дневнике» // *Логос*. Т. 28. №1. С. 115–142.
- Шмитт К. (2016). *Понятие политического*. Санкт-Петербург: Наука.
- Ямпольский М. (2013). *Пространственная история. Три текста об истории*. Санкт-Петербург: Книжные мастерские; Мастерская «Сеанс».
- Agamben G. (2017). *Creazione e anarchia. L'opera nell'età della religione capitalistica*. Vicenza: Neri Pozza Editore.
- Taubes J. (2009). *Occidental Eschatology*. Stanford, California: Stanford University Press.

COLLECTION AS A SUSPENSION: HOW IS
PROFANATION OF MONEY POSSIBLE?

GEORGY LAYUS (e-mail: gdajus@gmail.com). Institute of Philosophy, Leuven Catholic University (Hoger Instituut voor Wijsbegeerte, Katholieke Universiteit Leuven) (Leuven, Belgium).

The paper considers collecting as a profanational practice that is able to return money from the area of sacred, where it is located today. Based on the parallelism between money and language which is pointed out in works of Giorgio Agamben, the author appeals to the profanational potential of the practice of collecting. By analogy with poetry, this practice is understood as a demonstration of the very ability to own which is deprived of any attitude to an end. In the apparatus of capitalism this ability is put to an exclusive inclusion and that is the reason why its emancipation contains a strong political emancipatory potential.

KEYWORDS: profanation; sacralisation; collection; Giorgio Agamben; politics of pure means; exclusionary inclusion; dispositif.

JEL: Z12, Z19.

«Прямое кино»: коммодификация идеи объективности

Ольга Давыдова

ДАВЫДОВА ОЛЬГА СЕРГЕЕВНА (e-mail: ol.davydova@inbox.ru), кандидат культурологии, старший преподаватель Санкт-Петербургского государственного университета (Санкт-Петербург, Россия).

В статье рассматривается процесс превращения одного из принципов репрезентации, а именно идеи объективной документации, наиболее ярко выраженной в «прямом кино», в абстрактную ценность. Опираясь на теории структурного закона ценности Жана Бодрийера и аналитику рецепции «прямого кино» в критике и в теории кино, автор показывает, что этот кинематографический проект воплощает собой культурную логику капитализма и функционирует в поле симуляции. Канонизация «прямого кино» в истории и теории кинематографа способствует тому, чтобы идея объективной документации закрепились как абстрактная ценность, обуславливающая принцип функционирования всего поля документальной репрезентации.

Ключевые слова: политэкономия кино; прямое кино; канон кино; объективная документация.

JEL: Z110, Z190.

Репрезентация как рынок: «структурная революция ценности» и политэкономия кино. Обоснование метода

Понятие денег — как всеобщего эквивалента, как пустого знака — уже давно принадлежит не только экономической теории. В рамках современных гу-

манитарных наук деньги могут функционировать как дискурсивный элемент, как составляющая особого типа рациональности, как метафора, олицетворяющая специфику обмена. В частности Жан Бодрийяр, размышляя о деньгах, в работе «Символический обмен и смерть» указывает на отрыв денежного знака от всякого общественного производства; экономический рост оборачивается «структурной инфляцией знаков производства, взаимоподменой и убеганием вперед любых знаков, включая, разумеется, денежные» [2000, с. 74]. Что именно происходит? Описывая процесс отрыва денег от реального производства как «процесс неограниченной спекуляции и инфляции», Бодрийяр указывает на «утрату референциальности», потерю «функции индексов и критериев эквивалентности» [2000, с. 75]. Обращение к терминологии Пирса не случайно; утрата референциальности описана как «потеря индекса», то есть как разрыв именно индексальной связи с референтом. В этом случае из структуры знака, бесконечно циркулирующего по цепи символического обмена, вымывается, выветривается осязаемая материальность; понимаемый как жест указания или как след (оба необходимо связаны с одновременностью и пространственной соположенностью знака и референта), индекс лишается своей привязки к действительности. Так денежный знак оказывается знаком не просто пустым, но лишенным возможности устанавливать какую бы то ни было связь со своим референтом. Речь не просто об отчуждении, но о переходе знака (в данном случае, денежного) в принципиально иную плоскость, где основной ценностью оказывается сам факт обмена, «сам оборот, то есть форма, которую принимает сама система в своем абстрактном коловращении» [Бодрийяр 2000, с. 76]. На смену рыночному закону стоимости приходит структурный закон ценности, во-

площенный в форме кода; постоянный обмен опустошенных и лишенных эквивалентностей знаков становится условием поддержания абстрактной ценности, которая — в конечном итоге — не может быть описана как «ценность чего-либо конкретного», но конструируется и как цель, и как самовоспроизводимое основание самого процесса обмена.

Структурная революция ценности, описываемая Бодрийяром в экономике, имеет место и в процессах культуры. Понятия гиперреальности, метафизики кода, симулятивности кино — общее место в аналитике цифрового образа, который представляется прямым воплощением третьего порядка симулякров и становится чуть ли не демоническим культурным объектом, лишенным референциальности и связи с действительностью. Вместо иллюзии — симуляции, бесконечное производство копий без образца [Бодрийяр 2000, с. 146–156]. В этой логике исследовательский интерес направлен прежде всего на то, как кино устроено, — использует ли оно бинарный код, насыщено ли спецэффектами, какие отношения у фильма с реальностью [Coulter 2010]. Однако проявления структурного закона ценности можно обнаружить не только внутри самой кинорепрезентации, но и в ряде институциональных практик, направленных на упорядочивание, оценку, критику кинематографа.

В такой перспективе принципиально важным становится функционирование кино как знака репрезентации, как продукта, который участвует в символическом обмене. Кино как один из ключевых культурных проектов не просто само является репрезентацией; оно еще и формирует наше представление о поле репрезентации как метафорическом рынке, на котором есть своя валюта, свои законы спроса и предложения, свои политики и иерархии. Будучи частью медиаиндустрии, кино «производит то-

вары, содержащие и выражающие нарративы, стратегии аргументации, видение, символические миры и воображаемые возможности» [Wasko, Meehan 2013, p. 153]. Такой подход можно было бы расположить в условном пространстве между двумя теоретическими парадигмами. Первая — довольно привычная версия теории кино, занятия аналитикой кинообраза, его устройства и природы взаимодействия со зрителем и действительностью: эти вопросы оказываются во главе угла как в «оптических» теориях вроде психоаналитической или неомарксистской, так и в когнитивной и феноменологической теориях кино. Вторая — политэкономия кино, вырастающая из политэкономии коммуникации [Wasko 2004]; в рамках политэкономии кино и медиа усилие исследователей связано с аналитикой кино как культурной индустрии, подразумевающей процессы коммодификации образов, распределения труда, капитала, рабочей силы внутри процессов производства и дистрибуции кино, установления отношений власти [Ibidem]. Кино и его историю можно помыслить как эволюцию и совокупность разных проектов репрезентации; в рамках каждого из таких проектов (можно соотнести их с конкретными кинематографическими течениями — неореализм, синемá веритé, новый французский экстрим и так далее) происходит коммодификация [Mosco 2009] и символическая капитализация той идеи, что в рамках данного проекта представляется основой легитимации самого процесса съемки. Эта идея оборачивается ценностью, пустым знаком, принципом действия структурного закона ценности. Этот процесс, собственно, обуславливает практики оценки, критики, дистрибуции, канонизации кино и тем самым оказывает прямое влияние на дальнейшее развитие и функционирование культурных индустрий.

«Прямое кино» как проект репрезентации

Как общий культурный проект, документальное кино стартует не от снятого Робертом Флаэрти «Нанука с Севера» (1922), а гораздо раньше — от операторов, которых Люмьеры отправляли в Венецию, чтобы те сняли и показали зрителям местные палаццо [Bordwell, Thompson 2002, p. 23]. Несмотря на то что представление Люмьеров как документалистов (а оно обычно осуществляется в паре с представлением Жоржа Мельеса как родоначальника игрового кино) в ревизионистской истории кино подвергается критике [Gunning 2006], едва ли можно отрицать интенцию по фиксации действительности (как минимум — действительного движения), присутствующую в проекте Люмьеров. Эта интенция за пару десятилетий трансформируется в почти маниакальную страсть к «запечатлению жизни как она есть», к объективному отображению реальности. Не вдаваясь в исторические подробности и детализацию тезисов ранних теоретиков неигрового кино, стоит все же отметить, что сам дискурс документалистики как будто спаивает воедино разные понятия: достоверность, правдивость и объективность. В погоне за достоверным (правдивым, объективным) отображением действительности документальное кино пробует разные стратегии, приемы, монтажи, устанавливает и перестраивает отношения между визуальным и вербальным, вырабатывает специфические стили съемки — словом, формирует разные конвенции, или модусы документальной репрезентации, каждый из которых неизменно связан с переосмыслением связи между документальным образом и той реальностью, которую он призван задокументировать [Nichols 2017, p. 104–158]. Апофеозом этого дви-

жения в поисках «объективности» можно, пожалуй, считать проект Direct Cinema — «прямого кино», появившийся в США на рубеже 1950–1960-х. В 1958 году журналист и редактор Роберт Дрю организовал в рамках Time Incorporated подразделение, которое могло бы заниматься развитием традиций прямой фотографии в кино. Для этого, в частности, требовалось решить технический вопрос: организовать синхронную запись звука и съемку так, чтобы микрофон и камеру не нужно было бы соединять проводом. Самым главным результатом экспериментов этой группы стал снятый в 1960 году фильм «Предварительные выборы» (Primary), посвященный предвыборному соперничеству Джона Ф. Кеннеди и Хьюберта Хамфри во время тура по штату Висконсин. Фильм был представлен как результат коллективного авторства — Drew Associates («Группа Дрю»). Несмотря на спорное восприятие фильма зрителями и критиками, фильм понравился представителям телеканала ABC, и в результате Drew Associates стали создавать контент для телевидения. Помимо самого Роберта Дрю, в группу вошли такие кинематографисты, как Ричард Ликок, Альберт Мэйзлс, Донн Алан Пеннбейкер и др.

В «прямом кино» гарантом истины и объективности становится отказ от контроля за действительностью, разворачивающейся перед камерой: Ричард Ликок предлагает рассматривать режиссера «как наблюдателя и, возможно, как участника событий, который схватывает сущность происходящего вокруг него, осуществляя выбор и распределяя, но никогда не контролируя событие» [Leacock 2016] (подробнее см.: [Blue 1979, p. 407–408]). Коллектив не только отказался от одного режиссера-автора как опосредующей субъективной инстанции, но и стремился к преодолению режиссуры вообще — ведь любая режиссура всегда означает манипуляцию реальности. Этот сдвиг

потребовал ввода новых переменных в экономику документального образа: безразличной камеры и нон-режиссуры. Во время съемок «Предварительных выборов» члены Drew Associates работали командами по два человека, где один записывал звук, а второй управлял камерой, причем действовали они автономно [McLane 2012]. Перед съемками кинематографисты договорились с политиками о том, как именно будут снимать. Они «пообещали не задавать вопросов и не провоцировать действий. Все, чего они хотели, — это постоянный доступ к объектам съемки: во время произнесения речей, на встречах, стратегических сессиях, интервью, во время телемарафонов и проезда в кортежах» [Bagnouw 1993, p. 238]. Ставший хрестоматийным эпизод прохода Кеннеди через толпу на сцену ярко иллюстрирует принципы «прямого кино» в их экранном воплощении. Мы видим Кеннеди сверху, как если бы располагались над толпой, будучи выше на пару голов; слышим шум толпы, в котором различимы голоса отдельных людей. Снимая этот план, оператор Эл (Альберт) Мэйзлс просто поднял камеру над толпой на вытянутой руке. Вот они, идеалы «прямого кино», в действии: даже кадрирование осуществляет не человек, а машина; даже оператор как посредник между действительностью и камерой устранен; чистая, честная фиксация действительности. Такой подход представлял собой нечто среднее между традиционной документалистикой, которая в большинстве своем все еще продолжала опираться на закадровый комментарий и риторические монтажные стратегии [Давыдова 2020], и привычным форматом телевидения, базировавшимся на «говорящих головах» или репортаже. С одной стороны, опора Дрю и Ликока на объективность соответствовала «доктрине справедливости» (Fairness Doctrine), принятой Федеральной комиссией по связи (FCC) и тре-

бывавшей от обладателей лицензии на вещание освещения противоречивых общественно значимых тем так, чтобы это освещение справедливо отражало различные точки зрения. С другой стороны, предложенный Drew Associates подход к документалистике приводил к непредсказуемым результатам и подразумевал некоторую двойственность, что, как указывает Эрик Барноу, едва ли могло понравиться спонсорам [Вагноу 1993, р. 238].

В 1963 году Дрю и Ликок, поясняя свой подход к документалистике в интервью журналу «Кайе дю синема», отмечают, что «стремятся раскрыть что-то вроде эмоциональной правды: из чего состоит жизнь конкретного человека в данный момент времени. Это новый тип правды» [Resha 2018, р. 32]. Правда, среди критиков и теоретиков кино немало тех, кто подвергает проект «прямого кино» довольно жесткой критике. В частности, Ж. Холл, анализируя рецепцию «Предварительных выборов» в частности и «прямого кино» в целом, указывает на использование критиками таких нелестных выражений, как «недостающее кино» или «кино-банальность» [Hall 1991, р. 24]. Не углубляясь в детали кинотеоретического спора, то и дело возникавшего вокруг «прямого кино», стоит кратко обрисовать основания критической позиции относительно этого направления кино. Итак, ключевые претензии сводились к наивности веры «в то, что прямое кино объективно, реалистично, правдиво» [Resha 2018, р. 32], а также к отсутствию рефлексии по отношению к трансформирующей силе самого кино как медиа и к неизбежным ограничениям, которые кино преодолеть не может (к примеру, ограниченность рамки кадра и неизбежная поэтому селекция того, что в кадр войдет) [Hall 1991, р. 26].

Зато в истории и теории кино «прямое кино» почти всегда фигурирует как одна из поворотных то-

чек, обеспечивающих документалистике возможность трансформации конвенции через отказ от сложившейся традиции, отказ от инстанции режиссера как опосредующей инстанции, через радикальную попытку приближения к действительности [Barsam 1992, р. 304–305]. Итак, ретроспективный взгляд на эволюцию документалистики выделяет «прямое кино» как ценность и вписывает его в канон истории кинематографа. В этой разности рецептов как раз хорошо заметны механизмы работы репрезентации как метафорического рынка, оперирующего образами и стратегиями воспроизводства действительности как товарами, обеспечивающего циркуляцию и символический обмен знаков по принципам структурного закона ценности, описанного Бодрийяром.

Коммодификация идеи объективной
документации; «прямое кино»
как воплощение культурной логики
капитализма

Выстраивание кинематографических канонов — один из процессов, вписанных в механизм работы кинематографа как культурной индустрии. Анализируя политику селекции как одну из трех политик канонизации в кино, Джанет Стайгер в качестве оснований селекции выделяет эффективность, стремление упорядочить хаос и необходимость оценивания. Именно последний процесс — вынесение оценочного суждения как основание для включения или не включения фильма, направления, проекта репрезентации в канон — больше всего, с точки зрения исследовательницы, наиболее политичен. В частности, здесь Стайгер ссылается на доводы Барбары Херрнштайн Смит — «любая оценка, в том числе апелляция к идее добра

для общества, всегда сводится к экономике (чьей-то) выгоды» [Staiger, 1985, p. 10]. Позволим себе еще одну цитату, на этот раз самой Б. Х. Смит:

Следовательно, обеспечивающие авторитетную оценку инстанции будут постоянно сталкиваться с необходимостью разработки аргументов и процедур, направленных на валидацию установившихся вкусов и предпочтений сообщества (цит. по: [Staiger 1985, p. 10]).

Таким образом, канон как результат заинтересованной селекции всегда оказывается, с одной стороны, неизбежно поддерживающим интересы доминирующей части общества, а с другой — репрезентирующим эти самые интересы.

Случай противоречивой критической рецензии и дальнейшей весьма единодушной канонизации «прямого кино» указывает как раз на формирование канона с опорой на заинтересованную оценку. «Эмоциональная правда», описанная самим Робертом Дрю как нечто новое, объединяется с установкой Федеральной комиссии по связи на справедливое отображение противоречивых общественно значимых событий и одновременно — с приближением к действительности и с идеей объективности. Добавим также, что этот симбиоз функционирует именно на телевидении, тем самым оказываясь вписанным в контекст массмедиа и массово потребляемых образов. В проекте «прямого кино» сливаются несколько интенций и установок, принадлежащих разным порядкам дискурса: техническое новаторство (автономная мобильность камеры и микрофона), кинотеоретическая позиция веры в объективность камеры, практически понятая уверенность в минимизации контроля и возможности нон-режиссуры, идеологическая установка на справедливость репрезентации и наконец —

как итог — стремление к объективному отображению действительности как к ценности. Это слияние маркирует превращения «объективного отображения действительности» в универсальную валюту, абстрактную ценность — в принцип структурного закона ценности, описанного Бодрийяром.

Однако действительно ли стремление «прямого кино» к пресловутой объективности превращает саму идею объективной документации в пустой знак? Разве мы не имеем дело с ситуацией, где различия между действительностью и репрезентацией наконец-то стерты? Разве это не значит, что документальное кино наконец попало туда, куда так стремилось?

На деле — едва ли. «Прямое кино» оказывается в значительной степени праксисом, стратегией действия — но едва ли меняет ситуацию фильмического. С точки зрения самого кинематографа проект «прямого кино» все равно остается в рамках репрезентации, неизбежно вторичной по отношению к действительности. Ставка Роберта Дрю и Ричарда Ликока на объективность оказывается ложной, потому что тезис о минимизации контроля легко опровергнуть. «Прямое кино» использует монтаж (а что это, как не контроль реальности, пусть и отснятой? Что это, как не интерпретация?) и — как и любое кино — не может избежать кадрирования. Идея элиминации режиссера, лежащая в основе проекта «прямого кино», оказывается утопичной; неслучайно, например, Альберт и Дэвид Мэйзлс в своей дальнейшей карьере откажутся от канонического отсутствия режиссера в кадре и появятся в своем фильме «Серые сады» (1975) в форме фотографии, а затем — голосовой реплики.

В каноне истории и теории кино подход Drew Associates оценивается высоко, но описывается либо как праксис (поднятая над головой камера), либо как проект, идея. Вероятно, с этим связаны те самые не-

лестные эпитеты, которыми «прямое кино» награждали критики: «кинематограф недостатка», «кинобанальность». Оба словосочетания указывают на нехватку в «прямом кино» самого кино. Неслучайно в теоретических или исторических работах в главах про Drew Associates речь никогда не заходит о стиле, о кинематографическом переосмыслении действительности, о трансформации оптики — потому что на самом деле ничего этого «прямое кино» не предлагает. Ради обретения (мнимой) достоверности и объективности «прямое кино» отказывается от манифестированной точки зрения, размывает субъекта съемки, и — шире — субъекта дискурса. Стремясь приблизиться к «объективной документации действительности», оно удаляется от самого себя, от действительности съемки, от конкретности и неизбежности ограничений киноаппарата и монтажа. Оставаясь знаменем «прямого кино», идея объективной документации оборачивается пустым знаком, лишенным какой бы то ни было референциальности, и вместе с тем — ценностью, которая запускает механизм работы структурного закона ценности, определяет стратегии валоризации и канонизации, продолжая влиять на то, какие фильмы попадают (или не попадают) в канон.

Будучи основанным на универсальном пустом знаке — идее объективной документации — «прямое кино» обнаруживает в себе качества, свойственные скорее постмодернизму, чем модернистским проектам, к которым его можно было бы причислить хотя бы на основании хронологии. Сопоставляя капитализм и постмодернизм, Фредрик Джеймисон выводит на первый план два понятия: пастиш и шизофрения (точнее — шизофренический тип связи в языке) (2014). «Прямое кино» пастишизирует ранний кинематограф, заимствуя оттуда саму способность незаинтересованной фиксации действительности, но-

стальгически эту способность романтизируя. Однако «прямое кино» как будто забывает о том, что ранний кинематограф в большей степени был связан с идеей записи движения и аттрактивностью движущегося образа самого по себе, безотносительно объективности или необъективности [Gunning 2006]. «Прямое кино», пытаясь обойти приставку ре- в слове «репрезентация», отказывается от рефлексии собственной медиум-специфичности, упускает из виду идею «записи», ставит знак равенства между верой в камеру и верой в присутствие [Arthur 1993, p. 122] и игнорирует тот факт, что сама ситуация съемки уже является ситуацией контроля, селекции, (идеологической) интерпретации.

Опыт «прямого кино» может быть рассмотрен как «шизофренический» — опыт «изолированных, разъединенных, дискретных материальных означающих, которые не могут образовать связной последовательности» [Джеймисон 2014, с. 300]. Исследователи описывали драматургию фильмов Drew Associates как обладающую некоторой «кризисной структурой», извлеченной из самой действительности — в частности, поэтому для своих фильмов представители киноподразделения выбирали такие повседневные сюжеты и ситуации, которые сами по себе обладали развитием и кульминацией [McLane 2012]. И все же, связность и структуру фильмы обретали на монтажном столе; до того же, в процессе съемки, материал представлял собой фрагменты действительности, никак не связанные между собой. Они могли бы быть связаны инстанцией режиссера или оператора — но в таком случае стоило бы все же признать весьма высокую степень режиссерского контроля, а эта идея была для Drew Associates чуждой.

Итак, вот он, парадокс «прямого кино»: стратегия, сделавшая акцент на специфике съемки, саму же ситуацию съемки и отрицает. Кино, имевшее своей интенци-

ей возврат к утерянной в идеологических и политизированных конвенциях действительности, оказывается удвоением, обращенным на пустой знак и этот же знак и воспроизводящий. Однако с закреплением «прямого кино» в каноне происходит коммодификация идеи объективной документации. Винсент Моско выделяет коммодификацию как один из ключевых механизмов функционирования культурных индустрий в сфере коммуникации и описывает ее как «процесс преобразования вещей, которые ценятся за их использование, в рыночные продукты, которые ценятся за то, что они могут принести взамен» [Mosco 2009, p. 127]. Таким образом, идея объективной документации превращается одновременно в товар и в универсальную «валюту», в абстрактную ценность, которая начинает управлять полем репрезентации, определяя практики курирования, канонизации, валоризации, критики кинематографических стратегий и конкретных фильмов. Проведенный анализ показал, что заинтересованная селекция как один из механизмов помещения в канон не всегда учитывает специфичность кинематографа как медиума, игнорирует ситуацию съемки и производства фильма. Из-за этого неигровое кино (и как медиа, и как институциональная практика) продолжает опираться на идею объективности документации, по-прежнему стремится поведать «правду» о мире. Институциональные практики оказывают прямое влияние на то, как кино мыслится; в свою очередь, то, как кино мыслится, становится определяющим для того, как оно выглядит. Аналитика замысла, рецепции и механизма канонизации «прямого кино» позволяет увидеть, что до сих пор используемый в документалистике тезис о возможности объективной фиксации действительности на самом деле помещает нас в ситуацию симуляции третьего порядка — как бы парадоксально это ни звучало.

Литература

- Бодрийяр Ж. (2000). *Символический обмен и смерть*. Москва: Добросвет.
- Давыдова О. (2020). Между правдой и вымыслом: проблема свидетельств в фильмах Криса Маркера // *Актуальные проблемы теории и истории искусства*. № 8. С. 624–631.
- Джеймисон Ф. (2014). Постмодернизм и общество потребления // *Марксизм и интерпретация культуры*. Москва: Кабинетный ученый. С. 288–309.
- Arthur P. (1993). Jargons of Authenticity (Three American Moments) // Renov M. (ed.). *Theorizing Documentary*. New York, NY—London: Routledge. P. 108–134.
- Barsam R. M. (1992). *Non-Fiction Film: A Critical History*. Bloomington and Indianapolis: Indiana University Press.
- Barnouw E. (1993). *Documentary: A History of the Non-Fiction Film*. Oxford: Oxford University Press.
- Blue J. (1979). *One Man's Truth—An Interview with Richard Leacock*. Jacobs L. (ed.). *The Documentary Tradition*. New York, NY—London: W.W.Norton & Company. P. 407–408.
- Coulter G. (2010). Jean Baudrillard and Cinema: The Problems of Technology, Realism and History // *Film-Philosophy*. Vol. 14. No. 2. P. 6–20.
- Gunning T. (2006). The Cinema of Attraction[s]: Early Film, Its Spectator and the Avant-Garde. Strauven W. (ed.) // *The Cinema of Attractions Reloaded*. Amsterdam: Amsterdam University Press. P. 381–388.
- Hall J. (1991). Realism as a Style in Cinema Verite: A Critical Analysis of «Primary» // *Cinema Journal*. Vol. 30. No. 4. P. 24–50.
- Leacock R. (2016). For an Uncontrolled Cinema // Kahana J. (ed.). *The Documentary Film Reader: History, Theory, Criticism*. Oxford: Oxford University Press. P. 490–491.
- McLane B. (2012). *A New History of Documentary Film: Second Edition*. London: Bloomsbury Publishing.
- Mosco V. (2009). *The Political Economy of Communication*. Los Angeles—London: Sage Publications.
- Nichols B. (2017). *Introduction to Documentary*. Bloomington, Indiana University Press.
- Staiger J. (1985). The Politics of Film Canons // *Cinema Journal*. Vol. 24. No. 3. P. 4–23.
- Resha D. (2018). Selling Direct Cinema: Robert Drew and the Rhetoric of Reality // *Film History*. Vol. 30. No. 3. P. 32–50.

- Wasko J. (2004). The Political Economy of Film//Miller T., Stam R. (eds). *A Companion to Film Theory*. Hoboken, NJ: Blackwell Publishing. P. 221–233.
- Wasko J., Meehan E. R. (2013). Critical Crossroads or Parallel Routes? Political Economy and New Approaches to Studying Media Industries and Cultural Products. *Cinema Journal*. Vol. 52. No. 3. P. 150–157.
-

“DIRECT CINEMA”: COMMODIFICATION OF IDEA OF OBJECTIVITY

OLGA DAVYDOVA (e-mail: Ol.davydova@inbox.ru). Saint-Petersburg State University (Saint Petersburg, Russia).

The article examines the process of transformation of one of the principles of representation, namely the idea of objective documentation, which is most clearly expressed in «direct cinema», into an abstract value. Based on the theory of the structural law of value by Jean Baudrillard and the analysis of the reception of «direct cinema» in criticism and in cinema theory, the author shows that this cinematic project embodies the cultural logic of capitalism and functions in the field of simulation. The canonization of «direct cinema» in the history and theory of cinematography helps to ensure that the idea of objective documentation is fixed as an abstract value that determines the principle of functioning of the entire field of documentary representation.

KEYWORDS: political economy of cinema; direct cinema; canon of cinema; objective documentation.

JEL: Z110, Z190.

Научное издание

ДЕНЬГИ И ПРОЦЕНТ:
ЭКОНОМИКА И ЭТИКА

Главный редактор издательства АРТЕМ Смирнов
Выпускающий редактор Елена Попова
Обложка Валерий Коршунов
Верстка Ярослав Агеев
Корректор Ольга Черкасова

Издательство Института Гайдара
125009, Москва, Газетный пер., д. 3-5, стр. 1



Подписано в печать 26.02.2024.
Тираж 200 экз. Формат 84×108/32
Отпечатано в филиале «Чеховский печатный двор»
ОАО «Первая образцовая типография»
www.chpd.ru. Факс (496) 726-54-10, (495) 988-63-87
142300, Московская обл., г. Чехов,
ул. Полиграфистов, 1



Институт экономической политики имени Егора Тимуровича Гайдара — крупнейший российский научно-исследовательский и учебно-методический центр.

Институт экономической политики был учрежден Академией народного хозяйства в 1990 году. С 1992 по 2009 год был известен как Институт экономики переходного периода, бессменным руководителем которого был Е. Т. Гайдар.

В 2010 году по инициативе коллектива в соответствии с Указом Президента РФ от 14 мая 2010 г. № 601 институт вернулся к исходному наименованию, и ему было присвоено имя Е. Т. Гайдара.

Издательство Института Гайдара основано в 2010 году. Задачей издательства является публикация отечественных и зарубежных исследований в области экономических, социальных и гуманитарных наук, трудов классиков и современников.